

Marshall University

## Marshall Digital Scholar

---

Books Published by MU Libraries in MDS

College of University Libraries

---

4-21-2023

### **Три шага к свободе (in Russian)**

Slav Gratchev

*Marshall University, [gratchev@marshall.edu](mailto:gratchev@marshall.edu)*

Follow this and additional works at: [https://mds.marshall.edu/mu\\_books](https://mds.marshall.edu/mu_books)



Part of the [Political History Commons](#), [Slavic Languages and Societies Commons](#), and the [Social History Commons](#)

---

#### **Recommended Citation**

Грачев, Слав. Три шага к свободе. Библиотека университета Маршалла, Хантингтон, 2023.

This Book is brought to you for free and open access by the College of University Libraries at Marshall Digital Scholar. It has been accepted for inclusion in Books Published by MU Libraries in MDS by an authorized administrator of Marshall Digital Scholar. For more information, please contact [beachgr@marshall.edu](mailto:beachgr@marshall.edu).



# ТРИ ШАГА К СВОБОДЕ

СЛАВ ГРАЧЕВ

### **Вместо предисловия**

Эта книга о красивых людях и красивых отношениях между людьми. В лихие и тяжелые времена очень трудно быть и оставаться красивым человеком, когда все вокруг тебя ведут себя некрасиво. Еще труднее пронести красивые человеческие отношения через всю жизнь.

В этой книге нет ни слова вымысла. Зачем? Не нужно ничего придумывать, когда вся наша жизнь есть не что иное, как самая захватывающая драма, или комедия, или трагедия, которые неотвратимо чередуются друг с другом.

Книга эта писалась сорок бесконечно-длинных лет. Теперь я знаю, что быстрее она просто не могла быть написана, поэтому я несказанно рад, что она, все-таки, позволила мне себя написать.

Слав Грачев, Западная Виржиния, США.

2022 год

“Вчера я слушал *Иоланту*. Какая опера! Но больше всего меня поразила слепая девушка, которая не знала, что она слепа, пока не встретила своего принца...” (Из разговора в поезде).

Ноябрь 1982

Стивен

Стивен Кристофер Ладлоу, которому при рождении дали скромное имя Степан, профессор истории из университета Маршала в Западной Виржинии,<sup>1</sup> приземлялся в аэропорту Пулково. В маленький иллюминатор уже было видно землю с унылым и по-осеннему грустным пейзажем, а на календаре значилось 24 ноября 1982 года. Несколько дней назад умер Леонид Брежнев, старый, больной человек, уже почти 20 лет руководивший огромной страной.

Стивен смотрел в окно иллюминатора, пытаясь угадать, какие чувства должен испытывать человек, в зрелом возрасте возвращающийся на родину своих предков. Пока он испытывал только любопытство.

Мысль посетить СССР зрела у него давно, и тому были вполне понятные причины: его мать была простой русской девушкой, которая решила не возвращаться на родину, когда ее в городке Стендаль, что располагался на запад от Берлина где-то в 80 километрах, освободили американцы. В Америке она скоро встретила другого "невозвращенца," который, попав в плен в самом начале войны, решил просто исчезнуть, зная, что если вернется, то будет объявлен предателем. Тогда остаток жизни он бы провел в лагерях куда, скорее всего, отправили бы и его молодую и ни в чем не виноватую жену.

Чудом выжив в "Киевском котле" и почти четыре года проведя в немецких лагерях, Виктор, будущий отец Стивена, тоже был освобожден американцами и попал в Америку, где скоро нашел свое новое счастье и свою новую любовь. Ее звали Вера.

---

<sup>1</sup> Западная Вирджиния (West Virginia) - небольшой по размеру штат на восточном побережье Соединенных Штатов. Университет Маршала (Marshall University) - второй по величине государственный университет штата, сравнимый по количеству студентов с Ленинградским университетом.

Они сыграли свадьбу на берегу Атлантического океана, в штате Коннектикут, где в то время Виктор работал грузчиком в порту, а Вера училась на бухгалтера. Так холодный и ветреный день 25 октября стал для них символом всего лучшего, что случилось с ними в жизни.

Ровно через год, в 1947 году, родился Степан, которому где-то через год дали другое имя - Стивен Кристофер. Подумав еще один год, родители решили изменить ему и фамилию на Ладлоу. На вопрос, зачем они это сделали, отец Стивена загадочно улыбался и отвечал, что не помнит, зачем.

Ноябрь 1982

Стивен

Маленький автобус выгрузил своих немногочисленных пассажиров прямо у дверей здания аэропорта. При входе, непонятно зачем, стояли двое в военной форме; стояли, видимо, давно, так как лица у них посинели от холода.

Быстро пройдя по коридору, Стивен вышел прямо на паспортный контроль. За толстым стеклом сидела симпатичная девушка, тоже в военной форме. Она взяла паспорт и тут же сделала строгое лицо, которое до этого выглядело скучным.

Паспорт, по всей видимости, смутил ее. Она пролистала страницы, взглянула на Стивена из-за стекла, как-будто сравнивая его с фотографией, и впала в оцепенение.

- Что-нибудь не так? - спросил Стивен по-русски.

Девушка вздрогнула: как-то совсем неожиданно, и не к месту, прозвучал русский язык из уст американца, приехавшего в СССР в разгар "холодной войны."

- Да нет... - сказала девушка, растягивая слова. - Все в порядке...

Несмотря на строгое лицо, полная растерянность звучала в ее голосе.

Она подняла трубку телефонного аппарата.

- Зайдите, пожалуйста, - коротко сказала она.

Настала неловкая тишина. Стивен не видел никакого повода волноваться, а потому просто с удовольствием смотрел на девушку в форме и думал, что в платье она выглядела бы намного лучше.

Девушка как будто угадала его мысли, посмотрела на Сивена и чуть-чуть покраснела. Может быть, она даже хотела улыбнуться, но в этот момент подошел тот, кому она звонила. На нем был безликий черный костюм.

- Здравствуйте, - сказал он. - В чем дело?

Вместо ответа, девушка в форме протянула ему паспорт.

Он сосредоточенно пролистал его и повернулся к Стивену.

- Какова цель вашего приезда в СССР? - спросил он по-английски с сильным акцентом.

Стивен широко улыбнулся: он ждал этого вопроса и удивлялся, почему его до сих пор не спросили о самом главном, а изучали только его паспорт.

- Я профессор истории, - ответил Стивен по-русски, с удовольствием отметив, как нервно дернулось лицо человека в костюме.

Собеседник подобного явно не ожидал.

- Я приехал в СССР изучать русский балет. Я пишу об этом книгу.

Стивен продолжал сиять добродушной улыбкой, а человек в костюме пытался переварить информацию, которая никак не укладывалась в обычные инструкции.

- А... - понимающе протянул он, и попытался улыбнуться. - Балет у нас и правда очень хороший...

Он снова пролистнул паспорт и, наконец, сформулировал следующий вопрос.

- У вас виза на четыре месяца. Где вы будете жить все это время?

- В гостинице. У меня нет знакомых в вашей стране, - ответил Стивен.

Потом добавил с улыбкой:

- К сожалению...

Человек в костюме юмора не понял, или не хотел понять. Не менясь в лице, он спросил снова:

- В какой гостинице вы остановились?

- А вот об этом я и хотел спросить эту девушку, - ответил Стивен. - В этом мне нужна ваша рекомендация.

Как ни странно, ответ на этот вопрос у человека в костюме был готов.

- Гостиница "Москва". Там обычно останавливаются иностранцы...
- Мне подходит, - ответил Стивен, пряча паспорт в карман.

Ноябрь 1982

Стивен

Гостиница "Москва" , куда такси доставило Стивена за пол-часа, располагалась прямо на Неве и была построена лет двадцать назад. Задумана она была монументально и, возможно, такой и была, но сейчас обветшала и явно требовала хорошего ремонта.

На регистрации потребовали паспорт, потом из него что-то долго переписывали, и все это молча. Потом, наконец, спросили по английски:

- На сколько дней вы приехали?
- Я буду жить у вас четыре месяца, - по-русски ответил Стивен. -Мне нужен самый большой номер, и обязательно с окнами на Неву. Я буду любоваться на нее каждый вечер.

Оправившись от удивления, что иностранец так хорошо говорит по-русски, и что он собирается жить в гостинице целых четыре месяца, чего, очевидно, никогда прежде не случалось, девушка, которая делала манипуляции с его паспортом, понимающе кивнула и куда-то ушла. Вернулась с начальником. По крайней мере, именно так выглядел тот человек.

В отличие от всех предыдущих людей, за исключением таксиста, который проявил к Стивену неподдельный интерес, болтал с ним и шутил всю дорогу, рассказывая смешные анекдоты про Брежнева, начальник был любезен и гостеприимен.

- Я так понял, что вы у нас решили задержаться? - спросил он, растягивая губы в улыбку.

Стивен кивнул.

- Это хорошо. Но вам придется заплатить за все четыре месяца вперед.

Он остановился, ожидая реакции. Ее не последовало, и он добавил.

- Заплатить нужно валютой.
- О, если проблема только в этом... - весело сказал Стивен, засовывая руку в карман брюк. Дома ему советовали не носить деньги в кошельке, так как это может быть небезопасно.
- Сколько я должен заплатить?

Начальник взял лист бумаги и быстро написал на нем какие-то цифры; подумал, пересчитал.

- Три тысячи долларов...

В том, как он это сказал, была какая-то неуверенность.

Стивен заметил это, но решил не показывать виду. Три тысячи - так три тысячи.

Это все равно не так уж много за целых четыре месяца. Зато никто не будет больше беспокоить.

- Хорошо, - сказал он, со своей неизменной улыбкой. - Я бы только хотел вас попросить: сделайте так, чтобы мне не мешали. Я пишу книгу, буду много работать, и мне нужна абсолютная тишина. Вы ведь сможете это устроить?

Стивен отсчитал деньги, и со значением посмотрел на начальника.

- Разумеется, - лицо начальника расплылось в широкой улыбке. - Мы постараемся сделать так, чтобы вас никто не беспокоил!

Комната, в которую его поселили, была длинной и немного узкой, но вполне чистой и даже, в некотором смысле, уютной. Самое главное было то, что заканчивалась она большим окном, выходящим прямо на Неву, на мост Александра Невского.

- Какая все-таки красота! - подумал Стивен, открывая окно и вдыхая холодный ноябрьский воздух, немного пахнувший далеким холодным морем. - Какая невероятная красота!

Апрель 1982

Стивен

Идея посетить Советский Союз в разгар "холодной войны" и постоянных взаимных претензий между Америкой и СССР, кому угодно могла бы показаться странной.



Так же думал и Стивен до того самого дня, когда весной 1982 года встретился на конференции в университете в Чапел Хилле<sup>2</sup> с известными диссидентами - Солженицыным и Лосиным.

Конференция была посвящена проблемам и разногласиям между Востоком и Западом после Второй мировой войны. Стивен, занимавшийся историей балета в России и Советском Союзе, делал там свой доклад, доказывая, что искусство - это то, что все еще может помочь разрешить назревшие разногласия идеологий.

К его удивлению, на доклад никому не известного профессора из университета Маршала собралось довольно много слушателей - около сотни. Встав из-за стола и идя к микрофону, Стивен с гордостью и волнением оглядывал аудиторию: он узнавал некоторые лица коллег из весьма известных университетов, и от этого было и радостно, и волнительно.

После доклада к нему минут пять подходили, пожимали руку, благодарили. В конце подошел невысокий человек, с большими залысынами. Подождав, когда все отошли, он представился.

- Профессор Лосин. Так вы из Маршала? - спросил он, и добавил. - Я преподаю русскую литературу в Дартмутском колледже.<sup>3</sup> Ваш доклад доставил мне истинное удовольствие. Вы прямо перенесли меня в мой родной и любимый Ленинград, в Мариинский театр! О, как же давно я там не был...

Он схватил руку Стивена и крепко, от сердца, пожал ее.

- Сегодня вечером один из профессоров приглашает к себе домой всех участников нашей дискуссии. Вас еще не пригласили?
- Пока нет," ответил Стивен.
- Будет просто замечательно, если вы придете. Там будет и Солженицын. Он не смог приехать на саму дискуссию, но он будет вечером. Я вас с ним обязательно познакомлю.

Вечером за столом, кроме Стивена, сидели четверо: Лосин, Солженицын, и еще кто-то из тех, кто тоже сегодня выступал с докладом. Беседа становилась

---

<sup>2</sup> Чапел Хилл (Chapel Hill) - небольшой город в штате Северная Каролина, в котором находится знаменитый университет.

<sup>3</sup> Дартмутский колледж (Dartmouth College) - один из старейших и престижнейших университетов США, находится в штате Нью-Гэмпшир, расположенном на восточном побережье страны.

необыкновенно жаркой. Солженицын, со свойственным ему максимализмом, мыслил вслух, присваивая каждой своей мысли статус догмы, и это раздражало. По крайней мере, Стивен чувствовал, что он с ним во многом не согласен, но спорить он не счел нужным.

Лосин почему-то стушевался на фоне Солженицына, который, видимо, подавлял его авторитарностью и однозначностью своих суждений. Лосину явно хотелось поговорить о чем-то другом: о театре, о Ленинграде, о белых ночах, но прерывать автора столь нашумевшего романа о ГУЛАГ(е) ему не доставало смелости.

Наконец, Солженицын заинтересовался ужином - свиными ребрами, грудой лежащими на овальном фарфоровом блюде. Они источали тонкий аромат розмарина, смешанного с чем-то еще, почти неуловимым, но необычайно аппетитным.

Лосин воспользовался перерывом в беседе, чтобы пересесть ближе к Стивену: его явно занимала какая-то мысль, которой надо было с кем-то поделиться.

- Вы ведь никогда раньше не были в Советском Союзе, не так ли? - спросил он. Стивен улыбнулся.

- Как вы догадались?

- Я родился в Ленинграде, - задумчиво произнес Лосин. - Город белых ночей, Достоевского, Пушкина... если бы вы бывали там, я бы это сразу почувствовал.

- Вы правы, - ответил Стивен. - Я изучаю и преподаю историю балета в Советском Союзе, а сам никогда еще не был в Кировском театре... Иногда мне становится стыдно за это.

- Мы все узники нашего времени, - задумчиво сказал Лосин. - И даже когда мы покидаем одну страну, чтобы найти себе пристанище в другой, мы все равно остаемся в заключении. Наше время нас никогда никуда не отпустит...

- Может быть, это не так уж плохо - жить и работать в своем времени? - спросил Стивен. - Какой смысл ворошить то, чего уже нет? Может быть, говорить такое историку почти крамольно, но это то, что меня тоже часто тревожит.

- Те, кого уже нет, могут рассказать нам истину о том, что было, - серьезно сказал Лосин. - По крайней мере, я знаю в Ленинграде одного такого человека...

- Которого уже нет? - с улыбкой спросил Стивен.
- Который, к счастью, еще есть, но он разговаривал с тем, кого, к сожалению, уже нет, И он записал все эти беседы на магнитофон, представляете? 12 часов бесед с одним из величайших умов нашего с вами столетия!
- То, что вы рассказываете – потрясающе! - сказал Стивен после некоторого молчания. - Устная история. История, рассказанная реальным участником событий, а не историком, живущим много лет тому вперед. Он ведь, историк этот, может или факты исказить в угоду своим политическим предпочтениям, или утаить их до лучших времен...
- Я почему-то верил, что найду в вас понимание, - сказал Лосин. - Я слушал ваше выступление сегодня: вы - тот человек, который смог бы сделать эти записи достоянием всех. Я имею ввиду, записать их, перевести, издать книгу... Скажите, вам было бы это интересно?

Стивен задумался.

“Как неожиданно раскладывает карты жизнь: вот уже год, как я ищу повод отправиться в СССР, попасть в Кировский театр, начать наконец писать книгу о балете - и вот оно! На какой-то конференции ко мне сам подходит человек и спрашивает, не хотелось ли бы мне побывать в СССР. Воистину: неисповедимы пути Господни...”

Все эти мысли пронесли у него в голове стремительно, как падающая звезда, осветившая внезапным осознанием того, что он должен был теперь сделать и, более того, чего не сделать было решительно невозможно. Нужно ехать в СССР!

- Если вы согласитесь, - продолжал Лосин, - я дам вам письмо к человеку, который все эти записи хранит у себя дома. Он, к слову сказать, архитектор, Юрий Орестович Цехновер. Очень хороший архитектор. Но ему, как и всем нам, не давали работать по-настоящему, не давали творить, и он предпочел уединиться в библиотеке, где и обрел желанную тишину. По стечению обстоятельств, судьба свела его с Баховым, и однажды он предложил записать воспоминания о его жизни на пленку. И Бахов согласился. Они провели вместе с магнитофоном много вечеров, выпили много чая, выкурили много сигарет...

Лосин улыбнулся, видимо представив себе, как Бахов и Юрий сидят за письменным столом, а на столе стоит чайник со свежесваренным чаем, и лежит пачка сигарет "Казбек", и медленно крутится магнитная пленка, записывая и голос истории, и мяуканье кошки, которую забыли вовремя покормить.

- Я обязательно поеду, - сказал Стивен.

Ноябрь 1982

Юрий

Утро нового дня разбудило Стивена часов около десяти, когда луч низкого ленинградского осеннего солнца пролез между штор, наспех и неплотно задернутых вчера вечером.

Стивен взглянул на часы и ужаснулся: как можно было так долго спать!

Через пол-часа он вышел на улицу: прекрасный осенний день, редкий для Ленинграда, обещал быть без дождя. Нева ослепительно блестела, как будто слегка согретая низкими солнечными лучами.

Дел на сегодняшний день было немало: позвонить Юрию, если получится - встретиться с ним прямо сегодня, передать ему письмо от Лосина и лекарства, которых было никак не достать в Советском Союзе. Что это были за лекарства и для кого, Стивен не успел спросить, когда приехал к Лосину в Нью-Гемпшир, незадолго до отъезда.

Лосин при прощании немного нервничал: было видно, что прикосновение к своей прежней жизни в Союзе причиняет ему какое-то необъяснимое волнение, почти страдальческое. Ленинград был и остался его вечной невенчанной музой, его судьбой. Лосин даже признался Стивену, что не может больше писать стихи: муза покинула его, осталась там, на тех улицах, мокрых от мелкого дождя.

Стивен позвонил Юрию в библиотеку. Трубку долго не снимали, потом наконец кто-то подошел. Стивен, не представляясь, попросил Юрия.

- Здравствуйте, - сказал он, наконец услышал в трубке голос того, кого искал. - Я друг Лосина. Вы ведь его помните? Я сейчас в Ленинграде и очень хотел бы с вами встретиться, если возможно.

Стивен чувствовал, что ему трудно разговаривать по-русски по телефону: слова сопротивлялись, отказываясь складываться в правильно построенные фразы.

- Конечно, я его помню, - голос у Юрия был глуховатый, то ли от многолетнего курения, то ли от осенней простуды. - Я буду очень рад с Вами встретиться... простите, как вас зовут?
- О, извините, - смущенно воскликнул Стивен. - От волнения я даже не представился... Стивен. Стивен Ладлоу, коллега вашего друга.
- Очень приятно, - ответил Юрий. - Ваш русский поразительно хорош. Я бы ни за что не догадался, по вашему произношению, что вы не из... - он замялся, подумал секунду, и закончил: - ...не из Ленинграда.

Стивен засмеялся, довольный.

- Позвольте считать это за комплимент, ответил он.

Договорились встретиться вечером, у Юрия дома. Стивен запомнил адрес, он был прост: Набережная Красного флота, 6.

Дверь Стивену открыла совсем молодая женщина, лет двадцати пяти, с короткой стрижкой и милым, немного хотя и с немного мелкими чертами, лицом.

Она улыбнулась приветливой улыбкой: его ждали.

В дверях, за ее спиной, появился Юрий, поглаживающий длинную, как у Льва Толстого, седую бороду. Ему было не менее пятидесяти. Грубо связанный свитер дополнял образ настоящего архитектора-художника. Он широко улыбался.

- Входите, мой друг, входите, - сказал он. - Будьте как дома. Зигрида будет нас сегодня угощать чем-то необыкновенно вкусным. Готовьтесь!

Молодая женщина смущенно улыбнулась.

- Ну что ты, Юрий, расхваливаешь мой ужин еще до того, как попробовал? Может, ничего и не получится...

Юрий нежно обнял ее за плечи.

- Не получится - ну и ладно. Будем чай с вареньем пить. - И он подвернулся к Стивену.

- Не желаете пока взглянуть на мою скромную библиотеку?

Стивен согласно кивнул.

Они прошли в комнату, огромное окно которой смотрело прямо на Неву, а если посмотреть немного вбок, то было видно даже Петропавловскую крепость. Книги возносились от самого пола к потолку так высоко, что нужно было запрокинуть голову, чтобы увидеть, где они заканчивались.

- У меня для этих целей есть лестница, - как-будто отвечая на немой вопрос, сказал Юрий. - Смотрите!

Откуда-то из-за высокой двери он выдернул лестницу-стремянку, раздвинул ее, и быстро поднялся к своим книжным небесам.

- У меня здесь совершенно невероятная книга, купил только вчера, - раздался его голос откуда-то сверху. - Сенека, "Нравственные письма к Луцилию".  
Представляете - первый полный перевод на русский язык! - заканчивал он свою речь уже внизу, держа книгу в руках, и любовно поглаживая темно-зеленый переплет.

Юрий резал студень, аккуратно накалывал кусочки на вилку и медленно жевал, прикрыв глаза, чтобы насладиться ароматом и вкусом.

Студень, действительно, был отменный, хотя Стивену, никогда раньше студень не пробовавшему, он показался слишком насыщенным пряностями и мясом. Чтобы не обидеть радушных хозяев, он незаметно переключился на жареную картошку, оставив на тарелке недоеденное желе.

- Лосин в записке объяснил мне причину вашего приезда к нам, - наливая чай, сказал Юрий. - Я так понимаю, что вы бы хотели транскрибировать магнитофонные записи моих бесед с Баховым, не так ли?

- Если это возможно... - ответил Стивен.

- Все возможно, если осторожно, - усмехнулся Юрий. - Но вам, вероятно, потребуется помощь...

Юрий не закончил фразы: из другой комнаты, видимо пробудившись ото сна, вышла девочка в пижаме в горошек, и подошла, прихрамывая на левую ногу, к Юрию.

- Папочка! - сказала она, и нежно обхватила руками его шею. - Мне приснился сон: я в саду, поливаю цветы, и один цветок такой красивый! Я никогда не видела такого цветка, он появился вдруг, ниоткуда. И я его поливала!

Лицо Юрия выражало неопиcуемый восторг при этих смешных детских словах, но глаза почему-то стали мокрыми. Он отвернулся и смахнул набежавшую слезу рукавом своего свитера.

- Иди к маме, моя прелесть, - сказал он, глядя ее по голове. - Мама по тебе очень соскучилась, пока ты спала.

И девочка ушла, все так же прихрамывая, в другую комнату.

В глазах Стивена, видимо, читался немой вопрос, и Юрий, немного подумав, решил ответить.

- У нее развивается остеомиелит. Поражено левое бедро... Мне удалось договориться об операции. Оперировать будет очень хороший доктор, но даже он не ручается за успех...

В глазах Юрия снова появились слезы.

- Но не будем о грустном, - улыбнулся он. - Давайте лучше поговорим о том, кто вам может помочь перевести эти беседы.

В этот момент раздался звонок в дверь.

- О, это, я думаю, она, - радостно сказал Юрий.

В коридоре уже слышался мелодичный голос Зигриды, приветствующей вошедшего. Потом зазвенел тоненький голосок девочки: "Ура! Тетя Ира!"

В комнату вошла девушка лет двадцати и приветливо улыбнулась. Такой светлой и такой очень русской улыбки Стивен не видел никогда: от нее в комнате как будто стало теплее.

- Знакомьтесь, друзья, - сказал Юрий. - Это Ирина, моя ассистентка в библиотеке, и студентка университета. Он изучает там самые красивые языки.

Продолжая согревать комнату улыбкой, при этих словах Ирина немного покраснела. И это ей тоже необыкновенно шло.

Стивен поднялся со стула и сам, не дожидаясь представления, протянул ей руку.

- Стивен. Я очень рад.

Ирина смотрела на него, и в ее серых глазах рождалось любопытство. Было ясно, что Юрий, приглашая ее на ужин, не рассказал ей всего, и встреча с иностранцем, говорящим по-русски, не значилась в списке сегодняшних блюд.

Ирина под села к столу; Зигрида поставила перед ней фарфоровую тарелку и положила прибор.

- У нас сегодня жареная картошка с луком и настоящий студень. Тебе положить?
- спросила она.
- С удовольствием, - Ирина сама положила на тарелку чуть-чуть и того, и другого, отломив ломтик хлеба и приготовилась слушать.
- Ты кушай, Ирочка, кушай, - вдруг засуетился Юрий. - Я знаю, ты прямо с работы, голодная. Не обращай на нас внимания, а мы пока тебе все расскажем и покажем.

Скоро Ирина узнала, зачем, собственно, Стивен приехал в СССР: прослушать и перевести 12 часов магнитофонных записей бесед с Михаилом Баховым, философом и исследователем литературы, которого сейчас все знают и изучают на Западе. Как оказалось, Бахов с Юрием Орестовичем были хорошие друзья.

- Вот тут они все и хранятся, - сказал Юрий.

В углу, покрытая темной тканью, стояла картонная коробка из-под телевизора.

- Это и есть тот самый архив, о котором вам рассказывал Лосин. Он был одним из немногих, кто слушал отрывки записей, когда работа только начиналась...

Юрий помолчал, как-будто унесясь мыслями в то самое время, когда вот так же сидел и беседовал с Баховым.

- Честно сказать, я быстро вошел во вкус и решил записать воспоминания еще нескольких очень интересных людей... Все они тут, на этих пленках.

- Сколько их? - спросил Стивен.

- Кого? Людей, или пленок?

- Людей, конечно, - улыбнулся Стивен.

- Я точно не помню, - задумался Юрий. - Где-то пять, или шесть. Но воспоминания Бахова, без сомнения, самые интересные. Потрясающий был человек. И как же сильно потрепала его жизнь!

Юрий вздохнул, потрогал задумчиво бороду, и добавил.



- Хотя кого она не потрепала? Лихие времена, что еще скажешь. Но вот тут, - он указал на коробку. - Тут - правда. Самая настоящая правда, без прикрас. Только на эти пленки Бахову и удалось эту правду наконец сказать. В плохое время для правды он жил...

Юрий опять погладил бороду. Стивен молчал, боясь прерывать течение его мысли.

- Хотя, честно говоря, я и не помню, когда было хорошее время, чтобы говорить правду... - он вздохнул. - Может, эта страна совсем и не создана для правды...

Он потянул за угол синюю ткань, скрывающую настоящую говорящую историю, и ткань скользнула вниз, подбрасывая в воздух облака пыли.

- Видите, я же сказал вам: тут целая гора человеческих воспоминаний, записанных на этих пленках. Когда-нибудь это будет настоящее сокровище: устная история, голоса тех, кого больше нет с нами... как Шахерезада из «Тысячи и одной ночи», рассказывающая нам свои прекрасные сказки. Но эти сказки - правдивы... за каждой из них стоит чья-то жизнь, и чья-то настоящая, а не выдуманная, трагедия...

- Как я смогу все это слушать? - спросил Стивен.

- Не нужно слушать все. По крайней мере, не сейчас. Я отобрал то, что, уверен, будет вам интересно: воспоминания Бахова, и это целых двенадцать часов! Сюда, в сторону, я отложил двадцать пленок.

Пленки действительно лежали в стороне, заботливо перевязанные веревкой - чтобы не рассыпались по столу.

- Это все его воспоминания, - продолжал Юрий. - Магнитофон я тоже поставил сюда, вместе с ними. С тех пор, как я записал эти беседы, я этим магнитофоном ни разу не пользовался, а вам он пригодится.

Стивен молча брал в руки одну кассету за другой, брал бережно, как будто боялся, что они рассыпятся прямо у него в руках.

- Я знаю, здесь очень много работы, - сказал Юрий. - Поэтому я и решил пригласить Ирочку помочь вам, хотя я сейчас уже не уверен, что вам обоим хватит времени все это сделать... Тем более, что она еще и учится в университете...

Стивен посмотрел на Ирину, а она на него, и они оба, не сговариваясь пожали плечами: они поняли друг друга.

- Я думаю, мы справимся, - сказала Ирина. - Но работать нам придется у меня дома. В библиотеке нельзя, это понятно; но нельзя работать и у вас в гостинице.

- Почему нельзя? - удивился Стивен. - У меня там очень неплохой номер, никто мешать не будет.

Юрий и Ирина переглянулись, и почти одновременно засмеялись. Засмеялась и Зигрида, до тех пор не вмешивавшаяся в разговор.

- Это, к сожалению, реалии нашей жизни, - смеясь, сказал Юрий. - КГБ не оставляет нас своим вниманием и заботой. Я не удивлюсь, если в твоём номере за батареями сидят “жучки”, а за стенкой сидит какой-нибудь скучающий агент в черном костюме, с магнитофоном на столе, который записывает каждое ваше слово и, стыдно сказать, даже как вы спускаете воду в туалете!

Юрий, Ирина, и Зигрида покатывались от смеха. Глядя на них, расхохотался и Стивен.

- Простите, я и подумать не мог, что моя скромная особа может привлекать к себе столько внимания...

- О, не волнуйтесь, они не обделят вас своим вниманием. Самое главное, чтобы этого внимания не стало слишком много...

И они все снова расхохотались.

Подали чай - крепкий, ароматный, настоящий. Зигрида, как добрый гений, появлялась у стола, исчезала, потом являлась снова с новой порцией пирожных, красиво разложенных на широком фарфоровом блюде.

- Юрий, - обратился к нему Стивен. - Я знаю, что вы архитектор, но я нигде не видел ваших эскизов. Над чем вы сейчас работаете?

Наступило короткое молчание.

- Юрий Орестович больше не работает как архитектор, - прервала молчание Зигрида. - Его изгнали из Союза архитекторов за то, что он не позволил властям изменить облик нашего с вами Невского проспекта: написал письмо в газету. Дело вышло наружу, вмешались из Москвы. Реконструкцию Невского запретили, но Юра лишился работы. Хорошо, что он еще и художник... Тем мы и пока еще и живы.

И она любовно погладила Юрия по спине.

- Не надо о грустном, Зигридоочка, - сказал Юрий. - Это все такие пустяки...по сравнению с мировой революцией.

И он опять рассмеялся.

От Юрия Стивен и Ирина вышли вместе около восьми вечера. Было уже совсем темно, и только светилась Петропавловская крепость, а редкие фонари гляделись в темную воду Невы, любуясь на свое отражение.

- Я отвезу вас домой, - сказал Стивен. - Пожалуйста, позвольте мне сегодня за вами поухаживать, - торопливо добавил он, заметив, что Ирина собиралась отказаться.

- Пожалуйста...

Она кивнула. На самом деле, ей были необыкновенно приятны и его внимание, и его подчеркнутая вежливость.

Такси пронеслось по вечернему городу рысью, пролетая мосты, ныряя в переулки, потом снова выныривая на широкие проспекты, где снова набирало скорость.

Стоя у дома Ирины, Стивен пожал ей руку еще раз.

- Спасибо, что согласились помочь мне, - сказал он.

Одинокий фонарь, пробиваясь сквозь ветви, отбрасывал тени на ее лицо.

- Значит, до завтра? - сказала она, вынимая руку из его теплой и мягкой руки. - Завтра вам надо будет записаться в нашу библиотеку. Вам необходимо будет подтвердить причину вашего приезда сюда. Вы ведь пишете книгу о балете? Вот и будете работать над нею в библиотеке. Тогда все сходится, и вы не вызовете никаких подозрений.
- А если меня, как иностранца, откажут записать в библиотеку? - улыбнулся Стивен. - Что тогда делать? Звать вас на помощь?
- О, только не это, - рассмеялась Ирина.

Потом добавила, уже серьезно.

- Тогда зовите капитана Лунева из первого отдела. Я слышала, он умный человек...

Ноябрь 1982

Лунев

Геннадий Лунев, капитан КГБ и начальник Первого отдела библиотеки Салтыкова-Щедрина, или “Салтыковки”, как ее обычно называли, приходил на работу в 9 часов утра. Он мог и опоздать - все равно в его отделе никого больше не было. Он был “начальником над самим собой”, как он любил пошутить, когда был с друзьями.

Кабинет был небольшой, но уютный: его сделала таким Лариса, жена Лунева. Она всю жизнь мечтала рисовать, но строгий отец, полковник КГБ, не пустил ее в художественное училище. Отец рано умер, отравившись вредными парами во время аварии на какой-то секретной станции, а Лариса закончила медицинский институт, как и хотел отец, и на всю жизнь осталась врачом. Она не жалела или, лучше сказать, привыкла не жалеть, о своей несостоявшейся мечте, и даже верила, что занимается хорошим делом, но сама продолжала рисовать, даже во сне.

Их дом с Луневым постепенно превратился в маленькую картинную галерею, состоявшую только из ее картин, и с каждым годом она становилась все лучше. Часть из них Лунев поселил в своем кабинете, и каждый день любовался то на городской пейзаж, когда на Ленинград опускаются вечерние лиловые сумерки, то на букет с цветами, оставленными утром на подоконнике кем-то и для кого-то, вероятно, очень дорогого, то на девочку, поливающую синий цветок в утреннем саду из маленькой лейки.

Работу свою он не любил. Он попал туда случайно, по глупости, когда в юности амбиции заставляют нас совершать поступки, в которых мы потом раскаиваемся всю жизнь. Это был как раз тот поступок.

Лунев, вообще-то, был музыкант. В юности, следуя велению сердца, а не ума, он поступил в музыкальное училище, на класс классической гитары, и все четыре года в училище только и делал, что ходил на концерты самых знаменитых гитаристов, которые тогда часто приезжали в СССР. Постепенно он полюбил и оперы, особенно Верди.

Как раз в один из таких вечеров, слушая “Травиату” Верди он и познакомился с Ларисой. Она никак не была связана с музыкой, а просто обожала Верди и была сестрой одного из друзей Лунева. Лунев видел ее мельком несколько раз, и Лариса произвела на него неизгладимое впечатление: безупречные линии лица в сочетании с добротой, светившейся в серых глазах.

Он долго бегал по городу, но достал два билета на " Травиату" в Кировский, в партер на четвертый ряд, и через друга пригласил Ларису. Она согласилась. Лунев весь вечер так и не смог сосредоточиться на опере: через темноту зала он любовался профилем Ларисы, представляя ее или Афродитой, или Афиной, и чувствовал, что уже больше никогда не сможет ее забыть. Преодолевая страх и смущение, Лунев протянул руку сквозь темноту и коснулся ее руки... Она не отдернулась, а ответила мягким рукопожатием. Через три месяца они поженились. Молодая пара переехала жить в квартиру Лунева, где он жил со своей матерью с самого своего рождения, в 1951 году. Его отец, профессор микробиологии, однажды выступил с докладом о необходимости подхватывать идеи “зеленой революции”, доказывая, что за счет модификации генов можно в скором будущем гарантировать во всей стране изобилие всевозможных продуктов в любое время года – продуктов, в которых страна все еще остро нуждалась.

Профессор Лунев привел убедительные данные о том, как Мексика, находясь на грани серьезного голода в 1940 году, с помощью генетики уже к 1952 году стала лидером по экспорту пшеницы, утроив ее урожайность всего за несколько лет. Лунев даже процитировал свою переписку с неким Норманом Борлоугом, американским агрономом, который был готов поделиться своими открытиями с советским ученым, чтобы помочь остановить голод в его стране.

На следующий день профессора Лунева вызвали на Литейный для разговора, как ему сказали по телефону, но домой он после этого “разговора” не вернулся. Его жена, после многочисленных запросов, наконец получила ответ, что ее муж оказался американским шпионом, и был приговорен к смертной казни за предательство родины.

Профессор Лунев был расстрелян 3 марта, а 5 марта 1953 скончался Сталин. Квартира Лунева, как собственность “врага народа”, должна была быть

конфискована, но из-за смерти Сталина и страшной суеты вокруг похорон “отца всех народов” семья спаслась от стыда и ужаса быть выброшенной на улицу. В НКВД просто забыли о вдове и ее двухлетнем сыне.

Потом пришел Хрущев, а вместе с ним пришла “оттепель” и десталинизация. Миллионы несправедливо осужденных начали возвращаться домой из сотен трудовых лагерей, разбросанных по всей стране, а несколько лет спустя наконец был признан невиновным и профессор Лунев. Мало того: газеты хором назвали его одним из самых выдающихся ученых современности.

Таким образом, все обвинения в его адрес были сняты, а доброе имя восстановлено. Его вдова была рада, что ее хотя бы оставили в покое, и она могла продолжать работать воспитательницей в детском саду, выживая на крошечную зарплату и считая каждую копейку. Пенсию за невинно расстрелянного мужа, оказавшегося великим ученым, а не "американским шпионом", ей так и не назначили. Поэтому мать с сыном еле-еле сводили концы с концами, но, после всего пережитого были счастливы и тому малому, что у них осталось.

После поступления в музыкальное училище, и особенно после встречи с Ларисой, для Лунева началась новая, прекрасная жизнь. Лариса училась в медицинском, а он, пока она зубрила анатомию человека, играл ей на гитаре Баха. Он замечал, как Лариса иногда вздыхала, подпирала голову рукой и сидела, куда больше погруженная в божественные звуки музыки, чем в строение человеческого скелета, и глаза ее были полны слез.

Оба много занимались, но иногда все-таки выбирались в театр, а после театра долго гуляли по ночному городу, искали 2-копеечную монету, чтобы позвонить домой маме Лунева и сказать, чтобы она ни о чем не волновалась. Это было самое прекрасное время, которое закончилось, когда, после окончания училища, его призвали в армию.

Лариса преданно ждала его. Она очень сдружилась с его мамой, совсем постаревшей за те два года, пока не видела сына. Чтобы ее хоть как-то утешить и поддержать, Лариса, в перерывах между учебой и работой в больнице медсестрой, стала писать портрет Лунева - не таким, каким она его помнила, а таким, каким

представляла. А по вечерам они вместе с его мамой сочиняли ему письма, полные грусти, одиночества, и любви.

Когда Лунев наконец вернулся из армии, то маму он дома уже не застал: она умерла за два дня до его приезда, когда он уже был в дороге. Лариса встретила его в дверях, молча обняла за шею и тихо заплакала. В комнате, где они прежде любили собираться по вечерам втроем, было пустынно, а над диваном, где раньше спала его мама, висел портрет Лунева, написанный Ларисой: два путника, мужчина и старушка, стоят перед кленом и смотрят на заходящее за горизонт желто-красное солнце, и мужчина заботливо поддерживает под руку старушку.

Лунев пришел из армии рассерженный на весь мир, разочарованный в себе, и не знающий, куда себя применить. Вернуться к любимой гитаре он не смог: в армии, защищаясь от постоянных нападков “дедов”, он повредил суставы пальцев рук, и чтобы снова играть на инструменте не могло быть и речи.

Лунев повесил гитару на стену над кроватью, и поступил на юридический. Раз в этой жизни так много несправедливости, то самое лучшее - это знать законы, чтобы с этой несправедливостью бороться, решил он.

Суровый тесть, по иронии судьбы, полковник КГБ, с самого начала посматривавший на Лунева каким-то особенным образом, как-то вдруг признался, что и квартира, и машина, и дача - все это было получено им только благодаря службе в *этой* организации.

Его мысль была предельно ясна: если ты хочешь обеспечить счастье и достаток моей дочери, которая теперь твоя жена, тебе тоже лучше работать в *этой* организации. Лунев согласился.

А еще через год тесть умер. Когда он вернулся из своей последней командировки, где отравился неизвестными ему парами, или получил дозу радиации, он перестал быть патриотом. Лежа дома в постели и зная, что доживает последние дни, он проклинал тех, кто его послал ликвидировать последствия аварии, устроенной идиотами, занимавшими чужие места. Жизнь наконец предстала перед ним в своей первозданной наготе, и он вдруг понял, что ни машина, ни квартира, ни дача не стоили того, что он за них заплатил - свою жизнь.

В последний день он плакал и просил Ларису простить его за то, что не дал ей осуществить ее мечту - стать художником. Дочь, добрая душа, утешала отца как могла, говорила, что счастлива быть врачом, что ни о чем не жалеет, и все гладила и гладила его по голове, пока он не уснул. Навсегда.

Почти сразу за этим событием, Юрий Андропов, глава КГБ, начал свой “крестовый поход” против коррупции, этой раковой опухоли, которая поразила органы госбезопасности. Лунева, зятя полковника, хотя уже и умершего, признали частью этой “опухоли” и для отчетности сослали служить в Таджикистан.

Там, изнывая от невыносимой жары и ненавистного солнца, никогда не уходившего за горизонт, он провел два года. Лариса пыталась работать доктором: именно пыталась, ибо в больнице, где она работала, месяцами не было ни антибиотиков, ни даже простых одноразовых шприцев. Тяжело больным давали таблетки аспирина, растертые в порошок и смешанные с горькой красавкой, чтобы больные думали, что это настоящий и сильный антибиотик. Они верили и, что поразительно, часто поправлялись.

Именно там, в Таджикистане, Лариса несвоевременно забеременела. Лунев хотел отправить ее в Ленинград, но она заупрямилась: где ж это видано, чтобы доктор не мог справиться со своей собственной беременностью!

Но не справилась: плод отказался перевернуться, делать кесарево было некому, и маленький Сережа родился ногами вперед, серьезно повредив тазовые суставы и на всю жизнь оставшись хромым на обе ноги.

После рождения сына, совершенно утонувший в захлестнувшем его горе, Лунев написал рапорт, прося освободить его от дальнейшей службы. Комитет не замедлил с ответом: Луневу наотрез отказали, а для “профилактики” сослали на новую работу - в библиотеку. На этот раз, правда, в Ленинграде. Наверное, кто-то там наверху сжалился над больным сыном.

В комитете считалось, что работа в таких местах, как библиотека, была для “совсем пропащих”: там и скука смертная, и никакого карьерного роста. Теперь Луневу светило отправиться на пенсию в звании капитана, ну, или майора, если повезет. Вот так он и оказался в “Салтыковке”.



Раздался звонок, и Лунев, оторвавшись от созерцания памятника Екатерине Великой, смотревшей, казалось, сквозь века, и равнодушно державшей двумя пальцами лавровый венок, поднял трубку.

- Товарищ Лунев, это с проходной вас беспокоят, - послышался голос. - У нас тут нестандартная ситуация. Вы не могли бы подойти?

“Какая еще ситуация?” мысленно выругался Лунев. Но надо было идти. Может, и впрямь стряслось что-нибудь серьезное?

Еще издалека Лунев увидел, что на вахте и впрямь была нестандартная ситуация: облокотившись на стену, расслабленно и свободно, как-будто в парке перед киоском с мороженым, стоял явно не “наш” человек. Он просто стоял и спокойно ждал, не ища помощи ни глазами, ни жестами.

Лунев прошел мимо него и наклонился к той, которая, вероятно, и звонила.

- В чем дело? - спросил он строго, хотя, на самом деле не чувствовал ничего, кроме любопытства. Не каждый день на его работе надо было о чем-то серьезно подумать.

- Вот тут гражданин... - девушка запнулась. - Он хочет записаться к нам в библиотеку... - она снова запнулась.

Лунев посмотрел на нее осуждающе: пусть чувствует ответственность момента, пусть знает, что без него, Лунева, такие вопросы не решить. И сказал:

- Ну, и что? На то и библиотека, чтобы приходить и записываться.

- Но он... иностранец! - выдохнула девушка. - Американец! - прошептала она почему-то, и покраснела от полной растерянности.

Лунев понял это и до того, как она произнесла эти два таких непривычных для библиотеки слова: иностранец, американец. Ну, теперь можно было братья и за дело!

Лунев повернулся к иностранцу, спокойно ждущему своей участи - быть или не быть! - и спросил по-английски:

- How can I help you?

Иностранец в ответ широко улыбнулся и ответил на чистом русском:

- Я профессор истории, пишу книгу о русском балете, и хотел бы записаться в вашу библиотеку.

Ситуация и правда была довольно нестандартная: Лунев работал в Первом отделе “Салтыковки” уже около года, и это был первый случай, когда сюда пришел записаться иностранец. Тем более - американец. Да еще тот, который говорит по-русски.

- Документы у вас в порядке, я полагаю? - Лунев как-будто бы задал вопрос, но прозвучал он скорее как подтверждение. Надо было что-то срочно решить и что-то сделать, чтобы избежать неловкой ситуации.

Лунев в голове перебрал инструкции, какие помнил, но ничего подходящего не нашел. И это хорошо, решил он: значит, можно действовать по обстоятельствам.

- Пройдемте ко мне в кабинет, - вежливо пригласил он иностранца.

И они ушли.

- Хорошо, что у меня в кабинете так много красивых картин, - думал Лунев, идя по коридору. - Надо будет купить часы и повесить на стену... и, может быть, что-нибудь еще, чтобы добавить элегантности.
- Прошу, - Лунев открыл дверь ключом и пригласил иностранца войти.

Тот вошел, подошел к окну и замер, видимо пораженный видом Екатерининского сада и гордой императрицы.

- Как у вас здесь прекрасно, - сказал он с чувством. - Какой великолепный вид! Ради одного такого вида стоило проехать тысячи километров...

Он повернулся, широко и радостно улыбаясь.

- Садитесь, - сказал Лунев.

Он чувствовал, что по какой-то странной причине подпадает под обаяние этого человека - не то чтобы молодого, лет тридцати пяти, не больше - но заряженного какой-то другой, какой-то невероятно притягательной энергией.

- Вот мои документы, - сказал иностранец, кладя на стол паспорт, какую-то пластиковую карточку с фотографией, похожую на билет в кино, и справку, выданную ему в гостинице “Москва”.

Лунев открыл паспорт. Его сразу удивили две вещи: грозный, но красивый орел, с первой же страницы смотрящий вдаль, и улыбающаяся фотография владельца. На советских документах никто никогда не улыбался: такое никому даже не могло бы придти в голову...

- Стивен Ладлоу, - прочитал вслух Лунев. - Все правильно?
- Правильно! - радостно подтвердил иностранец.

Теперь очередь дошла до пластиковой карточки. Перед ней Лунев, почему-то, испытал какое-то волнение, и он знал, почему: он боялся, что не поймет в ней ни слова. Его страхи были не напрасны: на карточке красовалась другая, еще более счастливая физиономия того же Стивена Ладлоу, а рядом было написано: Marshall university, Faculty.

Первое было понятно, а вот что такое “faculty”?

“Надо срочно начинать учить английский,” сердито подумал Лунев. “Какая, право, неловкая ситуация...Что же такое это “faculty?”

- “Faculty” означает, что я один из профессоров университета, - вдруг сказал иностранец, как-будто угадав, над какой проблемой ломал голову Лунев. - Это слово трудно перевести на русский язык.

Лунев как-то даже почувствовал себя лучше, но все равно решил, что английский надо срочно учить.

Ему нравился этот иностранец: в нем было что-то такое, что, признаться честно, Луневу хотелось бы иметь самому - какое-то полное спокойствие, безмятежность. Но главное - умение видеть и наслаждаться красотой. Как он бросился к окну, как неподдельно восхитился видом Екатерининского сада! Почему-то никто из тех, кто входил в его кабинет Лунева, никогда этой красоты не замечал. А этот иностранец сразу заметил...

Это умение - наслаждаться красотой - было то, что Лунев давно утратил, и страдал от сознания этой утраты. Раньше в его жизни была музыка, был театр... Теперь не осталось ничего из того, чем он жил, чем когда-то дышал, а остались какие-то пыльные папки с надписью “Дело номер...”, и доисторические инструкции, которых никто никогда не читал.

Лунев положил в паспорт пластиковую карточку и справку из гостиницы, подтверждающую несколькими печатями, что Стивен Ладлоу, американец, действительно живет в номере 417 гостиницы “Москва”, и будет там находиться до 23 марта 1983 года, и передал все это Стивену.

- Я думаю, что ваши документы в полном порядке, - сказал он, тоже пытаюсь улыбаться, как Стивен - широко и искренне. Вроде бы, даже получилось. – Идите, пожалуйста, ко входу, где вы уже были. Я им позвоню, и вам выпишут читательский билет.

Стивен положил паспорт в карман.

- Я вам очень признателен за помощь, - сказал он. - Честно сказать, я не ожидал, что в КГБ служат такие интеллигентные люди как вы, капитан. Когда-нибудь я об этом обязательно напишу.

Лунев улыбнулся, но в этот раз ему не потребовалось для этого никакого усилия. И почему-то захотелось сделать для этого приятного иностранца что-нибудь очень хорошее.

- Если у вас будут опять какие-либо проблемы в библиотеке, звоните прямо ко мне. Я помогу.

Когда Стивен ушел, Лунев позвонил на проходную и дал указание выписать иностранцу читательский билет, чтобы он мог посещать библиотеку в любое время. Потом повесил трубку, прошелся по кабинету и подошел к окну. Там все так же стояла Екатерина, смотрящая вдаль с тем же строгим выражением лица, как и тот орел на первой странице американского паспорта.

Лунев подошел к телефону и набрал номер, на этот раз другой номер.

- Это Первый отдел, капитан Лунев. Составляйте список книг, которые будет затребовать у вас Стивен Ладлоу, и представляйте этот список мне каждую неделю.

И повесил трубку.

Март 1982

Аля

Ирина жила с бабушкой в довольно просторной трехкомнатной квартире. Ее отец, военный врач, погиб два года назад, а мама не смогла пережить этого расставания: она впала в глубокую депрессию и отчаянно боролась с ней, пока были силы. Но

однажды, в серый мартовский день, она ушла из дома, якобы на регулярные процедуры в поликлинику, и не вернулась.

Ирина и бабушка ждали ее целый день, надеялись до последнего, но она так и не пришла. Вечером позвонили из милиции, задали несколько неприятно-странных вопросов, потом сказали, что им обоим завтра придется прийти в морг и опознать труп женщины, которая сегодня покончила с собой, спрыгнув с девятого этажа. На следующий день они обе пришли в морг и опознали Алю. Она лежала, такая маленькая, такая несчастная, а на лице застыло выражение неизмеримой грусти: грусти о том, что больше они никогда не увидятся.

Ирина не могла смотреть на ее лицо, зарыдала и отвернулась.

- Что же ты наделала, доченька! Что же ты, наделала!.. - тихо, почти неслышно повторяла Лидия. - Как же ты так, родная моя?

Потом наклонилась и поцеловала Алю в лоб.

- Спи спокойно, доченька, - прошептала она, и отвернулась.

Дома они долго сидели за столом и молчали, потрясенные увиденным и произошедшим. Ирина плакала, а Лидия гладила ее по голове и смотрела, как грустно шевелит голыми мартовскими ветвями их любимый клен перед окном. Из ее правого глаза катилась одинокая слеза. Левый глаз не мог больше плакать: он только что ослеп навсегда.

1933 – 1947

Лидия

Когда началась война, Лидии только что исполнилось двадцать. Она совсем недавно вышла замуж и родила первенца - дочь Алю. В первые месяцы войны мужа призвали в армию, а Лидию с ребенком эвакуировали из Ленинграда.

Она никогда не могла забыть, как мать и отец провожали ее с Алей на вокзале: их глаза были сухими, но сердца истекали кровью, как будто они уже знали, что никогда больше не увидят друг друга.

Так и случилось: в первую зиму ленинградской блокады у Федора, отца Лидии, стоявшего в очереди за хлебом, вытащили из кармана все хлебные карточки, которые он только что получил на заводе на целый месяц вперед. В первые две недели он продал все ценное, что было дома; третью неделю они с женой пытались варить суп из кожаных ремней; в конце четвертой недели он взял их обручальные кольца, сказал, что обменяет их на хлеб на рынке, и больше не вернулся.

По дороге на рынок у него случился сердечный приступ. Он упал и умер прямо на улице, а ночью его замерзшее тело погрузили в грузовик вместе с сотнями других тел, когда-то принадлежавших людям также не дошедших до дома и умерших сегодня.

Федора похоронили где-то в братской могиле на окраине города. Ни молитв, ни похоронных слов, ничего не было сказано. Тела просто кидали в широкую промезшую канаву и торопливо засыпали комьями промезшей земли. Только холод и ледянящий ветер царствовали и веселились в мертвом городе, которому было приказано выживать любой ценой.

Через несколько дней, прямо в своей большой четырехкомнатной квартире, не в силах больше ни встать, ни двигаться от голода, умерла мать Лидии, Мария. Лидия с младенцем приехала в Боровичи, небольшой городок в Новгородской области, где прямо на станции их подобрал грузовик и через два часа доставил в трудовой лагерь для политзаключенных. Лагерь был не слишком большой - в нем было всего около 2500 человек, которых надо было кормить, охранять и “перевоспитывать”. Последнее, разумеется, не делалось вовсе, а вот кормить и охранять было необходимо, даже если совсем недалеко полыхала война.

Сам лагерь прятался в глубине красивых лесов, куда вела только одна, совсем узкая дорога, местами сильно заросшая, вся в таких глубоких ямах и ухабах, что пока грузовик доехал до лагеря, Алю дважды вырвало.

Стоя, наконец, на твердой земле, Лидия осмотрелась по сторонам: вероятно, здесь ей придется прожить несколько лет, и кто знает, сколько: война началась всего лишь несколько месяцев назад.

Все пока здесь выглядело чужим и незнакомым, но все же лучше, чем в голодном и замерзшем Ленинграде: здесь было тепло, пахло едой, и чувствовалась хоть какая-то, но жизнь.

Лидию с дочкой Алей сразу же ее отвели на кухню - не для того, чтобы накормить, хотя обе просто умирала от голода, а для того, чтобы познакомить с начальником - старым евреем, невысоким, худым, с костлявыми руками и длинным горбатым носом, вероятно, сломанным много лет назад.

- Тебя прислали сюда, чтобы помогать на кухне. Не знаю, знаешь ли ты, как готовить еду сразу для нескольких сот человек, но это не беда. Я тебя научу, - сказал он быстро и четко.

Его глаза были острыми, но добрыми.

- Я вижу, у тебя с собой ребенок, - продолжал он. - Девочка, или мальчик?

- Девочка ... Ее зовут Аля.

- Красивое имя. Вам нужно будет хорошо поесть. У нас здесь не на курорте... да...

Он продолжал смотреть на нее, возможно, ожидая какого-то ответа, но Лидия так устала и так проголодалась, что не могла думать ни о чем другом, кроме как поскорее съесть что-нибудь, а потом спать. Спать столько, сколько дадут, сколько получится...

- Это Полина, моя помощница, - заканчивая экскурсию по кухне, сказал начальник.

- Она покажет тебе место, где ты будешь теперь жить. Спокойной ночи. Увидимся завтра на работе. Проходи к 5 часам утра.

Только когда Лидия наконец получила тарелку супа, хороший кусок ржаного хлеба и чашку чая с двумя кубиками сахара, она поняла, что они с Алей будут жить. Где-то там, совсем близко, полыхала война, но они будут жить, по крайней мере дольше, чем ей казалось вчера.

Работа на кухне, которая кормила ни много ни мало 2500 человек, была тяжелой, но труд этот проносил Лидии в конце дня не только чудовищную усталость, но и радость: теперь было достаточно еды и, следовательно, достаточно грудного молока для дочери, а это было сейчас самое главное.

Юрий Рафаилович - так звали начальника кухни - был человеком необыкновенно спокойным и молчаливым. Бывали дни, когда он не произносил ни слова, но

каждый раз, приходя на кухню, его пронизательные глаза видели всё, и все отлично знали, что от его взгляда не ускользнет никакой, даже самый малый, беспорядок. Люди любили его. Просто любили, а не боялись.

Сначала Лидия думала, что скоро Юрий Рафаилович наверняка потребует от нее обычной “благодарности” и боялась этого момента. Но дни шли за днями, а ничего подобного не происходило. Вместо двусмысленных намеков, он просто заходил проверить, как у нее дела, и, удовлетворенно покачав головой, уходил.

Весь кухонный персонал, состоящий из трех девочек, привезенных из детского дома специально для работы в лагере, и двух пожилых женщин жил в одной большой комнате, разделенной занавесками на пять частей. В каждой закутке стояли кровать и стул. Уголок за занавеской, который занимала Лидия, был немного больше остальных - опять же, благодаря указанию Юрия Рафаиловича, а картонная коробка, в которой, возможно, хранился когда-то шлифовальный станок, стала для Али колыбелью.

Юрий Рафаилович жил один в крохотном бревенчатом домике, построенном специально для него заключенными за один день. Он не знал, почему ему так повезло: предыдущий начальник кухни жил в бараке вместе с солдатами и охраной. Может быть ему повезло потому, что он всю жизнь проработал на кухне в ресторане, который днем служил столовой для партийных работников, а может тому были какие-то другие причины. Он не знал.

Райком находился всего в трех минутах ходьбы от его ресторана, где все еще подавали давно забытые блюда, известные во времена царской России: утром подавали Гурьевскую кашу, на обед - французский суп *а-ла-тортю*, телячьи ножки Пулет, окуней под соусом, крокеты из говядины под соусом Пикан, а на десерт - сливочный пудинг, миндальное бланманже, а по особым дням даже винное желе. А вот ночью ресторан становился местом встреч всех местных “воров в законе”. Эти люди, несмотря на дефицит всего и везде, всегда были одеты в дорогие импортные костюмы, белые тонкие хлопчатобумажные рубашки и элегантные туфли из дорогой кожи. Все эти вещи не продавались в советских магазинах, поэтому ответа на вопрос “Где брали?” не знал, наверное, даже товарищ Сталин. Но почему-то все это нисколько не смущало агентов НКВД, и “черные вороны” -



как в народе называли закупленные в Америке черные автомобили марки «Студебеккер» - никогда не приезжали за ними посреди ночи.

Зато однажды ночью они приехали к Юрию Рафаиловичу. Он уже был в постели, когда услышал, как двигатель машины выключили прямо под его окнами. Это был день 10-го июля 1941 года.

Война разразилась всего три недели назад, но все самое ужасное, что могло произойти с ним и его женой - уже произошло: их единственный сын, их Лёничка, который учился в Ленинградской консерватории, в первый же день пошел и записался добровольцем на фронт. Он пришел домой, опустошенный своим собственным решением, с бумажкой, на которой чьим-то корявым почерком было написано, что он обязан явиться завтра в пять часов утра на вокзал, чтобы ехать на фронт.

Его мать чуть не упала в обморок, когда поняла, что натворил ее единственный сын.

- Что же ты наделал, Лёничка? - плакала она. - Что же ты натворил?

- Они сказали, что все должны записаться, что консерватория закрывается, что больше не будет никаких занятий. Даже Леонид Владимирович уезжает, его эвакуируют в Ташкент.

- Но разве ты солдат, Лёничка! - плакала мама. - На войне воюют солдаты, а ты даже винтовку в руках никогда не держал! Как это возможно? Что они там, совсем ничего не понимают?

Мария Ильинична - его любимая мама – проплакала всю ночь. Так они и сидели на кровати все вместе, обняв друг друга и разговаривая о будущем. Они говорили о том, как когда-нибудь они снова соберутся здесь, дома, за своим старым добрым дубовым столом, и как будут вспоминать все, что с ними произошло.

Утром они проводили Лёничку на вокзал. Уставшие, а потому ужасно разгневанные, офицеры не давали никому ни минуты, чтобы как следует попрощаться. Всех их, еще совсем мальчишек, выстроили перед поездом, потом приказали залезать в вагоны. Перед тем, как сесть в вагон, Лёничка еще раз обернулся, глазами отыскал мать и отца, послал им воздушный поцелуй, и улыбнулся в последний раз, грустно и тихо.

1 июля 1941, через семь дней после его торопливого отъезда, пришло письмо: поезд, в котором Лёничка ехал на фронт, был атакован немецким «мессершмиттом» и полностью разбомблен. Тело рядового Леонида Ермакова не нашли, поэтому теперь он считается “пропавшим без вести”.

В ту же ночь Мария Ильинична умерла: вечером, как всегда в десять часов, она легла спать, а утром просто не проснулась. В ее похолодевших за целую ночь руках была зажата фотография Лёнички, сделанная в июне 41-го, на выпускном вечере: он смотрел куда-то в светлую даль, и кому-то счастливо улыбался.

Поэтому, когда за ним приехали посреди ночи, Юрий Рафаилович даже не удивился: он был немецким евреем, чьи предки переехали в Россию в середине прошлого века и жили здесь с тех самых пор. Они уже давно не считали себя немцами, а обычными русскими евреями. Услышав среди ночи зловеющий звонок в дверь, Юрий Рафаилович понял, что началась очередная “чистка”, на этот раз среди евреев.

Надев тапочки, Юрий Рафаилович с тяжелым сердцем пошел открывать дверь. Он очень удивился, когда два офицера, вошедшие в его квартиру, очень вежливо попросили его одеться и проследовать за ними в машину, которая ждала у входа. Когда все трое подошли к машине, один из офицеров открыл дверь и пригласил Юрия Рафаиловича сесть на заднее сиденье. Всю дорогу он гадал, куда же его везут. В тюрьму? Не похоже. Оказалось, его везли прямо на Литейный 4, где находилось управление НКВД по Ленинграду.

- А, дорогой Юрий Рафаилович!- толстый человек с красным лицом и красными невыспатыми глазами подошел к нему и от всей души пожал ему руку.

- Что, испугались? - хохотнул он. - Я знаю, никто не любит сюда приходить. Даже я!

И он снова хохотнул, довольный своей шуткой.

- Я, однако, вынужден попросить прощения, что разбудил вас посреди ночи, - продолжал он уже серьезно. - Сами знаете - служба такая. И время такое...

Он наставительно поднял палец вверх.

- А то что ночь, так это... мы всегда приходим ночью. Чтобы враг был еще в постели, никуда не сбежал. Очень удобно, знаете ли.

И он опять хохотнул, но на этот раз злобно. Но тут же, как-будто вспомнив, с кем разговаривает, вновь подобрел.

- Ха-ха, - он усмехнулся. - Но к вам, дорогой Юрий Рафаилович, это не относится. Его тон снова изменился и стал серьезным.

- Ведь вы нам не враг, не так ли?

И он посмотрел ему прямо в глаза.

- Разумеется, нет, - спокойно ответил Юрий Рафаилович. - Как же я могу быть врагом своей стране?

- Я знаю, вы недавно потеряли сына, и ваше сердце может быть ожесточилось против советской власти, которая призвала его на фронт...

- Мой сын погиб, защищая свою страну, - ответил Юрий Рафаилович. - Он сделал то, что должен был сделать. Мое сердце разбито, но я горжусь им.

- Это очень хорошо, - с явным удовлетворением сказал толстяк, потирая руки. - О, извините! Я, кажется забыл представиться. Я-то вас знаю, но вы, Юрий Рафаилович, наверное, меня не помните...

Он улыбнулся.

- Я вас тоже, кажется, припоминаю, - ответил Юрий Рафаилович. - Я видел вас довольно часто по вечерам в моем ресторане. Однажды вы заказали жареную форель в сметане с трюфелями и французским белым вином. Элегантный выбор.

- Как мило с вашей стороны помнить такие детали, - воскликнул краснолицый. - Вы не только прекрасно готовите, но и все подмечаете. Это именно то, что нам сейчас нужно.

Он ожидал, что Юрий Рафаилович спросит, что же им *сейчас* нужно, но он ничего не спросил: он спокойно ждал - то ли вопросов, то ли объяснений. Прошла минута, потом упала вторая...

- Очень хорошо, - продолжил толстяк, поняв, что его ни о чем не будут спрашивать. - Позвольте мне вам все-таки объяснить, что же нам от вас нужно.

Он помолчал, что-то обдумывая.

- Прежде всего должен сказать, что ваш ресторан с сегодняшнего дня закрыт, поэтому у вас больше нет работы, это, во-первых. Ваш сын погиб как герой, а ваша

жена скончалась, это во-вторых. Вас здесь больше ничего не держит. Поэтому мы хотим предложить вам другую работу, это в-третьих. Что скажете?

И он снова поднял вверх указательный палец.

- Это очень хорошая работа: вы нам сейчас очень нужны в качестве начальника кухни в трудовом исправительном лагере в Боровичах. Вы знаете, где это?

Юрий Рафаилович кивнул.

- Отлично, - продолжал краснолицый. - Это очень хорошая и очень важная работа, особенно сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию. Вы понимаете?

Он значительно рассмотрел на Юрия Рафаиловича.

- Вам нужно будет обеспечить питание почти трех тысяч политических заключенных. Большинство из них не лояльно к нашей стране. Многие из них из старого дворянства, другие из этой гнилой, понимаете ли, интеллигенции. Вы не хуже меня знаете, как все они ненавидят нашу страну - страну, которая дала им свободу, освободила их от векового рабства. Они все могли бы служить на благо этой страны, но они не желали...

Он остановился, ожидая какой-либо реакции на свои слова, но Юрий Рафаилович молчал. Пришлось продолжать.

- Следовательно, они сейчас там, где они и должны быть, то есть, в исправительно-трудовом лагере, и наша советская власть дает им возможность подумать над своими ошибками, своими заблуждениями. Она дает им возможность исправиться и начать снова приносить пользу обществу.

Он посмотрел на Юрия Рафаиловича.

- Так вы согласны нам помогать?

Краснолицый снова улыбнулся, но в этой улыбке уже не было вопроса: в ней был приказ.

Юрий Рафаилович понял это еще до того, как тот замолчал.

- Я согласен, - спокойно ответил он.

\*\*\*

Жизнь в трудовом лагере, где Лидия работала на кухне, шла как обычно. Правда, ходили слухи, и с каждым днем эти слухи становились все более настойчивыми,

что немцы идут прямо на Москву, что с каждым днем они все ближе и ближе, и что их уже ничто не сможет остановить.

Шепотом говорили даже, что Москва, возможно, скоро будет взята, что Сталин уже уехал из Москвы куда-то в Аргентину, купил там себе красивый дом и никогда больше не вернется. Другие утверждали, что в Москве сидит совсем даже и не Сталин, а его двойник, и что усы у него не настоящие, а приклеенные. Много разного говорили. Всего этого было невозможно запомнить, да Лидия и не пыталась.

Каждый день заключенные трижды приходили в большую столовую, садились за деревянные столы по десять человек, и торопливо ели. Пища была простая, но здоровая: никто не должен умереть от пищевого отравления: все должны были работать. Таков был приказ сверху, и его свято выполняли.

Если кто-то умирал на непосильной работе - это было нормально, но если бы кто-то умер из-за того, что на обед съел гнилое мясо, это был бы уже саботаж. Сразу бы стали искать виноватого, а когда нашли бы - расстреляли.

Поэтому Юрий Рафаилович, как только приступил к работе на кухне, собрал всех и предупредил:

- Работать будем только хорошо, готовить правильно. Понятно? Но самое главное - никто не будет воровать.

Он дал минуту, чтобы все усвоили то, что он сказал.

- Если узнаю, что кто-то ворует, лично сдам этого негодяя НКВД. Вы знаете, что они там с ним сделают.

Все все поняли. Качество еды вдруг сразу улучшилось, заключенные стали смотреть веселее, а столовая стала местом всеобщего паломничества.

Лидия потом рассказывала, когда она была в настроении вспомнить что-нибудь о той жизни в Боровичах, что заключенные с появлением Юрия Рафаиловича стали питаться удивительно хорошо, и те, кто работал на кухне – тоже. Перловую крупу, смешанную с настоящим свиным жиром, давали на завтрак почти каждый день; на обед был суп, сваренный на говяжьих костях, с луком, морковью и картофелем, а на ужин стали часто давать гречневую кашу, да еще иногда и с большой жирной

котлетой. И, конечно, чай. Людям стали давать много горячего чая, всегда такого долгожданного после целого дня, проведенного на лютom морозе.

Грубый ржаной хлеб заменял все виды десертов. Да и каких таких десертов можно было ожидать в трудовом исправительном лагере? Даже само слово звучало как шутка.

Заключенные приходили в столовую совершенно измученные после долгого дня, проведенного на холодном воздухе, но, несмотря на это, многие из них устремлялись к трем криво повешанным раковинам, чтобы, пусть и холодной водой, но все же помыть грязные от работы руки.

“Вот что значит настоящая интеллигенция,” думала Лидия, и сердце ее наполнялось безграничным уважением к этим людям, которые умудрялись сохранять человеческое достоинство в условиях, когда даже помнить о достоинстве часто не оставалось ни сил, ни времени.

На главной стене в столовой с незапамятных времен красовался огромный портрет Сталина с его причудливой улыбкой старой лисы.

- Даже здесь от него никуда не деться, - услышала однажды Лидия разговор двух интеллигентных с виду мужчин. Одному было около сорока, другому - чуть больше шестидесяти. Они всегда держались вместе.

- Наша последняя надежда на то, что немцы все-таки сумеют взять Москву и сметут этого гнилого кумира, измельчат его в порошок. Но этого, боюсь, не произойдет.

- Почему не произойдет? Говорят, немцы сейчас всего в 30 километрах от Москвы.

- Этот зверь завалит эти километры телами наших сыновей, как персидским ковром, пока сам он сидит и пьет "Боржоми", прячась за стенами Кремля... Для него люди - мусор, размером не больше виноградных косточек.

- Перестань мучить себя вопросами, на которые тебе никто никогда не даст ответа, Семен. Вот что я себе думаю: если немцы действительно подошли так близко к Москве, не решит ли наше начальство всех нас здесь одним разом прикончить, чтобы мы случайно не перешли на сторону врагов? Вот что меня последнее время беспокоит. Что ты об этом думаешь, а?

Семен, тот, что был около шестидесяти, как-будто что-то жевал, хотя во рту у него на самом деле ничего не было. Просто это была его старая привычка: делать вид, что он что-то жуёт в тот момент, когда надо о чем-то крепко подумать.

- Ты прав, Павел, - сказал он. - Ленин начал эту уродливую практику: он научил своих соратников использовать людей, пока они нужны им, выжать из них все их знания, все соки, а потом уничтожить. Они хорошо усвоили его уроки.

Семен курил самокрутную папиросу, и руки его дрожали, то ли от холода, то ли от возбуждения, вызванного разговором с приятелем.

- Мы с тобой, дорогой друг, уже давно никакие не граждане в этой страны, как это было при царе-батюшке, а рабы. Мы просто двое осужденных, которым следующие десять лет положено только рубить деревья, и все. И самое страшное то, лес теперь валим мы с тобой: ты, инженер-химик, и я, профессор физики. Смешно, не правда ли? По десять часов в день рубим деревья, бодем от холода и сырости, живем, оторванные от наших семей... Мы даже не знаем, живы ли они, наши семьи: мы ведь даже не имеем права писать им письма... Конечно! Они же не хотят, чтобы мы рассказали всем, как хорошо мы здесь живем, какой у нас с тобой тут “коммунизм”, черт его подери!

Он опять помолчал с минуту, затем добавил.

- Наша земная жизнь, Паша, к сожалению, закончится здесь. Ведь как только мы станем для них бесполезны, как только срубим все деревья, которые нужно срубить, они со спокойной душой отправят нас на свалку, как отработанный материал.

- Что же нам делать, Сема? - грустно спросил Павел.

- Жить, - ответил Семен и посмотрел на небо. – Будем жить...

\*\*\*

Когда наконец -то пришел 1945 год, принесся долгожданную победу, Лидия вернулась в Ленинград.

Город лежал весь в руинах и было трудно узнать даже те улицы, на которых она провела свое беззаботное детство, играя с девчонками в веревочку и в городки.

Дом их стоял все так же, как несгибаемый великан, и только выбитые стекла напоминали о том, что мимо прошла война.

Лидия поднялась на четвертый этаж, позвонила. Чьи-то шаркающие чужие шаги неспешно подошли к двери, и неприветливый голос с той стороны спросил:

- Кто?

- Это Лидия... Ермакова. Я тут живу. Откройте.

Дверь чуть-чуть приоткрылась, сдерживаемая железной цепочкой.

- Как же, сейчас вот так взяла и открыла! - прозвучало в ответ. - Может, ты воровка? Как я могу знать?

Лидия молчала, ошарашенная подобным обращением.

- Я, вообще-то, тут живу, - наконец хрипло произнесла она.

Голос отказывался подчиняться, а ноги дрожали, как будто от невыносимой тяжести, навалившейся на плечи.

- Уже не живешь, дорогуша, - последовал ответ. - Прежние хозяева в блокаду померли, и мы эту квартиру законно получили, как освободившуюся. Так что ты здесь больше не живешь!

Дверь захлопнулась, как-будто выстрелил автомат.

- Открой дверь! - голос у Лидии стал металлическим. - Открой дверь и покажи мне документы на эту квартиру, а не то я вызову милицию!

- Пошла к черту! - прозвучало в ответ. И шаги удалились.

\*\*\*

Прямо от дверей своей, а теперь, похоже, бывшей, квартиры, Лидия напрямик отправилась в администрацию района, но там с ней обошлись не многим лучше, чем обошлась с ней та, до сих пор не опознанная личность, заселившаяся в ее квартиру. На ее вопрос Лидии, кто и почему живет теперь в ее квартире, ей ответили:

- Тот, кто сейчас там живет, живет на законных основаниях. Так как ваши родители погибли во время блокады, а вы с дочерью почти пять лет были в эвакуации, квартира освободилась. Поэтому она и была передана другой нуждающейся семье.



- Интересно, а где же теперь живу я? - воскликнула Лидия.

- Вы, как бывший житель Ленинграда, но потерявший прописку, имеете право на комнату. Но с комнатами сейчас, говорю вам окровенно, очень напряженно, поэтому самое большее, на что вы сможете претендовать - это место в общежитии.

- Место? - переспросила Лидия? - Что значит - "место"? Я что, собака какая-нибудь?

Человек из администрации недобро осклабился.

- Вы - не собака, - сказал он раздельно, отчеканивая слова. - Но и все другие - тоже не собаки, однако имеют в общежитии только место. Самое большее, чем я могу вам помочь, это дать вам справку, что вы - бывший житель Ленинграда. С этой справкой вам и вашей дочери выделяют место в общежитии.

Подписав справку и передавая ее Лидии, он добавил, чуть-чуть добрее:

- Через какое-то время вам предоставят комнату в коммунальной квартире. Но не скоро.

- Какая прелесть, - усмехнувшись Лидия. - Комната в коммуналке взамен четырех комнатной квартиры? Тем более квартиры, которая принадлежала моей семье за много лет до моего рождения! Извините, но это какая-то ерунда!

Лидия ушла только с с этим клочком бумаги, дающей ей право на место в каком-то общежитии.

Еле отыскав это общежитие, затерянное среди старых сараев и полу-разрушенных домов, Лидия вручила этот клочок коменданту, толстому человеку с глазками, напоминающими свиные, и короткими некрасивыми пальцами.

- Вот, - сухо сказала она. - Мне нужна комната.

Человек со свиными глазками долго сопел, листал страницы в толстом и потрепанном журнале, потом повернулся к Лидии и сказал, смотря мимо нее.

- Свободной комнаты у меня нет. Только кровать в комнате с тремя другими, тоже вернувшимися из лаг... - он запнулся, поняв в последнюю секунду, что почти ляпнул что-то не то. - Из эвакуации, - закончил он.

- На сейчас - подходит, - сухо и не глядя в его свиные глазки, сказала Лидия. Она вдруг почувствовала страшную усталость, и услышав слово "кровать", ей вдруг страшно захотелось скорее лечь в нее и заснуть.

- Но это - на сейчас, - предупредила она, и нехорошо посмотрела на человека со свинными глазками. - Я скоро вернусь за своей комнатой.

Она взяла ключ и ушла, уже не видя, как недобро загорелись глаза коменданта, провожая почти с ненавистью ее статную красивую фигуру.

Все, что Лидия получила в общежитии, была старая железная кровать в комнате с другими такими же кроватями, на которых жили еще три женщины. Лидия оказалась единственной, у которой был ребенок. Сначала три другие женщины очень взволновались, что теперь спасу не будет от постоянного шума, что ребенок будет носиться по всей комнате и колотить мяч об стенку. Но ребенок, который три года спал в картонной коробке и вырос в трудовом лагере для политзаключенных, вел себя так хорошо, что через пару дней все трое были уже почти влюблены в маленькую Алю.

Еды в Ленинграде по-прежнему не хватало. Дважды в неделю Лидия ходила за талонами на хлеб, которые раздавали в какой-то государственной конторе. В длинных и тощих коридорах часами сидели голодные, изможденные люди и ждали, ждали, и ждали, когда наконец смогут получить желанный талон, который практически был билетом на жизнь.

Утратив городскую прописку, Лидия автоматически утратила и право работать в черте города. То, что она родилась и выросла в этом городе, что у нее на руках дочь, которую надо кормить и которой надо ходить в детский сад, никакого значения не имело: нет прописки - нет работы., Получался адский замкнутый круг. Чтобы хоть как-то заработать денег, Лидии приходилось браться за любую, самую отвратительную работу, и вот тут-то она не раз поблагодарила бога, что свел ее с соседками: все три женщины, хотя сами целыми днями работали на заводе, по очереди предлагали свою помощь. Они по очереди сидели с Алей по вечерам, пока Лидия была на работе, а то подкармливали ее супом из своей кастрюли и делились с ней последним кусочком сахара.

Настойчивость Лидии, в конце концов, принесла свои плоды: она так надоела всем начальникам, что, завидев ее в конце коридора, они опускали голову и пытались скрыться за дверями своих кабинетов. Но это им не помогало: невысокая женщина с красивым, как и греческой богини лицом и всегда твердо сжатыми губами,

регулярно стучалась в ореховые двери их кабинетов и настойчиво требовала предоставить ей с дочерью комнату.

Наконец в январе 1947, немногим более года после возвращения из эвакуации, чтобы никогда больше не видеть ее в своих кабинетах, Лидии выдали комнату в большой коммунальной квартире с двумя другими семьями.

Квартира была довольно большая: в одной комнате жила семья с мальчишкой такого же возраста, как Аля, а в другой - одинокий врач-травматолог, которого все с уважением называли не иначе как Александр Исаакович.

Стены широкого коридора были выкрашены в темно-зеленый цвет, но в самой верхней части, у потолка, была видна старая штукатурка: рабочие не захотели залезать так высоко - потолки в квартире были почти четыре метра - и на этой штукатурке сохранились следы фрески: лебедь, плывущий по озеру, держащий розу в клюве.

Вероятно, подобные фрески когда-то покрывали стены и в комнатах - тогда, когда эта квартира принадлежала ее законному хозяину, а не была превращена в коммуналку. Все знали, что хозяином квартиры когда-то был какой-то крупный конструктор который работал вместе с самим Игорем Сикорским. Когда их обоих предупредили, что их имена фигурируют в расстрельных списках, они вовремя успели уехать в Лондон. После этого фрески в квартире закрасили, а в когда-то роскошные апартаменты поселили три семьи.

Когда Лидия наконец получила ключи от своей новой комнаты, она пришла в общежитие и принесла целый килограмм печенья и килограмм сосисок - для своих трех соседок, которым она была искренне благодарна за помощь.

Четыре одинокие женщины устроили настоящий пир: картошка с вареными сосисками, а на десерт чай с печеньем... Они даже всплакнули все вместе от радости, что по крайней мере у одной из них жизнь начала хоть как-то налаживаться, и от печали, что они расстаются.

Для Лидии снова начиналась другая жизнь. Позади оставались война, и светлые моменты детства и юности, проведенные в сладостной тени родительской заботы и относительного достатка, созданного неустанными трудами Федора, отца Лидии.

Но в этой новой жизни уже не было ее родилелей, могилу которых Лидия так и не

нашла, как не было и их родового гнезда на Кировском проспекте Петроградской стороны, в котором умерли не только воспоминания детства, но и любимые игрушки, и любимые книги и, наверное, даже любимый старый сверчок, который, как верила Лидия, всегда раньше защищал их семью от всяческих бед...

Ноябрь 1982

Стивен

Живя в советской гостинице, Стивен изо всех сил пытался жить жизнью человека, чье ограниченное время требует, чтобы он не терял ни минуты.

Например, сегодня визит в консульство США на Фурштатской улице был скучным, но необходимым делом: Стивен решил, необходимо дать знать в консульстве, где он живет и сколько еще времени собирается пробыть в СССР.

Консул оказался немолодым и очень приятным человеком лет шестидесяти. Он принял Стивена лично, в своем небольшом, но очень уютном кабинете, окна которого выходили прямо на Дворец Бракосочетаний. Когда Стивен вошел, он встал и просто, без обиняков, протянул ему руку, широко при этом улыбаясь.

- Американцы не частые гости в этих местах, особенно принимая во внимание отношения между нашими странами, - сказал он. - Не могу, к сожалению, сказать, что мы здесь желанные гости. А жаль... - он искренне вздохнул. - Россия - невероятно интересная страна, как и Америка, кстати сказать. Я думаю, что мы могли бы отлично ладить.

- Это действительно печально, - ответил Стивен. - На самом деле, я приехал сюда писать книгу о русском балете и должен сказать, что, по крайней мере пока, мне никто ни в чем не мешал. Наоборот: даже немного помогали.

- Я очень рад это слышать, - улыбнулся консул. - Надеюсь, так будет все то время, пока вы здесь. В любом случае, это очень правильно, что вы зашли в консульство и сообщили нам, где вы находитесь, чем собираетесь заниматься, и прочее. Мало ли что может случиться... Пожалуйста, обращайтесь лично ко мне, если будет что-нибудь нужно.

Сивен вышел из консульства в отличном настроении. Помимо приятного разговора с консулом, сегодня вечером он должен был встретиться с Ириной, чтобы пойти в театр.

Вчера он купил два билета на "Иоланту" Чайковского - оперу, которую он, по странному стечению обстоятельств, никогда не слушал..

Он шел по Фурштатской улице и, проходя мимо Дворца бракосочетаний, остановился чтобы полюбоваться красивыми и счастливыми молодоженами. Две пары только что подъехали ко дворцу на больших белых машинах с двумя соединенными золотыми кольцами на крыше.

Обе пары были не старше двадцати-двадцати двух лет, и их прекрасные, действительно красивые лица сияли от счастья. Несмотря на конец ноября, погода стояла солнечная, хотя и холодная, но пары не спешили войти во дворец: они словно впитывали эти осенние лучи солнца своими счастливыми лицами, чтобы унести эти лучи с собой навсегда, на всю жизнь. Что-то шевельнулось в душе Стивена, пока он смотрел на них. Наверное, это было чувство одиночества, которое порой охватывало его в последние пару лет, особенно когда он возвращался откуда-нибудь в свой дом, где никто его не ждал, кроме любимых книг и, может быть, пары ульев, стоявших во дворе. Но пчелы, жившие там, к сожалению, никогда не говорили ему, что они соскучились...

Он еле дождался семи вечера, когда, по договору, они должны были наконец встретиться у памятника Пушкину, прямо перед Михайловским театром. Ирина, смеясь, сказала ему, что это место в Ленинграде называется "местом всех влюбленных". Смешная. Эти русские девушки, безусловно, очень романтичны. И умны. И очень красивы...

Он увидел ее издалека: на ней была длинная кожаная коричневая куртка.

"Какая необыкновенная у нее походка", - почему-то подумал он. "И какая милая улыбка... Просто удивительная девушка!"

При входе в театр стояли какие-то люди, спрашивали, нет ли лишнего билета. Кто-то, появляясь словно из-под земли, доставал из кармана билет и тут же продавал его, опасливо поглядывая по сторонам. Но большинство просто отрицательно

мотали головами, мол, нет ничего, и торопились войти в театр, как-будто опасались, что у них отнимут билет.

Они разделись в гардеробе и прошли на свои места: прямо в бельэтаже, совсем рядом со сценой.

-У нас есть еще несколько минут, и я могла бы показать тебе театр, - сказала Ирина, счастливо улыбаясь.

Сегодня она была совершенно другой: более открытой и как-будто более уверенной в себе, и это ему нравилось.

Театр действительно завораживал: бархатные кресла, позолоченные орнаменты на стенах, вплетенные в причудливые узоры, огромные хрустальные люстры, сверкавшие мириадами маленьких звезд...

- Как тебе удалось раздобыть такие отличные места? - спросила Ирина. Стивен загадочно улыбнулся.

- Повезло, - ответил он.

Во время спектакля Стивен поймал себя на мысли, что, как ни странно, опера его сегодня мало занимала, зато занимал полумрак, сквозь который он мог любоваться на профиль девушки, сидящей рядом с ним. Она напряженно смотрела на сцену, как будто изо всех сил пыталась сосредоточиться на опере, но ему почему-то казалось, что ее мысли тоже были не совсем здесь, а бродили там же, где бродили и его мысли.

“Интересно, о чем она все-таки сейчас думает?” спрашивал он себя. Потом наклонился чуть вперед и, как бы случайно, коснулся ее руки. Она не отдернулась. До самого антракта он смотрел на ее правую ногу, точнее на колено - красивое, точеное колено с крошечной родинкой на правой стороне. Он не знал почему, но созерцание этой родинки доставляло ему больше удовольствия, чем сама опера. Он определенно чувствовал себя необыкновенно счастливым.

После спектакля они взяли такси. Стивен сел позади, вместе с Ириной, и попросил шофера ехать медленно, чтобы они могли полюбоваться ночным городом. Шофер понимающе усмехнулся и действительно устроил им настоящее путешествие: не торопясь проехал по набережной мимо Зимнего дворца и Летнего сада, уже покрытого первым снегом, мимо крейсера “Аврора”, который ночью был похож то

ли на “Титаник”, то ли на айсберг, мимо Финляндского вокзала, часы на котором, как всегда, показывали неправильное время, и снова вдоль набережной, все вперед, и вперед...

Так не торопясь они доехали до самого дома, где жила Ирина, потом отпустили машину, щедро расплатившись с любезным шофером, который в течение всего путешествия не переставал улыбаться, думая одновременно о чем-то своем. Стоя перед домом в тусклом свете одинокого замерзшего фонаря, они еще долго не могли расстаться. Они просто стояли друг против друга держались за руки, не говоря ни слова. Потом Стивен медленно наклонился вперед и нежно поцеловал её в лоб.

- Моя дорогая Иоланта! - прошептал он.

Ноябрь 1982

Ирина

На следующее утро Ирина шла на работу летящей походкой, не чувствуя, что под ногами уже хрустит и ломается тонкий лед, и не замечая, что в углах улиц прикорнула на время метель. Ночью она славно поработала и забросала крыши домов снегом, но потом, видимо, решила, что по-настоящему снежить еще рановато, и ушла отдохнуть.

Ирина зашла в библиотеку со служебного входа, как и всегда, потом спустилась вниз по старым, наполовину стертým ступеням. Здесь, в подвале, находился архив, где она и работала. Тут же, в архиве, она и познакомилась с Юрием Орестовичем, который сразу поразил ее своей ярко выраженной “непринадлежностью” к скучному миру пыльных папок и старых полуистлевших бумаг. Было ясно, что он просто делает здесь работу, а живет где-то далеко, в своем и абсолютно другом мире.

Его мир - Ирина знала это с самого начала их совместной работы - был потрясающе интересным, другим, наполненным необыкновенными встречами и необыкновенными людьми.

Юрий Орестович не был человеком, который сразу открывает душу всем и каждому, но с Ириной он почти сразу же позволил себе быть откровенным. Так она узнала, что вообще-то он архитектор, но вынужден сейчас работать здесь, в подвале библиотеки, так как архитектурной работы ему больше не предлагают. Но зато у него теперь есть время рисовать. На его рабочем столе всегда лежали всякие наброски, иногда даже целые портреты, нарисованные карандашом. Ирину как-то раз до глубины души поразил один набросок: мужчина лет сорока, с красивым лицом, как у Блока, но глаза у него были такие серьезные, такие грустные... Она спросила, кто это.

- Бродский. Ты его, наверное, не знаешь...

Ирина отрицательно покачала головой.

- Не знаю...

- Он уехал в Америку лет десять назад. Интереснейший был человек. Последнюю ночь перед отъездом он провел у меня в дома, на набережной. Теперь ты знаешь, где это...

Он улыбнулся.

- Я дам тебе почитать его стихи как-нибудь. Они чудесные, особенно те, что о Ленинграде...

- Спасибо. Я обязательно его теперь прочту, - ответила Ирина.

В этот момент раздался телефонный звонок. Юрий Орестович снял трубку, внимательно выслушал кого-то, коротко сказал "конечно, сейчас будет", и повернулся к Ирине. Лицо его было чуть-чуть взволнованным.

- Тебя вызывает Первый отдел, - сказал он.

Ирина удивленно посмотрела на него.

- Я никогда не была там... А что им нужно?

- Они мне не сказали. Просто просили передать, что ты должна к ним зайти... Не понимаю, - сказал Юрий Орестович, как будто сам себе. - Что-то опять начинается?..

- Я вам все расскажу, - ответила Ирина. - Я правда, не думаю, что у нас с вами есть повод волноваться.

И она ушла.



Капитан Лунев открыл дверь, отошел в сторону и жестом пригласил Ирину пройти в кабинет.

Она вошла. Вероятно, на ее лице читался молчаливый вопрос - зачем, собственно я здесь? - поэтому Лунев не стал томить ее ожиданием.

- Ирина Гордина, если не ошибаюсь? - начал он.

Она кивнула.

- Я знаю, что вы немного удивлены, что я пригласил вас сюда, но, пожалуйста, вам совершенно не стоит волноваться по этому поводу. Я просто хотел поинтересоваться, каким образом вы проводите вечер в театре с иностранцем, с неким Стивеном Ладлоу?

Он ожидал увидеть, какой эффект вызовет его осведомленность о том, что, в принципе, никому не должно было быть известно. Он был прав: Ирина застыла от удивления.

Он полюбовался на ее красивое лицо, свежее, как утренний рассвет.

- Я не стану изображать из себя всевидящего волшебника, - улыбаясь, сказал Лунев. - Я просто вчера видел вас в театре вдвоем. Вот и весь фокус.

Он остановился, чтобы посмотреть в какие-то бумаги, а потом переложил их с одного места на другое - просто так, для солидности.

- Моя должность обязывает меня отреагировать. Но...

Он снова остановился, подыскивая нужные слова.

- По закону, каждый советский гражданин обязан доложить в органы о любых контактах с иностранцами, где бы они не прои с ходили. Так что вы, я полагаю, зашли ко мне об этом доложить. Так ведь? - Он внимательно посмотрел на Ирину, чтобы понять, понимает ли она его, или нет. Она понимала.

- Вот и славно, - заключил он. - Вы мне доложили, теперь у нас все в порядке.

Я так и запишу: встретилась в театре, случайно, он хорошо говорит по-русски, потому что приехал в СССР писать книгу о балете. Профессор истории из университета Маршала в Западной Вирджинии... Кстати, вы не знаете, где это - Западная Вирджиния? - спросил он.

- Не знаю, - тихо ответила Ирина.

Лунев что-то написал на бумаге, и протянул Ирине.

- Я тоже не знаю, - сказал он, и улыбнулся . – Подпишите здесь, пожалуйста.

И протянул ей бумагу.

- Не бойтесь, я тут просто записал то, что вы сейчас мне доложили. Ваша совесть теперь чиста. Можете идти.

Ирина подписала бумагу и двинулась к двери. У двери она остановилась и повернулась к Луневу.

- Спасибо, - сказала она и вышла.

Декабрь 1982

Стивен и Ирина

Теперь они оба, и Стивен, и Ирина, каждую неделю с нетерпением ждали пятницу, когда они смогут начать работать с кассетами Бахова, которые дал им Юрий Орестович. Дни до долгожданной пятницы тянулись, как назло, медленно, хотя каждый из них приносил с собой что-нибудь новое и интересное.

Всю неделю Стивен старался не терять времени даром: сидел часами в библиотеке, делая записи и пометки - все то, что ему когда-нибудь могло бы понадобиться для книги. Работа в библиотеке занимала его до самого обеда, но вот что делать потом?..

Потом он выходил на улицу и долго шел по Невскому, слушая, как хрустит и ломается под ногами ледяной снег. Удивительная вещь: Невский в частности, и Ленинград вообще, каждый день показывали ему свое новое лицо, ранее незнакомое, или непознанное, но почему-то всегда как-будто близкое, и даже почти родное...

Незаметно наступил декабрь, последний месяц беспокойного 1982 года, года когда весь мир замер в ожидании великих перемен, которые, увы, так и не так и произошли. Умер "король застоя" - Леонид Брежнев, но с ним, как ни странно, не умер сам "застой"; может быть, он даже ожил и приобрел "второе дыхание". Магазины пустели с каждым днем: по вечерам, идя с работы, людям уже было

трудно надеяться купить бутылку кефира, банку сметаны, а уж про прочие деликатесы говорить просто не приходилось.

Весь день первого декабря Стивен просидел в библиотеке, впрочем, как и все предыдущие дни. Наконец он взглянул на часы: было 14.45. Вдруг словно теплое облако окутало его, или кто-то набросил на него легкое, как пух, шерстяное покрывало. Он оглянулся: позади стояла Ирина, улыбаясь своей особенной притягательной улыбкой.

- Я буду ждать тебя в пышечной на углу Невского и Желябова. Спроси, если потеряешься, ее тебе каждый покажет. Давай встретимся там в 15.15. Хорошо? Не дожидаясь ответа, она отошла в сторону и, уже на ходу, быстро обернулась. Стивен кивнул, она улыбнулась в ответ и исчезла, как-будто ее и не было здесь вовсе.

Когда он вошел в пышечную, которую, как и сказала Ирина, нашел без труда, она сидела за самым дальним столиком одна и смотрела в окно.

- Сиди здесь и никуда не уходи, а то займут столик и придется есть стоя. А я пока возьму нам пышек, - сказала она.

Вернулась она через несколько минут, неся на маленьком круглом алюминиевом подносе тарелку пышек, посыпанных сахарной пудрой, и три стакана кофе.

- А почему три кофе? - спросил Стивен.

- На всякий случай, - смеясь ответила она. - Я подумала: а вдруг тебе еще кофе захочется? А он уже тут...

И она засмеялась.

- Стив, - вдруг сказала она. - Я ведь могу тебя так называть?

Он радостно кивнул: рот его уже был забит первой пышкой.

- Расскажи мне, как ты узнал об этих записях? Ведь они, кажется, даже не твоя специальность?

Он снова кивнул - мол, так и есть, - прожевал пышку и запил ее кофе.

- Как же вкусно! - с чувством сказал он. - Никогда в жизни не ел ничего подобного.

Пышка! Кто бы мог подумать!

- Я знала, что тебе понравится, - ответила Ирина.

Они помолчали. Каждый задумался о своем, давая время другому тоже подумать и спокойно насладиться ароматными пышками, которые одна за другой исчезали с тарелки.

- Как-то на конференции - начал Стивен, - я встретил одного русского профессора. Его зовут Лев Лосин. Он, кстати, тоже из Ленинграда, как и ты...

Ирина пожала плечами, мол, не знаю, и Стивен продолжил.

- Несколько лет назад он эмигрировал из СССР. Мы начали разговаривать о его жизни здесь, о тех невзгодах и преследованиях, которые ему пришлось перенести, потом об эмиграции. Он, кстати, неплохо устроился в США: профессор в Дарсмутском колледже, очень хорошем колледже. Он там преподает русскую литературу.

- Как грустно, - задумчиво сказала Ирина. - Дома не пригодился, а там, в Америке, нашел себя. Это как-то неправильно, если подумать серьезно... Но никто, почему-то, об этом не думает.

Стивен согласно кивнул.

- Да, это очень грустно. Жизнь часто бывает неоправданно жестока к тем, без сомнения, заслуживает намного лучшего...

И, после короткой паузы, продолжал:

- Так вот он-то мне и рассказал, что здесь остался некий бесценный архив - записи воспоминаний Бахова, сделанные здесь, в Ленинграде, нашим общим другом Юрием Цехновером.

- Я не знала, что Юрий Орестович дружил с Бродским... Да, я все хотела спросить у тебя: а кто такой этот Бахов?

- Михаил Бахов - один из самых уважаемых сегодня на Западе литературоведов и философов. Его идеи о литературе, психологии, эстетике настолько пронизательны, что не знать и не цитировать Бахова сегодня почти невозможно.

Ирина снова пожала плечами, в растерянности: она чувствовала себя совсем глупой и необразованной девчонкой.

- Лосин описал мне этот архив, как настоящее сокровище, драгоценный камень, который еще предстоит обнаружить человечеству. И я решил приехать сюда чтобы найти его и доделать то, что Лосин, к сожалению не успел...

Декабрь 1982  
Стивен и Ирина

Наконец пришла долгожданная пятница. Стивен пришел к Ирине домой, как и договорились, в пять вечера.

Чайник уже кипел, а горка настоящих русских блинов, обильно смазанных маслом, лежала на тарелке посреди стола, ожидая вечернего чаепития. В маленькой хрустальной вазочке было малиновое варенье.

Стивен снял куртку и потер замерзшие руки.

- Ты сделала это для нас? - воскликнул он, увидев на столе тарелку с блинами. - Я просто обожаю русские блины! Хотя... - он рассмеялся, - я еще никогда их не ел!

- Тогда тебе надо их сначала попробовать, а потом хвалить, - смеясь, сказала Ирина.

- Может, я совсем не такая уж хорошая хозяйка, как прикидываюсь.

Они сели за небольшой прямоугольный стол, стоявший прямо перед окном, откуда был виден осенний двор.

Ирина положила блин на широкую тарелку, намазала на него малиновое варенье, и скатала блин в трубочку.

- Попробуй, - сказала она. - Так будет вкуснее всего.

Стивен осторожно взял блин руками, откусил кусочек и начал медленно, с чувством жевать.

- Это просто божественно! - сказал он, продолжая жевать. - Теперь я, наконец, понял, что такое настоящие блины.

Ирина даже покраснела от похвалы.

- Я рада что тебе понравилось. Еще чаю? - спросила она, заметив, что его кружка уже пуста.

- Пожалуй, не сейчас... - ответил он. - Потом... Честно сказать, я стораю от нетерпения начать наконец слушать эти кассеты, а к блинам мы еще вернемся...

Он озорно посмотрел на Ирину.

- Когда сделаем перерыв, - добавил он.

1895 – 1918

Бахов

“Я родился в достаточно знатной, но небогатой семье. Мой дед успешно разорил все имение, потратив деньги на лошадиных бегах. Вдобавок к этому, он просто не понимал, как надо с выгодой управлять своими поместьями, которые, кстати сказать, пожаловала одному из моих предков за верную службу сама Екатерина Великая.

Поэтому к моменту, когда я вырос, большинство наших земель уже было продано за долги, но дом - тот самый дом, который построил мой предок еще в 18 веке - этот дом каким-то чудом уцелел.

Это был огромный дом со скрипучими ступенями, дубовыми полами и красивыми ореховыми дверями, открывавшими вход в каждую комнату. Мне всегда казалось, что мы живем в этом доме не одни, а что в нем также живут какие-то иные существа, похожие, вероятно, на призраков. По крайней мере, я был уверен, что это они бродят по дому по ночам и скрипят старыми ступенями.

Эти мысли мучили мое детское воображение и не давали мне спокойно спать.

Каждую ночь я продолжал прислушиваться, не преследует ли меня призрак, и молился, чтобы он не вошел ко мне в комнату. Таким было начало моей жизни.

Но в остальном мое детство было очень счастливым и беззаботным. Как и все дети, мы много играли на улице, часто рвали штаны и рубашки, царапали руки шипами чертополоха и крали со стола спелые сливы, пока бабушка дремала под раскидистой яблоней.

Бабушка прожила долгую жизнь и умерла сразу после большевистского переворота, в последний день тревожного 1917 года. У меня осталось впечатление, что она специально умерла в этот самый год, потому что не хотела видеть, как наша, тогда еще счастливая страна, превратится во что-то совершенно иное.

Я помню, что когда стало известно, что большевики захватили власть в Петрограде и теперь заседают прямо в Зимнем дворце, бабушка сказала нам с горечью:

- Когда тринадцать бандитов собрались вместе, то единственное, о чем они будут теперь думать, это как поскорее ограбить страну. Если им повезет, они

задержатся у власти надолго, может быть даже лет на семьдесят, но тогда они ограбят народ до нитки, а всех несогласных убьют. Будет много крови, очень много.... Страшные времена наступают для России; я не думала, что доживу до этих пор... Устала... Закройте окно... Опустите шторы... Я хочу спать.

И прямо в тот самый последний вечер 17-го года - заснула, чтобы никогда больше не проснуться..

У нас была большая, хорошая семья: три сестры, старший брат, и еще одна девочка, которую усыновили мои родители. Она росла необыкновенно умной, наша Ниночка... Я определенно был влюблен в нее и даже мечтал, что когда мы оба вырастем, я женюсь на ней, и мы вместе поедem с ней жить куда-нибудь очень далеко, где много солнца и снега. Я почему-то думал про Америку. Не знаю, почему...

Жизнь, однако, распорядилась совсем по другому: я никуда никогда не поехал, кроме как в ссылку в Казахстан, а наша Ниночка... простите мне, что я плачу... она умерла от голода в Ленинграде во время блокады... Они все умерли: и мои три сестры, и наша мама, и Ниночка. Они всегда жили все вместе, поэтому и умерли все вместе. Их всех увезли из квартиры, уже совершенно замезших, где-то закопали, а где - я так никогда и не узнал. Квартиру потом конфисковали: ведь мертвым квартира не нужна, особенно если они из дворян... Потом там поселился какой-то важный партиец.

Еще задолго до этих событий, из-за того, что финансы наши пришли в полный упадок, нам пришлось покинуть мой родной город и перебраться в столицу Литвы, город Вильно. Тогда Литва была прекрасная и независимая страна, а Вильно был очень чистым, я бы даже сказал, романтическим городком, утопавшим в зелени и цветах. Время великих испытаний было еще впереди, хотя мы и думали тогда, что нам все почему-то дается с большим трудом. Я только год проучился в Вильновской гимназии, только-только полюбил этот город, как нам опять надо было собираться и переезжать. Теперь нам предстояло перебраться в Одессу. Одесса, без сомнения, один из самых загадочных городов в мире. Замечательный сам по себе город, солнечный и, главное, веселый. А одесситы - люди с особенным чувством юмора. Их юмор, может быть, немного грубоват, иногда даже пошловат,

это правда, но главное все равно остается то, что из любой самой нелепой ситуации они, одесситы, способны создать настоящий шедевр - шедевр смеха. Одним словом, они никогда не унывают.

Там же, в Одессе, я по-настоящему познакомился с оперой, которую полубил на всю жизнь. Особенно я полюбил “Иоланту” Чайковского... Я ходил на нее несколько раз, влюбился в исполнительницу... даже чуть голову из-за нее не потерял... да!

Дома, лежа в постели, я представлял себя тем прекрасным принцем, который встретил Иоланту в лесу и попросил у нее одну красную розу, и узнал, что девушка слепа, но даже не подозревает об этом.

И я, как и Водемон, спасаю ее от слепоты, и мы уезжаем с ней в Америку.

Из Одессы мы отправились в Санкт-Петербург, где я собирался поступить в университет. Годы, что я провел в Петербургском университете, и особенно в самом Петербурге, остались в моей памяти, как самые лучшие, самые светлые годы моей жизни. И это не только потому, что я был молод, полон неисполнимых надежд, хотя и это, конечно, тоже. Просто было очень интересно жить!

Это были последние годы перед революцией – спокойные еще годы, хотя война, конечно, нас всех очень тревожила и пугала. Мы старались о ней не думать, даже избегали читать газеты, а вместо этого спешили на интересные лекции, которых в университете тогда было великое множество. Помню, иногда опоздаешь на такую лекцию, и все: нет мест, ни единого свободного стула; остался только подоконник. Да и на подоконнике уже студенты сидят плечом к плечу... Вот так...

Профессора в то время были настоящими, что называется, учеными, и мы их страшно уважали. Мы их даже любили! Любили за то, что они любили нас учить.

Была тогда в университете даже такая неписанная традиция: в конце каждого семестра профессор приглашал к себе домой весь класс. Мы ждали этого дня с нетерпением; расстраивались если, по какой-либо причине, этого не случалось.

На этих домашних вечерах мы пили шампанское, шутили, даже иногда влюблялись. Да! Такие времена должны всегда длиться как можно дольше, ибо это как раз то, что остается в душе навсегда; это то, что формирует душу, закаляет ее и готовит к будущей жизни. А еще - это всегда самое веселое и самое замечательное



время. Наши профессора это очень хорошо понимали, и старались, чтобы мы это запомнили.

А мы, чистые студенческие души, наивно полагали, что все это будет длиться вечно... Увы, все это скоро кончилось, так как началась война. Это был 1914 год. Не знаю, повезло мне или нет, что меня не призвали в армию... Я часто потом думал, что если бы меня призвали, то я, наверное, давно был бы уже мертв. Или стал бы совсем другим человеком... Кто знает...

Война всегда ужасна, но та, которую сегодня называют Первой мировой, я думаю, была самой ужасной, какую только можно себе представить.

Война началась в июле, а уже в сентябре улицы Петрограда были полны несчастных, искалеченных войной и выброшенных из жизни людей. Кто без руки, кто без ноги, а иногда и без двух ног сразу, они сидели на пустынных улицах некогда шумной столицы и просили милостыню. Люди проходили мимо; одни отворачивались, а другие подходили, долго копались в карманах в поисках мелочи. Кто-то давал сразу 10 рублей и уходил, всхлипывая и вытирая лицо шерстяной варежкой. Было ясно, что горе этого человека было значительно хуже, чем потерянная нога. Скорее всего, это был потерянный сын...или муж... или отец. В это ужасное время я продолжал учебу в университете, но вскоре, и совершенно неожиданно, серьезная болезнь настигла меня: остеомиелит.

Две операции не сильно изменили мое состояние, но, по крайней мере, спасли мне жизнь. Я еле оправился от всего этого и еще с трудом передвигался по квартире на костылях.

Вдруг, прямо за обедом, мама тихо сказала:

- Вчера большевики свергли Временное правительство.
- Большевики? - удивленно спросила Ниночка и высоко вскинула брови. – А кто это такие?

Я, к сожалению, уже довольно хорошо знал, кто такие большевики. Хоть я и не сильно интересовался политикой, я слышал о них, но слышал только дурное: они одержимы жадной властью, а во главе их – некто Ленин – человек абсолютно беспринципный, хитрый и опасный, и готовый на все ради своих целей.

И вот эти люди теперь захватили в стране власть! Бедная Россия... Как же долго она, мать наша, будет еще страдать? Что ей еще уготовано?

В результате всех этих новых и, по правде говоря, очень неприятных событий, мы решили уехать в Витебск – небольшой город на западе России, прямо на границе с Польшей. Начинался 1918 год...”

Декабрь 1982

Стивен и Ирина

Запись остановилась. Ирина какое-то время сидела неподвижно, как-будто медленно возвращаясь из какого-то другого мира. История ее определенно тронула.

- Что ты думаешь об этом? – спросил Стивен, заканчивая писать.

Они договорились работать следующим образом: он записывает все со слуха по-английски, а Ирина записывает все по-русски. Потом Стивен в течение недели и в ожидании следующей пятницы тщательно сверяет оба текста и дополняет свой английский текст.

- У него очень точные наблюдения, очень личные, но в то же время чрезвычайно емкие. Такого в наших учебниках точно не прочитаешь... – усмехнулась Ирина. - И Юрий был совершенно прав: тебе нельзя слушать эти кассеты в гостинице. О них вообще лучше не упоминать.

- Я все перепишу по-английски, а все русские записи мы уничтожим, если ты считаешь, что хранить их небезопасно, - сказал Стивен. – Я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня какие-либо проблемы. Честно говоря, я не не знал и не думал, что у вас так... строго.

Он помолчал.

Ирина не любила предаваться грусти.

- Все будет хорошо, Стив, и мы со всем справимся. Я тебе во всем помогу. А сейчас, как насчет чайку? На дорожку...

\*\*\*

Стивен вернулся к гостиницу поздно, около двенадцати часов ночи. На улице было холодно и сыро. Как они и договорились с Ириной, Стивен всегда должен был уезжать из гостиницы и возвращаться на метро, чтобы те, кто, возможно, им интересуется, не могли отследить, на какой адрес было вызвано такси.

Эти странные предосторожности сначала неприятно удивили Стивена, когда они их только обсуждали, но, проведя свою первую неделю в гостинице, он понял, что основания опасаться, хоть пока и незримого, постоянного но надзора все-таки были.

Прежде всего, он без особого труда обнаружил какие-то вмонтированные прямо в цементную стену кнопки, отдаленно похожие то ли на микрофоны, то ли на жуков, уснувших прямо в стене и потому замурованных там навечно. Он нашел их как раз там, где Юрий и указал: прямо за батареей. Невольно создавалось неприятное впечатление, что те, кто это делал, даже не беспокоились о том, обнаружит ли кто-нибудь эти “кнопки”, или нет. Что хотим, мол, то и делаем, не нравится - не живите в нашем отеле.

Следующее, что также неприятно поразило его, было постоянное присутствие молодых и достаточно интересных девушек в ресторане, куда Стивен каждое утро спускался позавтракать. Что они там делали в девять часов утра - одному богу было известно, но было вполне очевидно, что они пользуются незримым покровительством кого-то очень могущественного.

Девушки сидели за столиками, и всегда в одиночестве. Им кто-то приносил кофе, потом что-то еще. Иногда к ним подходили какие-то люди, которые перекидывались с девушками короткими фразами, после чего они или вставали и куда-то уходили, или оставались сидеть дальше с выражением неизбывной скуки на лице.

По вечерам картинка в принципе повторялась, только все было куда более оживленно и определенно: девушки уходили куда-то наверх, но уже с конкретными мужчинами, и всегда только с иностранцами. Других мужчин, не иностранцев, в ресторане по вечерам, а уж тем более по утрам, никогда не было, кроме тех, в

черных костюмах, постоянно сидящих на диванах и читающих газету на каком-нибудь иностранном языке.

Самое неприятное, однако, было то, что каждый раз, уходя из гостиницы, надо было почему-то отдавать ключ от номера на регистрационной стойке, в результате чего у Стивена каждый раз складывалось ощущение, что его лишили дома и ему опять негде жить.

По возвращении ему приходилось снова получать свой ключ назад, и женщина, распорядившаяся “домами” по своему усмотрению, сверлила его глазами, как дрелью, как-будто пыталась высверлить что-то изнутри. В ответ Стивен только улыбался, блестя зубами как можно ослепительнее, брал ключ и шел к лифту, беспечно помахивая рукой и спиной чувствуя, что его провожают взглядами как минимум несколько человек.

\*\*\*

Ирина после его ухода еще долго не могла успокоить приятное волнение, охватившее все ее существо. На душе было и сладко, и невыразимо тревожно одновременно - вероятно, от сознания того, что она вступила на какой-то совершенно новый и неизведанный путь. Куда он мог ее привести? Что ждало ее там, за уже сильно размытой чертой определенности?

Лидия вышла на кухню, подошла к ней сзади и обняла за плечи.

- Не грусти, Ирочка. Какие твои годы! Все само собой образуется.

И опустилась на стул.

Ирина тут же вскочила, достала кружку, налила ей чай. Потом положила на блюдечко малиновое варенье.

- Спасибо, родная, - смотря на нее одним глазом, сказала Лидия. - Мне понравился твой новый знакомый. Ты будешь с ним очень счастлива...

- Откуда ты всегда все знаешь? - ласково, но грустно спросила Ирина. - Мы с ним, к сожалению, из двух разных и вечно враждующих между собою миров, разделенных тысячами километров... Он скоро уедет, и все это закончится...

Навсегда.

- Он, конечно, уедет, но это уже ничего не изменит. Вы все равно будете вместе...

- Она помолчала в раздумье, как будто прислушиваясь к тому, что ей говорил кто-то там, наверху, и добавила.

- Навсегда!

Лидия отхлебнула чая, зачерпнула ложечкой немного малинового варенья и поднесла ко рту.

- Я не все смогла расслышать из того, о чем рассказывал этот человек на кассете. Он - настоящий интеллигент, каких мало, как мой отец и твой дед - Федор. Но я могу тебе сказать точно, что все, что он говорил - правда. Именно такие чувства испытывал мой отец к большевикам, но никогда не мог говорить об этом открыто. От того и страдал...

- Бабуль, скажи, как ты можешь знать, что мы с ним будем вместе, и навсегда?

Лидия улыбнулась, немного хитро.

- Сама увидишь. Все так и будет, как я сказала.

Декабрь 1982

Дима

Ирина поднималась по лестнице на пятый этаж, где жила Лина Павловна с сыном. Прошло уже почти три года, как Ирина окончила школу, но связи с одноклассниками и с любимой учительницей не теряла.

Лина, как называли меж собой ее ученики, в школе целых семь лет была их классным руководителем и самым любимым учителем, хоть и преподавала самый сложный в школе предмет - математику. К десятому, последнему классу, и Лина, и все ее ученики чувствовали себя настолько сроднившимися, что на прощальной вечеринке, которая, по традиции, всегда проводилась 27 мая, Лина никак не могла сдержать слез и часто утирала платком глаза, чтобы скрыть то и дело набегающие слезы.

Поздно вечером с пристани на Неве отправлялся катер, который должен был катать весь их выпускной класс до утра. В эту загадочную и всегда долгожданную ночь на

кораблике всегда происходило что-нибудь необыкновенное: кто-то вдруг объявлял о скорой женитьбе, кто-то о разрыве, а кто-то о том, что уезжает далеко-далеко... Так в прошлом году один мальчик, еврей, печально объявил, что он с отцом через месяц уезжает в Америку.

Скандал в школе не затихал потом целый год. В сентябре, когда все вернулись после долгих летних каникул, вся школа неделю только и обсуждала “того Мишку-еврея”, который, по слухам, в Америке поступил в какой-то МТИ, а отец его пока работает таксистом в Бостоне. Что такое МТИ - никто толком не знал, но все знали, что это какой-то очень престижный институт, чуть ли не лучший в мире.

На этот раз Дима, единственный сын Лины Павловны, объявил что он неделю назад получил повестку из военкомата и призван в армию. Самое неожиданное было то, что его мать, Лина Павловна, ничего об этом не знала: она была уверена, что подготовка в институт идет полным ходом, а призыв в армию будет отложен до окончания университета. Дима, как оказалось, просто не хотел ее расстраивать и поэтому решил со всем справиться в одиночку.

Месяц назад он, как и все мальчишки в Советском Союзе, достигшие восемнадцати лет, явился на медкомиссию в военкомат. Там проверяли, годен или нет был юноша к военной службе. Раньше, как говорили, проверяли правильно и честно: если не годен, то значит и не годен, а вот последний год, как началась эта ужасная война в Афганистане, все вдруг стали годны.

- Конечно, - взволнованно говорила Лина Павловна дома, - им же нужно “пушечное мясо”, вот и гребут всех подряд, чуть ли не юродивых.

После осмотра к Диме подошел какой-то офицер, взял его документ и молча поставил туда какую-то печать. Когда Дима прочитал, что было написано на печати, ему чуть не стало плохо: первого июня, то есть через месяц и три дня он, оказывается, должен был прибыть с вещами на сборный пункт военкомата. Его призывали прямо сейчас, и без права на отсрочку.

Со слезами на глазах Дима подошел к офицеру и, держа документ в руках, робко спросил.

- Простите меня, капитан. А как же моя отсрочка от службы по причине учебы в университете?

Капитан - его фамилию Дима запомнит навсегда: Мулер - посмотрел на него белесыми глазами, в которых не было ничего, кроме равнодушия, и сухо сказал.

- Какая отсрочка? Сейчас все отсрочки отменены, и все призывники идут на службу.

Потом подумал секунду и добавил, непонятно зачем.

- А ты, небось, думал, что еще долго будешь под мамкину юбку прятаться?

- Я не прячусь, товарищ капитан, я иду учиться.

- А за родину, значит, пусть дураки кровь проливают?

- Я этого не говорил, товарищ капитан, - сдерживая себя изо всех сил ответил Дима. - Я просто должен учиться.

- Пока, значит, не выйдет, - холодно отрезал Мулер. - А я позабочусь, чтобы ты служил как все, а не валял дурака во всяких там институтах.

Первого июня, как и было указано в штампе, который перевернул все планы на дальнейшую жизнь, Дима явился с вещами на вокзал, где его погрузили в поезд с сотнями других, таких же безусых и неуклюжих парней, еще только вчера вставших из-за школьной парты, и уехал.

У Лины Павловны, когда она вернулась домой с вокзала, который забрал ее сына, чуть не случился сердечный приступ.

Дима был ее единственным сыном, очень добрым и нежным, который очень любил и уважал свою маму. Его отец несколько лет назад погиб в результате несчастного случая на работе. Что там произошло - никто точно не знал, поскольку Лина не хотела об этом говорить и, вполне возможно, она и сама точно не знала. Но все знали, что теперь они жили очень бедно, и Дима часто не ел в школьной столовой, говоря, что сегодня не слишком голоден, хотя было очевидно, что у него просто не было денег на обед.

После отъезда Димы в армию Лина Павловна осталась дома совсем одна. Она вдруг почему-то очень ослабела, так сильно, что почти перестала выходить на улицу, и целыми днями сидела дома при задернутых шторах. Другьям, встревоженным ее состоянием, которые навещали ее, она говорила, что у нее теперь болят глаза от яркого света, и просила их не открывать шторы широко.

Так прошли два долгих и грустных года. Дима писал письма, в которых однако ничего интересного не рассказывал, кроме того, что все прекрасно: кормят хорошо, а он отмечает каждый прожитый день в календаре и подсчитывает, сколько еще осталось до того, когда он снова будет дома. Где проходила служба, он никогда не упоминал, а адрес на конверте указывал на Новосибирск.

Наконец подошли к концу два нескончаемых года. Служба Димы официально была закончена, и Лина Павловна ожидала его прибытия со дня на день. Он должен был прибыть где-то в середине ноября, но ноябрь уже прошел, уже наступил декабрь, а от Димы все не было и не было никаких вестей. Ни письма, ни звонка по телефону, ничего.

Наконец как-то вечером тишину в доме разорвал телефонный звонок. Лина Павловна схватила трубку, но голос в ней был чужой.

- Квартира Гришиных?

- Д...да, - произнесла Лина, холодея изнутри.

- Завтра вам необходимо будет приехать на Московский вокзал чтобы встретить сына. Поезд номер 1469, платформа 2, прибывает в 18.45. Вы все поняли?

- Ничего не поняла! - крикнула в трубку Лина Павловна. - Какой поезд? Почему на вокзал?

- Повторяю еще раз: завтра на Московском вокзале, поезд 1469, вторая платформа, прибытие в 18.45. Всего хорошего.

И трубку жалобно застонала гудками, похожими на плач годовалого ребенка.

На следующий день Лина Павловна была на вокзале задолго до прихода таинственного поезда, который, как ей сказали, должен был наконец привезти ее сына. Чтобы занять себя чем-нибудь, она пыталась читать книгу, которую привезла с собой, но не могла: руки дрожали, и так сильно, что буквы слипались друг с другом и никак не могли выстояться в ряд, чтобы наконец образовать слова и предложения. Наконец поезд прибыл.

Лина Павловна не знала, из какого вагона должен выйти ее сын, поэтому заняла место на перроне почти сразу за головой поезда, чтобы было видно, кто выходит из вагонов. Люди медленно выходили и растворялись в постоянно движущейся толпе, а Димы все не было.



Наконец из одного из вагонов вышел военный в каком-то маленьком звании типа сержанта или прапорщика, и выкатил на платформу инвалидную коляску. Потом быстро ушел обратно в вагон чтобы через несколько секунд появиться обратно, неся на руках Диму. У Димы не было обоих ног.

Военный оглянулся, ища глазами ту женщину, которой, по инструкции, он должен был передать своего подопечного. Лина Павловна облегчила его задачу: сама кинулась к ним навстречу.

Она подбежала к сыну, сидящему на коляске, и упала перед ним на колени. На груди у ее сына красовалась медаль.

- Mamochka, ну что ты, не надо! - Дима гладил ее по голове, по волосам, сильно поседевшим и поредевшим за эти два года. - Все же в порядке, мамочка, все в порядке. Смотри - я вернулся!

Она спрятала голову у него на груди, продолжая стоять на коленях прямо на платформе, покрытой снегом и тонким декабрьским льдом. Человек в форме неприязненно смотрел на нее, тревожно поглядывая по сторонам, и прикидывая, как долго еще будет продолжаться это излияние чувств. Наконец он решил, что сделал то, что ему было приказано - доставил инвалида к его матери. Поэтому, стараясь больше не смотреть на нее, он протянул Лине Павловне папку с какими-то бумагами и ушел, не оглядываясь.

Лина Павловна не помнила, как добралась до дома, как подняла сына на пятый этаж, как усадила его на кухне за их стареньким столом, где давно ждал любимый яблочный пирог и кастрюлька с тушеным мясом... Милосердная память стерла все эти картинки навсегда.

Она только помнила, что Дима все это время застенчиво улыбался, помогая, как мог, матери донести его, безногого, до квартиры и усадить за стол.

- Mamochka, не надо! Не надо так суетиться, пожалуйста! - как-будто извиняясь за доставленные неожиданные хлопоты, повторял и повторял он.

Глаза его теперь, наконец, наполнились давно сдерживаемыми слезами: ему было и горько, и неудобно думать, что теперь, отныне и навсегда, он будет для нее не чем иным, как обузой, и что ни он, ни она никогда не смогут этого изменить.

Служба в Советской армии началась для Димы в пустынях Таджикистана, где для новобранцев был раскинут палаточный лагерь. Здесь же проходили ежедневные многочасовые тренировки. Все это продолжалось где-то около шести месяцев в течение которых вчерашних неказистых мальчишек превратили в настоящих воинов и научили выживать в пустыне. Хотя никто и никогда не говорил им, для чего и куда их так тщательно готовят, сомнений ни у кого не было: всего в нескольких километрах на юг, через мутную Амударью, лежал кровотокающий Афганистан.

И вот пришел тот день, когда их всех доставили на вертолетах на базу, уже в Афганистане. Сначала распределили по баракам, кто где будет жить, потом собрали всех вместе и разъяснили правила их теперешней и дальнейшей жизни. Правила были просты: в письмах про службу ничего никому не рассказывать, имен командиров не называть, выполнять приказы неукоснительно, в контакты с местным населением не вступать.

Сразу предупредили, что все письма будут просматриваться, прежде чем их отправят на Родину, поэтому писать можно только о себе, и только хорошее. День проходил за днем, неделя за неделей, приближая тот желанный момент, когда транспортный вертолет снова доставит их домой, на родную землю. Ждать оставалось совсем недолго.

За две недели до отъезда Дима, как обычно, вышел на задание, с которого его уже привезли без обеих ног: он наступил на мину. Гарнизонных врач сказал, что ему повезло: могло бы и на куски разорвать, но Дима с ним не согласился.

“Лучше бы уж разорвало, и дело с концом,” думал он, лежа на узкой железной кровати и иногда поднимая голову, чтобы посмотреть на свое укороченное тело. Обе ноги выше колен были аккуратно отрезаны.

С этими вот кульпячками он и вернулся домой.

\*\*\*

По этой-то причине бывшие одноклассники и решили навестить свою любимую учительницу. Про Диму они узнали не от нее: Лина Павловна никогда бы не

выплеснула свое горе на своих учеников. Но “слухами земля полнится”, как говорится, и новость об ужасной трагедии быстро облетела весь класс. Кто-то предложил навестить “нашу Лину” чтобы хоть как-то помочь и поддержать. Все согласились.

Когда ребята пришли, квартира сразу наполнилась жизнью, шумом и движением, которых ей так не хватало эти последние два года. Молодость, к счастью, всегда остается молодостью, несмотря ни на что: поэтому ребята, даже сознавая, зачем они пришли сюда, и каков был истинный повод их прихода, все равно были рады видеть друг друга, и Диму, и, конечно же, Лину Павловну. Никто и не заметил, как случилось, что Дима, сидя в своем кресле, с пледом, покрывающим отрезанные выше колен ноги, вдруг громко рассмеялся в ответ на какую-то шутку, и лицо у него вдруг покраснело - то ли от духоты, то ли от счастья.

Лина Павловна старалась делать все возможное, чтобы ребята не чувствовали тяжести момента. Она улыбалась, угощала их своим традиционным салатом, несла с кухни яблочный пирог, порезанный небольшими кусочками, потом снова возвращалась на кухню чтобы вытереть вновь набежавшие слезы, и снова нарезала новые и новые кусочки пирога...

Декабрь 1982

Стивен

В понедельник Юрий Орестович не вышел на работу. Как оказалось, в пятницу делали операцию его дочери, поэтому все выходные он провел в больнице, без сна, сидя около кровати дочери на старом деревянном стуле, который ему откуда-то принесли. Хотя обычно никому оставаться ночью в больнице не разрешалось, для него сделали исключение: врач, который оперировал Леночку, когда-то был лично знаком с Иосифом Бродским от которого часто слышал о “необыкновенно талантливом архитекторе Цехнове́ре”.

Ирина ничего об этом не знала, и поэтому сразу после работы помчалась на такси к нему домой, на набережную, взлетела на второй этаж и позвонила.

Дверь открыла заплаканная Зигрида.

- Что, что случилось? - обнимая ее, спросила Ирина.

- Сепсис, - коротко ответила Зигрида, и задохнулась в рыдании.

- Господи! Какой сепсис? С кем?

- С Леночкой... В пятницу сделали операцию. Всю субботу она лежала тихо, даже смеялась, и мы уже с облегчением подумали, что все, пронесло...идет на поправку, слава богу. Но в воскресенье неожиданно стала подниматься температура, а сегодня Юра весь день сидит в больнице. Час назад говорил с врачом... Дела очень плохи.

Ирина знала, что болезнь Леночки прогрессировала медленно, но верно: бывали дни, когда ей целыми днями приходилось лежать в постели, борясь с болью и одиночеством. Пожалуй, одиночество было самым тяжелым для маленькой девочки, которой так хотелось поскакать с подругами на горячем от солнца асфальте, побегать босиком по траве, искупаться с девчонками в реке, и поиграть на берегу в мяч. Но с каждым годом подруг становилось все меньше и меньше, пока их не осталось совсем.

Операция, несмотря на риск, была обязательна. Доктор, уже немолодой и опытный хирург, хотя был уверен в успехе самой операции, но не мог дать гарантий, как будет проходить восстановление. Чтобы было все идеально, говорил он, необходим очень сильный антибиотик, которого, увы, в Советском Союзе нет. Юрий Орестович поднял все свои связи, обзвонил знакомых, но все оказалось напрасным: такого лекарства в стране не было.

Самое печальное было то, что он знал, какое лекарство нужно, даже знал его название - сипрофлоксасин - и от этого чувство безысходности было еще более мучительным.

Уже после операции, стоя около постели дочери, Юрий Орестович с мольбой посмотрел на доктора и спросил - так, на всякий случай.

- Значит, совсем никак?

Врач пожал плечами.

- Я не буду скрывать, что Сипро гарантировало бы успех моей работы почти на 100%, но... где же его взять, если его нет?

- Совсем нет? - уже в отчаянии спросил Юрий.

- Совсем... - вздохнул доктор, и вышел из палаты.

Леночка молча слушала этот разговор, и вдруг спросила.

- Папочка, я ведь умру?

- Ну что ты, родная, ну что ты! Ты никогда не умрешь, моя дорогая, никогда! - из глаз Юрия катились невольные слезы.

Леночка обняла его за шею и стала гладить по голове, как маленького мишку.

- Это ничего, папочка, - говорила она, как будто убаюкивая его. - Я просто усну, как я всегда делаю это каждый вечер, и все. А утром я просто не проснусь. Но ты, папочка, не расстраивайся: я нарисую тебе картинку, и она всегда будет с тобой, а значит, и я с буду тобой.

И она тихо засмеялась.

- Я всегда буду с тобой. Ты только картинку мою не теряй...

И гладила, и гладила Юрия по седой голове.

\*\*\*

Поцеловав Зигриду, Ирина ушла. В голове ее уже созрел конкретный план, который требовал немедленного исполнения. Каким-то шестым чувством будущей женщины-матери, она чувствовала, что если этот план не реализовать прямо сейчас, то завтра, скорее всего, уже будет поздно.

Ирина вышла на набережную. Холодный декабрьский ветер кружил пока еще редкие, но тяжелые снежинки, бросая их под ноги прохожим, прямо на твердый асфальт. Ирина подняла руку, пытаясь остановить какую-нибудь попутную машину, но они, как назло, ехали и ехали мимо: вечером обещали сильную пургу, поэтому все торопились домой.

Ирина уже почти отчаялась когда темно-синие Жигули резко затормозили.

- Вам куда? - из опущенного окна показался мужчина лет сорока, аккуратно стриженный и в галстук.

- Гостиница "Москва", - ответила Ирина. - Подбросите?

Вероятно, в голосе ее звучала почти мольба, потому что мужчина, подумав несколько секунд и что-то прикидывая в голове, кивнул и пригласил садиться.

- В гостинице живете? - спросил он, когда машина помчалась по набережной.

- Нет, что вы! - улыбнулась Ирина. - Живу я дома, а в гостинице сейчас живет мой хороший знакомый... Вы даже не представляете, как важно, чтобы он был сейчас там... Как это важно!

- Почему? - с любопытством спросил мужчина.

- Одна маленькая девочка сейчас очень больна, - тихо сказала Ирина, - и только он может ей помочь... только бы успеть! - закончила она уже почти шепотом.

- Он доктор? - спросил мужчина.

- Он?... - Ирина задумалась. - Нет, он лучше, чем доктор... он волшебник.

Ирина вошла в гостиницу так стремительно, что человек, который, вероятно, исполнял роль швейцара, даже не успел схватить ее за рукав пальто. Ирина подошла прямо к регистрационной стойке, за которой сидела скучающего вида девица лет двадцати пяти.

- Мне надо видеть Стивена Ладлоу, - тоном, не терпящим возражений, сказала она.

- Вызовите его сюда вниз. Скажите, что дело не терпит промедления.

Девица, ошарашенная такой наглостью и не понимая, что происходит, хлопала глазами и молчала. Потом, видимо, пришла наконец в себя и ответила резким хриловатым голосом, который никак не вязался с ее достаточно привлекательной внешностью.

- А вы что здесь делаете, а? Кто вы такая? Как сюда вошли?

Сзади уже, переваливающейся походкой, подходил тот, кто исполнял обязанности швейцара. Лицо у него было злое: с ним, похоже, давно никто так не обращался.

- А ну-ка, пошла вон отсюда! - скорее прошипел, чем проговорил он, цепкими пальцами хватая Ирину за рукав пальто.

- Что удумала, а? Зараза! - выругался он, видимо решив, что пришло время для оскорблений.

Ирина резко ударила его по руке, не поворачивая головы. По-прежнему твердо и глядя прямо в бесцветные глаза девицы за регистрационной стойкой, она повторила, отчеканивая каждое слово.

- Я сказала: немедленно вызовите сюда Сивена Ладлоу, американского гражданина. Дело не терпит промедления. Я ясно выражаюсь?

Повисла пауза. Человек-швейцар приготовился по-настоящему оттащить Ирину от стойки, и уже обдумывал, как лучше ее схватить: за шиворот, или в охапку. Если за шиворот, прикинул он, то будет орать на всю гостиницу, а если в охапку, то может и укусить.

Вдруг кто-то положил руку на плечо человека-швейцара. Рука была твердой и властной.

- Оставьте ее, - голос прозвучал сухо, но требовательно.

- Что? - вскинулся человек-швейцар, еще не поняв, чья это рука, но тут же сник, как только повернул голову. - Простите...все понял.

И торопливо отошел обратно к входной двери в гостиницу.

- А вы, - продолжал голос, на этот раз обращаясь к девице - вызовите мистера Ладлоу. Немедленно.

Девица за регистрационной стойкой, все еще ничего не понимая, принялась выполнять указание.

Ирина повернулась, чтобы поблагодарить голос, но он уже удалялся от нее медленной, но твердой походкой. Она смогла разглядеть только его спину в черном пиджаке, и коричневые кожаные ботинки, мерно постукивавшие каблуками по цементному полу фойе.

Стивен спустился через минуту. Лицо его выразило удивление, но лишь на секунду: он сообразил, что визит Ирины в гостиницу был не случайным. Значит, произошло что-то серьезное, а значит, и его серьезное лицо лучше будет соответствовать моменту.

Оба они, не сговариваясь, двинулись к середине зала, где их все могли видеть, но никто не мог слышать.

- Что-то случилось? - спросил Стивен.

- Да, - ответила Ирина.

Они оба чувствовали себя под перекрестным огнем как минимум десятка глаз, и глаза эти - удивленные, недовольные, настороженные, - какие угодно, но только не безразличные, пронизывали их со всех углов, как рентгеновские лучи, а люди, смотревшие на них сожалели только о том, что у них нет достаточно длинных ушей, чтобы расслышать все то, о чем сейчас говорили эти двое.

-У Леночки, дочки Юрия, начался сепсис, - тихо сказала Ирина. - В пятницу ей сделали операцию, чтобы удалить инфицированную кость в бедре. Врач надеялся, что все будет в порядке, но вчера началось заражение. Юрий всю ночь провел у ее кровати, а утром он не вышел на работу... Я была у него дома, разговаривала с Зигридой: Леночке нужно сильное лекарство - сипрофлоксасин, - но его нет в Советском Союзе. Его просто нет...

Ирина смахнула слезу, катящуюся по щеке.

Стивен стоял и думал, пытаясь сообразить, что можно сделать в этой ситуации. Эта спокойная решимость, без тени притворства, завораживала и давала хоть какую-то, но уверенность, что все еще может быть хорошо.

- Я понял тебя, - тихо, ей в тон, сказал Стивен. - Я думаю, я знаю, что делать.

Сейчас уходи, и езжай в университет, как ни в чем не бывало. Сегодня вечером встретимся у Юрия дома. Если я смогу достать то, о чем ты сказала, я принесу это с собой. А сейчас - иди... До вечера, моя добрая, милая Иоланта...

И он улыбнулся - одними глазами...

Декабрь 1982

Стивен и Ирина

Вечером они, как и было условлено, встретились у Юрия дома. Стивен и Ирина поразились его изможденному лицу, хотя он, как мог, пытался скрыть признаки своей необычайной усталости.

- А, ребята, - сказал он, открывая дверь и отходя в сторону, чтобы дать им войти. - Заходите. Зигридошки, правда нет. Она сейчас с Леной, в больнице, но вы раздевайтесь. У меня даже, кажется, чай еще не совсем остыл.

- Мы на минутку, - сдерживая себя, чтобы не кричать от радости, сказала Ирина. - Мы просто хотели передать вам вот это... для Леночки.

И она вложила ему в руку пакет.

- Здесь то, что вы искали, - сказала она. - Стивен достал сегодня.

Юрий заглянул в пакет и лицо его задрожало, а из глаз медленно потекли слезы.



- Ребята...ну что вы... - голос его прервался, и он тяжело опустился на стул.

На его молчаливый вопрос “как?”, Стивен улыбнулся и коротко ответил.

- Просто консул оказался очень хороший человек. И у них там хорошая аптека...

Юрий крепко обнял его в ответ, потом положил таблетки в сумку и помчался прямо в больницу.

- На кухне чай, масло, варенье, колбаса в холодильнике. Пожалуйста, сделайте бутерброды, не стесняйтесь. Ешьте все, что найдете!

И умчался быстрее ветра.

Стивен и Ирина посмотрели друг на друга и расхохотались: на душе было необыкновенно хорошо, как никогда...

\*\*\*

На следующий день, едва Ирина переступила порог библиотеки, ее вызвали в Первый отдел. Она догадывалась, почему: вчерашний визит в гостиницу и скандал в фойе не могли пройти незамеченными. Сегодня, похоже, пришло время для объяснений.

Лунев широко улыбнулся, увидев ее.

- Ну и наделали вы шума вчера в гостинице!

Ирина покраснела.

- Если честно, я не виновата, - заметила она. - Меня хватили за рукава, как какую-то воровку, или даже хуже, пытались выставить вон, пока не вмешался один из ваших...

- наших? - усмехнулся Лунев. - Почему вы так решили, что он обязательно из “наших”?

- А из чьих? Подошел, сказал что-то тихим голосом, и все сразу залезили, забегали. Даже противно.

Лунев молчал.

- А вы смелая девушка, - наконец сказал он.

Они оба помолчали, и только ходики на стене продолжали отсчитывать мгновения, падавшие в пустоту кабинета, как будто капли воды в стакан: кап, кап, кап...

- Я вас хотел, однако, предупредить, что за вами теперь может вестись некоторое, так сказать, наблюдение... Вы попали в поле зрения органов.

Ирина испытующе смотрела на него: что еще ей надо знать?

- Да, и еще... - как бы нехотя, добавил Лунев. - Пожалуйста, опишите подробно, зачем вам понадобилось видеть американского гражданина прямо посреди дня, и прямо в гостинице. Какое у вас было к нему “неотложное” дело? Когда закончите, зайдите ко мне и отдайте бумагу. Хорошо?

Впервые в жизни Ирина почувствовала себя каким-то насекомым в банке, за каждым движением которого наблюдают тысячи невидимых глаз... Как страшно, и как, честно говоря, неприятно...

- Хорошо, - ответила она, беря бумагу из рук Лунева.

- Причина должна быть... правильной, - добавил он, и значительно посмотрел на нее.

Через час Лунев получил мелко исписанный лист бумаги. Ирина рассказывала, что ей было необходимо видеть мистера Ладлоу, потому что он мог помочь достать некое лекарство для ее старой и больной бабушки, которая, кстати сказать, участник войны, а ей чинили всяческие неприятности, вероятно, перепутав ее с одной из множества проституток, постоянно находящихся рядом с гостиницей, а также и внутри нее. По этой причине, она просила КГБ обратить на этот факт особое внимание и навести в гостинице порядок, подобающий быть в любой советской гостинице, а тем более в той, где селятся иностранные гости.

Лунев дочитал бумагу до конца и усмехнулся.

“Очень смелая девушка!” подумал он.

1918 – 1919

Бахов

Наконец наступила долгожданная пятница, и Ирина со Стивеном вновь сидели за столом, рядом с магнитофоном, который не спеша, как будто через силу,

поворачивал старые бобины с магнитной пленкой, и голос Бахова вновь тихо звучал в комнате.

“Мы решили уехать из Петрограда куда-нибудь, потому что уже в 1918 году, всего через несколько месяцев после дерзкого большевистского переворота, который удалось организовать большевикам, в городе начался настоящий голод. С улиц постепенно, но довольно быстро, исчезли все кошки и собаки: как оказалось, их постоянно вылавливали и просто съедали.

С началом зимы, как по расписанию, начались страшные холода, и совсем скоро в домах стало холоднее, чем на улице. Каждый вечер мы с братом должны были выходить на “охоту” - искать дрова, старые поленья, все что угодно, чтобы топить печку у нас в доме, но с каждым днем находить то, что могло бы сгореть и дать хоть немного тепла, становилось все труднее.

Однажды мы даже с кем-то подрались. Мы успели разобрать остатки забора чьей-то покинутой усадьбы, уже сложили доски в кучу и собирались их связать, как тут к нам бросился какой-то человек, схватил одну, самую большую доску и хотел убежать. Мой брат - он всегда был быстрее и сильнее меня - схватил похитителя за рукав и сбил его с ног. Он уже замахнулся, чтобы достойно наказать этого дерзкого незнакомца, и тут мы заметили, что мужчина плачет, размазывая слезы по худому и грязному лицу рукавом старого пальто.

- Моя дочь сейчас умирает, у нее туберкулез, а в доме холодно, как в могильном склепе... Пожалуйста, не бейте меня!

Он действительно плакал, закрывая лицо замерзшими, негнуцимыми руками.

Брат поднял его, подал ему упавшую меховую шапку, тоже очень потертую, и молча протянул два толстых полена.

- На, возьми. Я надеюсь, это поможет твоей дочери, хотя бы немного. Иди с богом. И пусть твоя дочь поправится...

После этого приключения мы поняли, что наши шансы выжить в этом городе, зажатом тисками холода, а скоро, возможно, и голода, невелики.

И мы решили отправиться в Витебск. Почему туда? Просто мама сказала, что там живут какие-то далекие родственники, которые могут нам помочь, что-то в этом роде. На самом деле, когда мы приехали на вокзал, нас никто не встретил.

Наверное, наша мама выдумала эту историю, как это делают все матери, когда сидят у кроватей своих малышей и рассказывают им разные ночные сказки - чтобы они лучше спали...

Даже принять решение о переезде на новое место было для нас непросто, но, как оказалось, уехать из замерзающего и голодного Петрограда было труднее, чем подняться на Эверест. Я не знаю, чего добивались большевики, но все, к чему бы они ни прикоснулись своими жадными и неумелыми руками, это что-то сразу же либо самоуничтожалось, либо ломалось, либо выводилось из привычного равновесия.

С 1836 года железные дороги в России всегда были самым надежным способом передвижения: люди смело доверяли им как свои жизни, так и свои надежды. Поезда уходили и приходили в срок, всегда прибывали туда, куда должны были прибыть, и всегда точно по расписанию. По поездкам, простите за банальность, можно было сверять часы.

После же этой, с позволения сказать, революции все поезда почему-то внезапно вышли из строя. Теперь все они грустно стояли в депо без присмотра, покинутые и промерзшие до последнего винта. Расписания вдруг перестали существовать, и люди, еще совсем недавно путешествовавшие с комфортом в американских вагонах фирмы Пулман и Со., почему-то переместились в вагоны, в которых раньше, до переворота, возили скот. Но самое смешное было то, что за эти вагоны теперь надо было платить больше, чем за те, пулмановские.

Мама, как она ни старалась, но достать билетов в эти вагоны не смогла. Как всегда, выручил брат, Николай. Я не знаю как он это сделал, но где-то он отыскал нужного человека, который сразу же "нашел" шесть билетов, а маме пришлось срочно найти все свои фамильные драгоценности... Обмен состоялся где-то на улице, под тускло светящимся фонарем. Николай на эту встречу взял с собой нож, "на крайний случай", как он сказал. Но все прошло спокойно.

И вот мы уже сидели в вагоне поезда, направляющегося в Смоленск. Оттуда, как сказала мама, нам придется взять подводу, и уж там, с божьей помощью, как-нибудь добраться до Витебска. Трудно, конечно, и неудобно, но зато все вместе.

Хороший это был город, Витебск. После революции туда приехало очень много интеллигенции, большинство из Петрограда: они, как и мы, спасались от голода. Благодаря всем этим людям город необычайно расцвел: появилась музыкальная консерватория, которая по вечерам стала давать концерты, и даже художественное училище.

Кстати, вот этим-то только что образованным художественным училищем руководил Шагал, Марк Шагал. Я, к сожалению, не успел сойтись с ним достаточно близко: он был из местных и, следовательно, не очень-то жаловал всех этих "приблудившихся интеллигентов", как нас там иногда называли. К великому сожалению, его скоро потеснили с поста директора училища... Он очень обиделся, собрал чемоданы, взял жену за руку и они ушли в Польшу. Так вот просто и ушли, ногами. Ну, потом они, конечно, переехали во Францию, где он, по-моему, решил остаться жить навсегда, и где стал действительно великим художником.

Шагал очень правильно сделал, что обиделся: как я потом случайно узнал, большевики завели на него какое-то криминальное дело и, разумеется, собирались его арестовать. А если бы его арестовали, он бы не выжил: слишком сильный был человек, слишком уверенный в себе, в своей гениальности, в своем великом предназначении. Таких большевики всегда ненавидели и, разумеется, по возможности "пускали в расход" первыми.

Только подумайте, как ему повезло! Они ведь действительно приехали за ним рано утром, пока солнце еще не поднялось и не могло видеть весь этот срам. Подошли к дому; лица довольные; наручники уже наготове, бренчат у кого-то на поясе.

Постучали в дверь, а в доме уже никого нет. Ушли! Представляете, какие у них были лица в этот момент?

Все это, к слову сказать, не так уж мило закончилось: одного из них, из тех, кто пришел арестовывать Шагала, потом расстреляли. Сказали, что он предателя и шпиона упустил, а значит, и сам он шпион. И расстреляли. Тоже на рассвете, чтобы никто не видел. А у него, между прочим, жена дома осталась, беременная. Ее, конечно, не тронули, но она все равно в родах в больнице умерла. Ей там никто не помогал так как дано было такое тайное указание, что спасти жену предателя не обязательно. Если сама "выкарабкается", тогда ладно, пусть живет, а если нет... Но

она не "выкарабкалась", умерла. А ребенка потом отправили в детский дом. Вот так...

Но это было потом... А в 1918, когда мы только-только приехали в Витебск, большевики там еще не имели большой силы. Мне кажется, что они тогда еще очень боялись, что у власти им долго не продержаться, а поэтому торопливо набивали свои карманы всем, что попадет под руку. Между делом - так, на всякий случай - старались иногда произвести некое благоприятное впечатление, поэтому делали и хорошие дела. Например, когда Иван Вишняк, богатый банкир, уважаемый человек, уехал из Витебска в Польшу, его роскошный дом сразу национализировали и отдали под художественное училище. Искусство нужно всем, и большевикам, как оказалось, тоже. В городе у Шагала был огромный авторитет, его все знали, все уважали. К тому же, он был из местных. Само собой разумеется, его пригласили быть директором нового училища.

Меня, как специалиста в классических языках и литературе, пригласили в это училище читать лекции. О, какое же это было прекрасное время! Каждый день я спешил на занятия, неся под мышкой конспект своей новой лекции - сегодня о Марке Аврелии, завтра - о Сенеке. Здесь, укрывшись от всего мира за стенами любимого училища и с головой погрузившись в греко-римскую культуру, я читал студентам лекции и верил, что большевики, случайно оказавшиеся у власти, но уже успевшие разорить богатейшую страну, скоро будут повержены и с позором изгнаны, как когда-то народом был изгнан из Рима Тарквиний Гордый. По всем законам, они не должны были долго удержаться у власти, ибо они, и это было очевидно, не имели понятия, как управлять страной. Но я ошибся...

Зато не ошибся мой брат, Николай. Как только он нас всех устроил, и как только я получил работу в училище, он вступил в Белую армию и уехал на юг. Мама страшно переживала, но она так уважала Николая, его мнение и благоразумие, так доверяла всему, что он делал и говорил, что не осмелилась с ним спорить, и даже запретила нам делать это.

- Николай знает лучше, что ему делать, - как-то отрезала она, когда одна из сестер попыталась протестовать.

С тех пор мы много лет ничего о нем не слышали. Мы думали, что он умер, и только много лет спустя, из письма, которое дошло до нас через каких-то друзей, мы наконец узнали, что с ним все хорошо. С остатками Белой армии он сначала уехал в Турцию, потом во Францию, затем перебрался в Англию, где стал учиться в Кембридже. Потом стал профессором русской литературы. Я не помню точно, в каком году мы получили это письмо, но, наверное, где-то в 1937... Я так рад, что мама еще успела порадоваться за своего гениального сына.

- Я же вам говорила, - любила повторять она, покачивая седой головой. - Коленка всегда знал, как надо было правильно поступать.

Я тоже был очень рад, потому что я всегда обожал моего брата и всегда считал, что он лучше и умнее меня. Я верю, что там, в Англии, он прожил замечательную жизнь..."

Декабрь 1982

Стивен и Ирина

Кассета закончилась, и магнитофон замолчал.

Ирина и Стивен тихо сидели на диване, потрясенные, раздавленными этой простой и страшной правдой жизни, и молчали. За окнами была ночь.

- Хочешь чая? - спросила Ирина.

Стивен кивнул.

Они прошли на кухню.

- Он так прекрасно говорит, - тихо сказала Ирина. - Мне иногда кажется, что он мой родственник, или близкий-близкий друг...

- Мне тоже, - ответил Стивен. - Но самое главное, что сейчас, слушая его, я думаю, что мало мы ценим нашу жизнь, размениваем ее на какие-то пустяки, ссоримся...

Страшимся будущего, которое, может, и не наступит никогда, по крайней мере, для нас. Нет, оно, конечно, наступит, это будущее, но оно будет уже не наше... - он усмехнулся. - Ну, ты ведь меня понимаешь...

- Понимаю, - кивнула Ирина, и пододвинула ему чашку с чаем. - Пей, пожалуйста. Вот сушки. Очень вкусные; вчера купила, специально для тебя...

Стивен подвинул стул, на котором сидел - так, чтобы быть поближе к ней, потом обнял Ирину за плечи и поцеловал в губы, в первый раз.

- Моя Иоланта, - прошептал он.

Декабрь 1982

Ирина

В университете Ирина училась на филологическом, на отделении испанской литературы. С семи лет она мечтала изучать французский язык, и мечтала так сильно, что однажды даже придумала сказку для своих подруг, что родилась во Франции, где у нее, якобы, жила бабушка отца, и именно поэтому она и научилась так хорошо говорить по-французки.

Подруги ей поверили и часто просили сказать что-нибудь на иностранном языке, на что Ирина самозабвенно повторяла одну и ту же фразу, которую выучила неизвестно где и неизвестно когда: скорее всего, она ей просто однажды приснилась: *Mon chat, mon petit chat. Mama lui a fait un peu de chocolat.*<sup>4</sup>

С этой фразой она и пришла на свой первый урок французского в школе и, чтобы не опозориться перед подругами, которые все еще верили, что она почти настоящая француженка, принялась учить язык с таким рвением, что скоро и сама поверила, что она, ну, если не совсем француженка, то почти.

После школы, естественно, для нее не стояло вопроса “куда пойти учиться?”

Разумеется, только на филологический.

Но на французское отделение ее почему-то не взяли: как оказалось, там уже не было свободных мест. Чтобы не терять целый год в ожидании освободившегося места, ей предложили перевестись на испанское отделение и начинать учиться прямо завтра.

---

<sup>4</sup> Моя кошка, моя маленькая кошечка. Мама приготовила ей немного шоколада. (фр.)



Об испанском языке Ирина имела почти такое же представление, как обычный человек имеет о космосе, но деваться, по существу, было некуда: учиться на испанском, или потерять целый год в бесплодном ожидании. Ирина подумала и согласилась.

Но тут случилась беда: умер отец. Мама после смерти мужа впала в такую глубокую депрессию, что даже временно прекратила работать. Денег скоро стало катастрофически не хватать, и Ирина, чтобы помогать матери, решила перевестись на вечерний, чтобы одновременно устроиться на работу. Так она и попала работать в “Салтыковку”, где познакомилась с Юрием Орестовичем Цехновером.

Испанский язык, к своему крайнему удивлению, Ирина вскоре так полюбила, что иногда с удивлением спрашивала себя, как это ей столько лет мог нравиться каркающий, как она теперь говорила, французский.

Испанский же, несомненно, она полюбила скорее всего благодаря встрече с новым и во многом необыкновенным человеком, сразу поразившем ее юношеское воображение - Сусанне Павловне. Она, кроме того, что была самым интересным профессором на всей испанской кафедре, была еще и необыкновенно красивой женщиной лет пятидесяти, с густыми темными волосами, собранными, как и молодых девушек, в косу. Она-то и открыла Ирине всю необычайную красоту и богатство испанского языка, этого "пока еще не оцененного по достоинству бриллианта", как она его называла.

Парадоксально, но факт: к концу своего первого семестра Ирина полностью и, видимо, навсегда утратила всякий интерес ко всему французскому, но зато с головой погрузилась в испанскую культуру, а ее визиты в Эрмитаж стали связаны исключительно с залами, где выставлялась испанская живопись.

Работа в библиотеке, учеба на вечернем - все шло просто замечательно до того хмурого декабрьского утра, когда, войдя в класс, Ирина застала Сусанну Павловну в слезах.

Увидев Ирину, она быстро вытерла глаза и попыталась улыбнуться.

- Прости, - сказала Сусанна, отводя глаза, чтобы не видно было ее покрасневших век. - Я сейчас соберусь...

Ирина села за стол напротив, как делала всегда, и достала учебники. Она чувствовала себя немного неловко, но все-таки решила спросить.

- Что-то случилось, Сусанна Павловна?

Сусанна еле сдержала новый порыв горя.

- Случилось... - сказала она совсем тихо. - В эту пятницу умер Володечка, мой муж...

И слезы потекли по ее щекам.

Ирина понимающе молчала. Что могла она сказать своему любимому преподавателю? Как могла ее утешить?

- Я вас понимаю, - наконец сказала она. - В этом году я тоже потеряла маму... Это был очень плохой год; скорей бы уж он закончился!

Сусанна внимательно посмотрела на нее: Ирина нравилась ей с самого начала - цельная, спокойная, целеустремленная натура. Часто она задерживалась на десять-пятнадцать минут после урока - чтобы просто побеседовать об Испании, и постепенно они стали почти друзьями.

- Прости меня, Ирочка, - повторила Сусанна, утирая бегущие из глаз слезы чистым носовым платком. - Может быть, ты навестишь меня как-нибудь? Ты мне расскажешь про твою маму, а я тебе - про моего Володечку... помянем их обоих, и просто поговорим... Зайдешь как-нибудь?

- С удовольствием, - ответила Ирина.

1937 – 1939

Сусанна

В гостях у Сусанны, за кружкой чая с сахарным печеньем, пряниками и вишневым вареньем, Ирина узнала потрясающую историю ее жизни.

Для Сусанны все началось в 1937 году, когда советский пароход привез в Ленинград около тысячи испанских детей, среди которых была и маленькая Сусанна Паула Суарес Фернандес. Ее мать, Адела Фернандес, в надежде спасти дочь от голода и войны, бушевавшей в родной провинции Астурия, решила

ненадолго отправить ее в Советский Союз, который радушно предлагал свою помощь испанским друзьям.

Прибывших детей, однако, не расселили по семьям, как было обещано оставшимся в Испании их родителям, а разделили на группы и отправили в специально созданные по этому случаю детские дома. Детский дом Сусанны оказался в Киеве. Он разместился в огромном старом особняке, отобранном после революции у какого-то именитого врача, друга Николая Пирогова и тоже профессора полевой хирургии. Дом за последние двадцать лет сильно обветшал: краска облезла, крыша текла во многих местах, полы скрипели так, что было слышно издалека. Самое страшное началось зимой, когда обнаружилось, что система отопления в доме давно уже не работает.

Спешно пришлось создать группу, которую отправили рубить деревья в старом парке, окружавшем дом со всех сторон, чтобы добыть дров для десяти огромных прожорливых каминов. Каминные кое-как накормили, дом еле-еле согрели, а вот парк погиб. На месте каштанов и дубов, которые красовались здесь, вознося свои кроны к небесам последние сто пятьдесят-двести лет, остались одинокие пеньки и вытопанная измученная земля.

В этом доме Сусанна прожила два с лишним года. Первые три месяца она все время плакала, скучая по своей матери, по дому, где она родилась и выросла и, конечно же, по своей родной и красивой Астурии, где зимой часто сеет мелкий дождь, а летом солнце ласкает влажную землю, где с моря дует мягкий ветер, напитанный запахом разогретых соленых камней.

Здесь, на новом месте и в чужой стране, месяц проходил за месяцем, стирая из детской памяти дорогие образы прошлого, и та прекрасная жизнь уходила от нее все дальше и дальше. Потом Сусанне сообщили, что ее мать погибла, и что возвращаться ей больше некуда и не к кому. Девятилетней девочке было трудно понять, что ее мамы больше нет, и что она ее больше никогда не увидит, и поэтому она продолжала плакать по ночам, закрыв голову одеялом, чтобы никто ее не услышал.

Однажды ее сняли прямо с урока и привели в кабинет директора, где на старом кожаном диване сидели два очень красивых человека: мужчина с черными

смоляными волосами и орлиным носом, и женщина лет тридцати, с тонким и красивым лицом. Они оба заулыбались, увидев Сусанну, поднялись с дивана, чтобы поприветствовать ее, маленькую девятилетнюю девочку, за руку, и мужчина с улыбкой предложил ей сесть рядом с ними на стул.

Через десять минут Сусанна узнала, что у нее теперь есть новые родители: Мария и Дамир, и что она отныне будет носить имя Сусанна Павловна Милошина. Потом, уже дома, Дамир ей объяснил, что Павловна она стала просто потому, что ее второе имя было Паула, а Милошина потому, что его, Дамира, фамилия была Милошин.

1923 – 1951

Дамир

Человека, так неожиданно ставшего ее новым отцом, звали Дамир. Он когда-то был сербским коммерсантом, успешно торговавшим пшеницей. В поисках новых возможностей для своего весьма прибыльного бизнеса, Дамир в 1923 приехал в СССР с крупной партией отборного зерна. Если бы он, пересекая границу на поезде Белград-Киев, хоть на минуту мог представить себе, что никогда больше не увидит ни своей любимой Сербии, ни своей жены, ни своего двухлетнего сына, которого он, молодой отец, счастливый и гордый, тоже назвал Дамиром, он наверняка отменил бы эту поездку и продал бы свое зерно в какой-нибудь другой европейской стране.

На границе вагон, в котором Дамир вез зерно в Советскую Россию, долго осматривали, простукивали, потом, ничего не объяснив, зачем-то отцепили, а у Дамира потребовали паспорт. Паспорт отобрали, а Дамира, пытавшегося протестовать и требовавшего связаться с Сербским послом, дважды сильно удалили по лицу и объявили, что он никто иной, как английский шпион, который прибыл в Советскую Россию, чтобы готовить восстание против пролетариата. В тюрьме Дамир провел несколько месяцев, прежде чем большевики, наконец, поняли, что с арестом Дамира, гражданина Сербии, имела место какая-то ужасная

ошибка. Они также поняли, что за ошибку, по всей видимости, придется приносить извинения, а извиняться они не любили. Проще было выпустить этого сварливого серба на свободу, а чтобы не приносить никому никаких извинений - отобрать у него паспорт и не выпускать обратно на родину.

Таким образом, когда Дамир вышел из темной и душной камеры, где он провел почти три месяца в компании воров и других мелких жуликов, в кармане у него лежали новенький и хрустящий паспорт СССР и немного денег. Вагон с пшеницей, который он привез в СССР, куда-то пропал, поэтому заплатить ему деньги за неизвестно куда пропавший вагон было невозможно.

На вопрос, где его сербский паспорт, и когда он сможет вернуться на родину, ему ответили, что он теперь - советский гражданин и должен этим гордиться.

Пришлось порадоваться тому, что, по крайней мере, ему отсчитали пятьдесят рублей - "на прокорм". Раскрыв паспорт, Дамир с удивлением обнаружил, что у него новая фамилия - Милошин. Чем была плоха его старая - Иванович - ему объяснять не стали: просто отдали паспорт, и все.

Дамир понял, что домой, в Сербию, его никто непустит, а попытки этого добиться могут кончиться снова тюрьмой, но на этот раз надолго. Поэтому он решил, что самое лучшее - это устроиться работать на какую-нибудь мебельную фабрику. Хорошую мебель Дамир всегда очень любил: когда-то в детстве он любил помогать отцу восстанавливать старую мебель и смотреть, как она иногда превращалась в настоящее произведение искусства. И вот пришел тот момент, когда эти бесценные знания оказались не напрасны. На фабрике сразу заметили, что у него золотые руки и, может быть поэтому, через несколько месяцев ему дали хорошую комнату на первом этаже, с окнами в старый и заросший сад.

Жизнь постепенно начала налаживаться, но по ночам Дамир продолжал плохо спать: ему снилась жена, бегущая навстречу, сын, которому сейчас было уже три года и, конечно, их старый дом с яблоней, растущей прямо в перед окнами. Эту яблоню он посадил вместе с отцом и назвал ее "Медок", потому что яблоки на ней были сочные и сладкие, как дедушкин мед. И все это у него отобрали в одночасье. Как умный человек, уже повидавший немало на своем веку, Дамир сразу понял, что в этой стране человек был слаб и незащищен. Его жизнь была здесь простой

щепкой, которая могла или затеряться среди других щепок и выжить, или в одиночку быть просто брошенной в костер и сгореть, как миллионы других. Дамир предпочел затеряться.

Потеряв всякую надежду вернуться к своим, Дамир, испытывая ранящее душу чувство вины, решился наконец создать новую семью. На фабрике он встретил женщину, можно сказать, неземной красоты. Звали ее очень просто: Мария. Она жила в Киеве с самого детства, отец ее был простым сапожником, а мать домохозяйкой. Семья была небогата, но жила в достатке, пока ветер революции не унес ее мать в могилу, а отца, неизвестно за что, в тюрьму. Мария осталась одна и устроилась работать на ту же самую мебельную фабрику, что и Дамир.

Они почти сразу заметили друг друга: оба черноволосые, оба смуглые лицом и с темными, как у цыган, глазами. Но заметив один другого, они долго не решались подойти друг к другу, не осмеливались вот так просто взять, и заговорить. Прошел еще целый долгий месяц, прежде чем Дамир, все еще испытывая непонятное смущение, не понял, что просто умрет, если же не заговорит с ней. Когда он наконец подошел к ней, подыскивая правильные слова, чтобы начать разговор, она взглянула на него и светло, и немного застенчиво, улыбнулась. Через месяц они поженились и, счастливые, переехали жить в ее маленький домик, который неутомимый Дамир немедленно начал превращать в дворец Семирамиды.<sup>5</sup>

Дамир не помнил, когда еще в своей жизни он был так влюблен. Если бы Мария захотела, он запросто мог бы нырнуть в Днепр с Николаевского моста,<sup>6</sup> чтобы достать унесенный ветром цветок с ее шляпки, или забраться босиком на Эверест посреди зимы... Но ей не было нужно от него ничего, кроме его любви и глаз, смотревших на нее с молчаливым обожанием. По утрам Мария, как когда-то еще не так давно вместе с матерью, хлопотала на маленькой кухне, делая завтрак, а потом Дамир уходил на работу. Он настоял, чтобы Мария ушла с мебельной фабрики где,

---

<sup>5</sup> Дворец, как и висячие сады Семирамиды был, согласно легенде, построен для вавилонской царицы ее мужем три тысячи лет назад как одно из чудес света.

<sup>6</sup> Николаевский мост через реку Днепр был построен в 1853. Подвесной мост на шести каменных опорах, длиной 776 метров, многие годы являлся одной из главных достопримечательностей Киева.

по его мнению, она все время дышала парами лаков и красок, которыми обрабатывали мебель.

- Это может быть вредно для нашего будущего ребенка, - сказал он.

Мария посмотрела на него глазами, полными слез любви и благодарности, и обняла его за шею, не говоря ни слова.

А их маленький дом, между тем, постепенно превращался в волшебный замок для феи, поселившейся в нем. Чтобы оградить свою новую жизнь от чужих, и часто слишком любопытных глаз, Дамир по окружности обсадил кипарисами весь двор. Сил и времени у него на это ушло много, но он день за днем продолжал любовно сажать и сажать все новые деревья.

- Через год-два они сомкнутся кронами и создадут непроходимую волшебную зеленую стену, и никто больше не сможет видеть, что происходит в стенах нашего дворца, - любил говорить он.

- Почему ты не хочешь, чтобы люди видели наше счастье? - смеялась Мария.

- Люди завистливы во все времена, а в трудные времена - они не только завистливы, но и опасны, - вполне серьезно отвечал Дамир, любовно обкладывая корни своих бесчисленных кипарисов навозом - чтобы быстрее росли.

Так, наполненные трудами и заботами, но также и теплым киевским солнцем и радостями любви, незаметно пробежали почти десять лет. НЭП давно закончился, а вместе с ним закончилась вкусная и разнообразная еда, которая последние годы снова начала продаваться в бесчисленных маленьких частных магазинчиках, выросших, как грибы после дождя. Кипарисы за эти годы выросли, полностью скрыв от посторонних взоров хозяев маленького домика, но только вот долгожданной девочки, о которой вместе по вечерам мечтали Мария и Дамир, так и не появилось.

Наступил 1937 год. Люди с мебельной фабрике вдруг стали куда-то исчезать, как конфеты из вазы, стоящей в столовой в доме, где живут дети. Старики говорили, что солнце в этом году хоть и светит, но не дает тепла, как обычно, а Дамир, приходя на работу, стал все ниже склоняться над своими стульями и комодами, чтобы никто не мог видеть радость, постоянно светившуюся в его глазах. После

работы он спешил домой и, закрыв за собой дверь, наконец расслаблялся, и тревога постепенно покидала его.

- Идет самая страшная охота, Машенька, - тихо говорил он. - Охота на людей...

- Что будем делать? - так же тихо спрашивала Мария.

- Жить, - убежденно отвечал он, целую ее в красивые темные глаза. - И в связи с этим, Машенька, у меня к тебе есть предложение...

\*\*\*

Вот так они и очутились в кабинете директора детского дома номер 9. Детский дом в этом году испытывал небывалые трудности: не хватало парт, чтобы рассадить в классах детей, не хватало учебников, не хватало даже постельного белья и ботинок, которые всегда так необходимы для быстро растущих детских ног.

Дамир как-то предложил детскому дому помощь - изготовить парты для детей. Он договорился об этом на фабрике, которая не смогла отказать детскому дому, и вот тридцать великолепных парт теперь стояли и поблескивали новой краской во всех трех классах, где учились воспитанники - дети испанских коммунистов, приехавшие в СССР, чтобы спастись от ужасов испанской гражданской войны. Среди детей, показанных Дамиру и Марии, выделялась одна девочка: Сусанна Паула Суарес Фернандес, или просто Сусанна. Темноволосая, как Мария и Дамир, с черными цыганскими глазами, высокая и чуть-чуть сутулая, она им почему-то сразу приглянулась.

- Слишком много читает, даже по ночам, - неодобрительно сказал директор, но как раз это понравилось потенциальным родителям больше всего.

Директор пожал плечами, мол, это ваше дело, а я вас предупредил.

Испанских детей в семьи не отдавали, поэтому надо было найти какое-нибудь исключение. Дамир его быстро нашел, доставив на извозчике одному партийному работнику сервант из красного дерева, который отреставрировал собственными руками для себя лично.

- Вот и опять пригодилось мне то, чему отец когда-то научил, - сказал он, показывая Марии свою работу.

Мария счастливо улыбалась, прижимаясь к нему.



Когда партийный работник достал толстый бумажник, чтобы щедро наградить Дамира, он отказался от денег, намекнув, что ему нужна другая помощь в некоем небольшом, но очень благородном деле: усыновлении бедного ребенка, сироты, "по состоянию здоровья нуждающейся в особой заботе." Партийный работник понимающе кивнул, спрятал бумажник, и через несколько дней все документы на официальное усыновление Сусанны Фернандес были в полном порядке.

И тут пришла война, которую все давно ждали и все же не хотели верить, что она когда-нибудь все-таки начнется. Газеты каждый день писали о том, как успешно идет перевооружение армии самым современным оружием, как тверда и надежна дружба с Германией, которая никогда не нападет на СССР, но на душе у всех было почему-то туманно. Доходили слухи, что немецкие "Тигры" уже давно стоят у самых наших границ, готовые ринуться вперед в любую минуту, и что партийных работников и партийные архивы тайно эвакуируют из всех приграничных городов, а людям продолжают внушать, что Красная армия сегодня сильна, как никогда.

Вместе с войной пришел конец и безоблачному счастью, которым и Дамир, и Мария, а теперь и Сусанна наслаждались уже целых четыре года в своем маленьком доме, со всех сторон обсаженном цветами и кипарисами. Даже когда война уже началась, Киев некоторое время еще продолжал жить своей каждодневной жизнью, не веря, что такой город сдадут врагу. Советская пропаганда вещала, что хотя тяжелые бои идут прямо под Киевом, но враг уже остановлен, и что он не пройдет. И ни слова о том, что Киев был уже обречен.

В результате этой явно намеренной дезинформации, когда, 17 сентября 1941, наконец войскам был дан приказ отступать, жители бросились бежать из города в полном смятении, оставляя позади все, даже недоваренную в кастрюльке картошку. Войска, или, скорее, то, что от них осталось, отступали в не меньшем смятении, торопливо взрывая мосты через Днепр.

Дамир, Мария и Сусанна, как и все, оказались где-то за городом, в полях, то время как беспощадные "Мессершмидты" металась по безоблачному осеннему небу, как разъяренные гигантские пчелы, и осыпали металлическим ядом бегущих по земле маленьких и беспомощных людей.

В тот роковой день, 17 сентября, Дамир видел своими глазами, как сразу несколько немецких пуль ударили Марию в спину, одновременно взметнув в воздух три тоненьких струйки крови. Она как будто споткнулась, потом пробежала еще несколько шагов, и упала лицом вниз. Дамир закричал, как раненый зверь, бросился к ней, перевернул на спину. Мария была мертва, и только на губах застыла ее последняя ласковая улыбка, обращенная к нему...

Дамир лег с ней рядом на землю, уже не обращая никакого внимания ни на бегущих мимо людей, ни на крики раненых, корчившихся где-то совсем рядом в овраге, где они пытались спрятаться от жалящих железных пчел. Он лежал на земле, обнимая свою Марию и спрятав свое плачущее лицо у нее на груди. Так прошло, наверное, с пол-часа. Дамир не хотел ни подниматься ни куда-нибудь уходить: единственное, чего он желал - это остаться с ней здесь, навсегда.

Вдруг кто-то осторожно тронул его за плечо. Дамир поднял голову, и в глаза, красные и больные от пролитых слез, ударило яркое солнце. В потоке этого света, как будто принесенная им прямо с небес, стояла Сусанна.

- Папочка, - тихо сказала она. - Пожалуйста, вставай. Нам надо идти...

И Дамир пошел.

После того страшного воздушного налета, в котором погибла Мария, Дамир решил, что если куда-то бежать, так лучше это делать вдвоем. Немецкие летчики ищут и расстреливают только колонны беженцев, но не заметят, а если даже заметят, то не обратят никакого внимания на одиноко бредущих двух человек. Поэтому он решил идти только по тихим, часто заброшенным дорогам, хоронясь при звуках приближающихся "Мессершмидтов" в кустах или в лесу. Иногда им удавалось подъехать немного на попутных машинах, и вот, наконец, где-то через месяц Дамир с Сусанной добрались до Воронежа, который находился где-то в семистах километрах к востоку от Киева.

Фронт следовал за ними по пятам, канонада будила их по утрам, заставляя вставать и снова поспешно уходить все дальше и дальше на восток. Иногда им казалось, что фронт вот-вот догонит их, а потом не отпустит, не даст уйти, не заплатив еще одной жизнью, а может быть, и обеими жизнями вместе.

Но Дамир, стиснув зубы и крепко держа Сусанну за руку, как-будто боясь, что если он отпустит ее, то ненароком потеряет, как потерял Марию, которая тоже в тот проклятый день не держала его за руку... Поэтому он упрямо шел и шел на восток, туда, где война еще не побывала.

В один прекрасный день фронт вдруг остановился. Немцы, привыкшие к легким победам, вдруг выдохлись, как бегун, который всегда бегал только по ровным дорогам, и вдруг обнаружил, что теперь он бежит в гору. И чем дальше, тем круче становится эта проклятая гора: русские оказались намного страшнее, чем казались вначале. Они не собирались сдаваться и, когда-то казавшаяся легкой, победа над ними отдалялась все дальше.

Осень в 1941 году наступила необыкновенно быстро, а вместе с ней пришли и необычные для октября холода: злые, резкие, беспощадные. Старики говорили, что холод этот послал нам Бог, чтобы как следует наказать злых пришельцев и дать русским возможность оправиться от неожиданного нападения. Кто знает, может, это была истинная правда, но для Дамира, выросшего в теплой Сербии, этот холод оказался разрушительным, и чуть было не убил его той зимой. Наверное, Бог сжалился над маленькой Сусанной, уже настрадавшейся достаточно в чужой и холодной стране и не дал ей потерять обоих родителей: дал Дамиру отсрочку. Но именно в ту лютую зиму он начал тяжело кашлять.

Войну Дамир и Сусанна пережили в Воронеже. Едва только прибыв в город, Дамир где-то на вокзале познакомился с какой-то старушкой, у которой на фронте убило двух сыновей. Страдающая от одиночества и горя, она с радостью пустила к себе жить обстоятельного мужчину с красивой и хорошо воспитанной дочерью. Дамир, в благодарность, помогал старушке по хозяйству: пилил и колол дрова, носил воду из дальнего колодца, где вода не замерзала даже самой лютой зимой, а когда устроился на завод и стал получать хлебные карточки, приносил и выкладывал весь хлеб на общий стол.

Так они и прожили вместе все четыре года, пока, наконец, не закончилась война. Старушка так срослась с ними душой, так полюбила и Дамира, и Сусанну, что чуть не умерла от горя, когда он объявил, что пора им и честь знать, и надо возвращаться домой, в Киев. Чтобы не обидеть старушку, Дамир утаил от нее свои

настоящие планы: на самом деле, в Киев он ехать просто не мог. Именно там прошли самые счастливые годы его многострадальной жизни, поэтому взять и вернуться в домик, обсаженный кипарисами, в котором все напоминало бы ему о Марии, было невозможно, да и неизвестно, сохранился ли он, или сгорел от бомбежек, как почти весь Киев.

Он решил ехать и искать счастья в Ленинграде, тем более что Сусанна, настоящая испанка по крови, мечтала отправиться в университет и учить испанский язык, который за эти годы она практически совершенно забыла.

В Ленинграде спрос на мебельных мастеров оказался столь же высок, как и в других местах: после войны вновь стали нужны диваны, кровати, стулья, столы. Потеряв все, что было прежде нажито, люди стремились хоть как-то вернуть себе нормальную жизнь. Поэтому мебельные фабрики оказались одними из первых, что возобновили работу, как только стали возвращаться фронтовики.

Едва прибыв в Ленинград, Дамир легко нашел работу, а вот с общежитием все оказалось намного сложнее: хорошие комнаты, предназначенные для работников фабрики, бессовестно уходили "налево" - как оказалось, комендант общежития сдавал эти комнаты за деньги людям, не имевшим к фабрике никакого отношения. В результате такого распределения свободной жилплощади тех, кто трудился на фабрике, распахивали, как селедок, по каким-то маленьким, темным и дурно пахнущим углам.

Душа Дамира переполнилась горечью, когда он узнал, какие грязные дела творятся за спинами ничего не подозревающих честных тружеников. Он написал жалобу в партийный комитет завода, но ответа на нее не получил. Тогда Дамир отнес свою жалобу сам и передал лично в руки секретарю, получив обещание, что с безобразием в общежитии будет покончено. Через несколько дней из парткома прислали несколько "краснолицых", с выступающими вперед животами, чиновников.

"Ну, эти-то точно здесь порядок не наведут!" грустно подумал Дамир. Оказалось, что навели. Коменданта общежития арестовали прямо на следующий день.

Комнаты его тщательно обыскали люди в черных костюмах и с озабоченными лицами. Оказалось, что в двух комнатах коменданта золота и различных

драгоценностей было столько, что можно было бы открыть небольшую выставку в Русском музее.

Пока комнаты обыскивали, комендант скорчившись сидел на стуле и смотрел в окно с отрешенным лицом, а когда его, уже в наручниках, вели по коридору у всех на виду, он вдруг застонал и почти сразу заплакал. Больше его в общежитии никто никогда не видел.

Судьба, похоже, снова начинала поворачиваться к Дамиру своим счастливым лицом: после ареста коменданта, те же краснолицые чиновники назначили Дамира новым начальником общежития.

- На этом месте нужен честный человек, - сказал Дамиру один из них. - Вы явно заслуживаете доверия.

- А как же моя работа на заводе? - спросил Дамир.

- Общежитие - это тоже трудовой фронт, и очень нелегкий. А с вашей работой на фабрике мы все уладим, - ответил он.

- Нам, однако, приятно слышать, что вы радуете прежде всего за дело, а не за свой карман, - добавил другой, тоже краснолицый, чиновник. - Похоже, что мы действительно не ошибемся, назначив вас комендантом.

На следующий день Дамир переехал в комнаты, принадлежавшие коменданту, уже бывшему. На самом деле, это когда-то была одна очень большая комнату, которую разделили деревянной стеной пополам, сделав в перегородке дверь, и таким образом образовалась хорошая двухкомнатная квартира. Дамир и Сусанна несколько дней мыли полы, стены и большие закопченные окна, чтобы сделать это жилище своим новым домом. Мебель покупать не пришлось: тот же краснолицый чиновник, который предложил Дамиру новую работу, похлопотал, чтобы ему оставили всю мебель прежнего коменданта.

Став начальником общежития, где проживало без малого почти триста человек, Дамир прежде всего выселил всех тех, кто проживал в общежитии незаконно, за взятки. Их оказалось немало. Большинство из них выехало молча, другие пытались предложить деньги, чтобы их оставили в покое; нашлись, однако, и такие, кто грозился пожаловаться. Дамир был непреклонен: все, кто не работает на заводе, должны покинуть общежитие, и точка.

В освобожденные комнаты он прежде всего переселил семьи с детьми. Люди вздохнули свободнее, и в коридорах, которые Дамир перекрасил из темно-зеленого в нежно-голубой цвет, стали все чаще появляться улыбающиеся лица, и с каждым днем все больше.

Дамир явно решил устраиваться на новом месте надолго: война уже два года как закончилась, на дворе стояла весна 1947-го, а на улицах Ленинграда, как обычно, снова летел тополинный пух. Сусанна, за эту пару лет превратившаяся в настоящую красавицу, готовилась к экзаменам в университет.

На двери своей комнаты, служившей одновременно и рабочим кабинетом, Дамир повесил табличку: "Прием посетителей: Понедельник - Пятница, с 18.00 до 20.00", и каждый день в назначенное время сидел за рабочим столом и терпеливо выслушивал жалобы и просьбы, делая какие-то пометки в своем блокноте, который всегда теперь носил с собой в нагрудном кармане.

Меньше чем через три месяца общежитие стало настоящим домом для всех тех, кто пришел сюда, чтобы начать новую жизнь. Каждое утро Дамир брился, одевал самое лучшее, что у него было, и куда-то уходил. Куда он ходил, никто не знал, но почти никогда он не возвращался с пустыми руками: он то приносил целый чемодан водопроводных кранов, то сумку с лампочками. А иногда вдруг приезжал грузовик и начинал разгружать новые столы, стулья, и даже прикроватные тумбочки. Все это он немедленно распределял между не верившими своему счастью жильцами, требуя от них только одного обещания: обращаться с новой мебелью аккуратно. Теперь в общежитии на каждом этаже в любое время суток работал душ, из каждого крана лилась вода, а туалеты перестали дурно пахнуть. Даже старые двери, которые раньше скрипели так, будто кто-то сладострастно выкручивал им суставы, вдруг замолчали и стали открываться и закрываться совершенно бесшумно.

Однажды Дамир, как всегда, принимал посетителей. Была пятница, и часы показывали без четверти восемь. За этот вечер не было ни одного посетителя.

Дамир сидел за столом и при свете настольной лампы под зеленым абажуром читал книгу своего земляка – сербского писателя Иво Андрича. Вдруг почти неслышно приоткрылась дверь.

- Можно?

Дамир вздрогнул при звуке этого голоса: он прозвучал, как будто из далекого прошлого... Ему вдруг показалось, что в комнате запахло кипарисами.

Он поднял голову. Перед ним стояла молодая женщина до боли в глазах похожая на Марию, и держала за руку дочь.

Дамир поднялся из-за стола и сделал несколько шагов к ней навстречу.

- Можно. Вы... - он споткнулся на полуслове и еле-еле закончил свой вопрос. - ...по поводу комнаты?

Она кивнула, потом радостно улыбнулась и тоже шагнула вперед. Свет лампы осветил ее лицо - красивое, с правильными линиями точеного носа, и глаза... темные и глубокие, как океан.

- Вас... как зовут? – выдохнул Дамир.

- Мария, - прозвучало в ответ.

\*\*\*

Ровно через месяц они поженились. На свадьбу, хотя Дамир никого не приглашал, заглянули почти все, кто жил в общежитии: весь вечер кто-нибудь стучал в дверь, поздравлял, а некоторые даже дарили маленькие подарки. Дамир, в конце концов, просто оставил дверь открытой: мол, заходите все, кто желает.

А молодожены сидели за столом, держа друг друга за руки, как будто они наконец встретились после долгой-долгой разлуки. Мария вторая, как ее прозвала Сусанна, за этот месяц стала для нее не столько мачехой, сколько доброй подругой, а маленькая Катя, дочь Марии, стала младшей сестрой.

\*\*\*

Несколько следующих лет пролетели незаметно, в трудах и заботах. Сусанна поступила, как и мечтала, в Ленинградский университет, на испанское отделение. Она зачитывалась Сервантесом и Лопе де Вега, приносила из библиотеки книги об Испании и каждую субботу вечером отправлялась в Эрмитаж, где часами простаивала перед полотнами Сурбарана, Риберы и Мурильо. Испанский, как и следовало ожидать, бурлил у нее в крови.

Дамир продолжал руководить общежитием, а Мария вторая заботилась о доме. После того, как они поженились, Дамир не разрешил ей вернуться на мебельную фабрику, в лаковый цех, считая, что это вредно для ее здоровья. Все повторялось с той же поразительной точностью, как это было пятнадцать лет назад, в Киеве, с Марией первой. Иногда Дамир почти со страхом начинал сравнивать свои две жизни, и тут же гнал от себя эти мысли, как только мог. Но какое-то тяжелое чувство посещало его все чаще и чаще.

Катя, которую Дамир с готовностью удочерил, ходила в школу и радовала всех своими хорошими оценками и переливчатым смехом. Жизнь налаживалась, обещая стать еще лучше. Но однажды ночью в дверь постучали...

На дворе был 1951 год. Война осталась далеко позади, но в воздухе вдруг снова запахло грозой: начиналась новая волна арестов, и с каждым днем ситуация все больше и больше напоминала 30-е годы. Стало ясно, что пока страна после тяжелой войны пыталась вернуться к нормальной жизни, в кабинетах НКВД не прекращалась работа по выявлению "шпионов" и "невозвращенцев". Дни и ночи шуршали бумагами бесчисленные агенты, пытались отыскать тех, кто все эти долгие годы считался "пропавшими без вести". В НКВД знали, что среди тех, кого в 1945 случайно освободили союзники-американцы, было достаточно таких, кто, зная о продолжающихся репрессиях, решил не возвращаться на родину. Одним из этих "невозвращенцев" оказался и бывший муж Марии второй - Виктор Морошин. Именно по этой причине люди в черных костюмах стояли сегодня у Дамира в дверях. Не отвечая на вопросы, с каменными и озабоченными лицами, они прошли в комнаты и долго рылись в личных вещах Марии, в книгах Сусанны, небрежно выворачивая все на пол. Потом даже просмотрели рабочие записи Дамира. По их разочарованным лицам было очевидно, что ничего из того, что искали, они не нашли. Несмотря на это, Марию они арестовали, как бывшую жену "предателя родины", и увезли.

После ее ареста Дамир впал в глубокую депрессию: третьего удара по своему семейному счастью он выдержать уже не смог. Силы вдруг покинули его: он перестал выходить из комнаты, целыми днями сидел на диване, уставившись глазами в одну точку и невпопад отвечая на вопросы. Однажды, вернувшись домой



со школы, Катя принесла ему в комнату его любимые чипавчичи, приготовленные Сусанной, и застыла на месте: Дамир заснул, чтобы больше никогда не просыпаться. Он умер тихо, как и жил, никого не беспокоя: в то самое время, пока Катя была еще в школе, а Сусанна в университете. Месяц назад ему исполнилось всего пятьдесят шесть.

Декабрь 1982

Стивен и Ирина

Наконец, пришла следующая долгожданная пятница. За эту неделю дела у Леночки, дочери Юрия, пошли намного лучше, и прогнозы на полное восстановление после операции стали оптимистичными. Юрий посветлел лицом и, несмотря на возраст, почти порхал по воздуху от счастья.

Зигрида почти все дни проводила в больнице, откуда приходила усталая, но счастливая, и за ужином рассказывала Юрию, о чем они с Леночкой болтали сегодня, чем занимались, о чем мечтали. С собой она приносила разные смешные рисунки - "для любимого папы". Юрий долго любовался на них, гладил их рукой, как драгоценную книгу, и иногда даже плакал, но теперь уже от радости.

За эту неделю Стивен многое сделал: он перевел и аккуратно переписал все страницы, которые оставила ему Ирина, сверяя их со своим текстом, написанным на английском. Потом, как они и договаривались, он сжег все страницы, написанные Ириной по-русски, в большой железной миске, которую он купил специально для этого, а пепел спустил в туалет.

Поначалу Стивен все посмеивался над Юрием и Ириной, постоянно предупреждавших его о том, что КГБ внимательно следит за ним, но в эту неделю он понял, что они были правы. Однажды, вернувшись в номер, он заметил, что газеты в мусорном ведре лежали совсем не так, как он оставил их утром, а ящик стола, где всегда лежали все его документы и билеты на самолет, был слегка приоткрыт. Кто-то однозначно побывал в его комнате, и этот кто-то явно хотел

выяснить, чем займется американский гость в свободное время. К счастью, подумал Стивен, он ничего уже не нашел.

После этого инцидента Стивен решил, что вообще ничего в номере он оставлять больше не будет, а будет забирать все записи с собой: было бы очень обидно если, по каким-то неведомым причинам, вдруг вот так просто взяла бы и погибла вся сделанная работа.

- Ну что, начнем? - спросила Ирина, входя в комнату. Стройная, порывистая, в длинном платье, облегающем фигуру... Она сегодня вечером была какая-то совершенно другая.

- Конечно. За работу, - ответил Стивен. - Нашему собеседнику из прошлого сегодня не терпится рассказать нам что-то очень интересное...

- Это он тебе сказал? - улыбнулась Ирина.

- Ага. Мы с ним тайно беседовали по ночам целую неделю; он обещал нас не разочаровать.

И Стивен нажал кнопку магнитофона.

1918 – 1923

Бахов

"Я всегда искренне сожалел, что не имел а, может быть, не нашел возможности лучше познакомиться с Шагалом... Тогда я смог бы рассказать вам о нем намного больше.

Но зато Малевич стал моим близким другом. Он также чрезвычайно сблизился с моей женой, Оленькой, которая очень высоко о нем отзывалась, называла его "наш гений", и любила приглашать его на вечерний чай.

В училище, куда, кстати, меня пригласил работать именно Шагал, я все те годы преподавал античную литературу, эстетику и немецкий, который знал очень неплохо. Кажется, иногда я преподавал и что-то еще, но сейчас уже не помню что... Именно в училище я и познакомился с Малевичем. На работе у нас обычно не было времени поговорить о наших увлечениях, поэтому мы и придумали наш "вечерний

чай" - five o'clock tea - как он говорил. Таким образом мы и начали регулярно собираться у меня дома.

Я как сейчас вижу, как мы сидим на нашей веранде, увитой плющом, как подъезжает повозка, а из нее выскакивает Малевич... Он ненавидел приезжать с пустыми руками: он то приносил цветы для Оленьки, то какие-то заморские сладости, а то - книгу. Любовно поглаживая корешок, он нам докладывал, что вчера весь вечер читал ее, потом думал, потом опять читал, и вот принес ее нам - чтобы мы тоже могли почитать и подумать.

Оленька смеялась и приглашала его к столу. Потом она приносила ароматное малиновое варенье, резала белый хлеб, который испекла утром, а Малевич, всегда голодный, как и положено гению, сладострастно намазывал хлеб маслом, потом вареньем и, откусив кусочек, прикрывал глаза от удовольствия. Он удивительно умел наслаждаться в этой жизни всем, даже простым чаем с малиновым вареньем. Малевич, насколько мне известно, никогда не закончил ни одного официального учебного заведения но, несмотря на это, был очень образован и чрезвычайно начитан. С ним было ужасно интересно разговаривать, потому что он всегда и обо всем имел свое и, надо признать, очень необычное суждение. Это его суждение могло кому-то не нравиться, могло кого-то даже раздражать, но его было невозможно отбросить, невозможно игнорировать... Ученики на него просто молились: он был для них как Бог... Вот такая сильная и оригинальная личность. В течение нескольких лет наша жизнь в Витебске текла плавно и спокойно, как Волга. Здесь, в этом маленьком городе на самом краю бескрайней России, каждый член моей семьи легко смог найти работу, и хорошо оплачиваемую работу. И я, и мои сестры, мы все свободно говорили по-немецки и по-французски, и здесь, в Витебске, где всегда было много образованных людей, наши знания наконец оказались чрезвычайно востребованы.

Витебск всегда был очень интересный город. Здесь жило много евреев, которые обосновались в этих местах много поколений назад, но также в нем было и много других наций, и все они каким-то образом прекрасно уживались. Своего рода средневековый Толедо... Ну, понятно, что там где много евреев, там всегда все есть. То есть, в Витебске даже в то тяжелое время, можно было купить или достать

практически все. Даже если чего-то не было, то все равно это можно было найти. Да... И это, на самом деле, очень хорошо.

Часто нам казалось, что большевиков из Москвы и Петербурга уже выгнали какие-нибудь добрые инопланетяне, или они просто исчезли, как исчезают страшные ночные тени на восходе солнца. Но приходили свежие газеты - и увы... они были все еще там. Более того: медленно, но верно, они приближались и к нашему городку.

Я помню, что они появились у нас весной 1923 года. Сперва по городу промаршировали какие-то люди в черных кожаных куртках. Было совершенно очевидно, что они страшно гордились этими куртками, перетянутыми на поясе толстыми ремнями. Появись они так на улицах где-нибудь еще в 1916-м году, они выглядели бы просто смешно: как какие-то клоуны, играющие пришельцев с Марса. Но сейчас они уже не выглядели клоунами: на боку у них висели пистолеты, лица были злые и обветренные, с красной кожей, раздраженной то ли ветром, то ли неумеренным приемом алкоголя. Как бы там ни было, их появление в городе не предвещало ничего хорошего, и в этом, к великому нашему сожалению, мы не ошиблись.

Первым делом, и непонятно зачем, они закрыли городской рынок, куда весь город ходил за свежими овощами, мясом, яйцами и молоком. “Кожаные куртки” изгнали его, как антипролетарский пережиток прошлого.

- Скоро в наших магазинах все будет, - пообещали они. - И по нормальным ценам, а не как у этих, как их там... спекулянтов.

Обещаний своих они, конечно, не выполнили: в магазинах скоро исчезли даже те немногие вещи, которые были всегда: мыло, соль, сахар и, как ни странно, перловая крупа. Магазины стояли пустые, грустя по прежним и, похоже, навсегда ушедшим временам, а рынок, наоборот, даже повеселел: там, как и прежде, было все, что душе угодно, но теперь - дорого. Люди, обескураженные такими переменами, стали звать рынок "черным".

Потом “кожаные куртки” заинтересовались классической музыкой. Надо отдать им должное, что, перед тем как навсегда закрыть консерваторию, они всей толпой, не снимая курток и в сапогах, перемазанных глиной от весенней распутицы, пришли

послушать оперу в консерваторский театр. Я помню тот день очень хорошо: давали "Волшебную флейту" Моцарта, а дирижировал директор консерватории - Николай Малько. Куртки сидели на первом ряду, выпучив глаза, пытаясь не заснуть, но двое или трое из них все же не выдержали: безвольно уронив коротко стриженные головы себе на грудь, они погрузились в сон, тихо посапывая носами. После концерта они все вместе прошли за сцену и объявили труппе, что репертуар необходимо обновить, сделать его, так сказать, более современным то форме и пролетарским по содержанию. Да, именно так они и сказали Николаю Малько...

- А то играете тут каких-то Моцартов, - сильным голосом прошелестела одна из курток. - Никому он больше тут не нужен.

Для вящей убедительности куртка подняла палец вверх и, немного подумав, добавила.

- Вот Интернационал - совсем другое дело. Вот это - настоящая музыка!

И они ушли.

После этого Малько, который тоже несколько лет назад приехал в Витебск из Петербурга, где почти сразу после октябрьского переворота перестал работать Мариинский театр, заметил:

- Мне кажется, нам пора отсюда уезжать. Сейчас эти негодяи смеют говорить в подобном тоне о Моцарте, но это, боюсь, только начало. Такие люди никогда не останавливаются на достигнутом.

Труппа стояла вокруг него, понурив головы: всем было грустно и страшно.

Некоторое время спустя Николай Малько действительно уехал. Я потом слышал, что его пригласили в Австралию, где он возглавил национальный оркестр. Я до сих пор помню его последнее выступление в Витебске: он дирижировал "Свадьбу Фигаро" Моцарта. Это было великолепно! После спектакля все плакали, обнимали, пожимали руки и желали ему все самого лучшего... Замечательно было еще и то, что на его прощальный концерт ни одна кожаная куртка не пришла...

Малько был совершенно прав: "кожаные куртки" действительно не остановились на достигнутом. Всего через пару недель после развала консерватории, они закрыли синагогу, а потом и старую, как мир, православную церковь, которую, по легенде, посетил когда-то сам Петр Великий. Как-то вечером, на исходе дня, когда

тени сумерек уже поползли по земле, к одинокой церкви крадучись подошли трое, с молотком и гвоздями. Они как будто чувствовали, что задумали недоброе дело и что гнев небесный может поразить их за подобные злодеяния, и от этого они вжимали головы в плечи и сутулились. Но, несмотря на разъедающий душу страх, они все-таки тщательно заколотили дверь церкви гвоздями, а потом, видимо, на последний оставшийся и совсем кривой гвоздь, повесили объявление, написанное с двумя грамматическими ошибками: "Зокрыта".

После отъезда Шагала, художественная академия просуществовала еще несколько лет, но этими годами она была обязана исключительно Малевичу. Он был не только умный человек, Малевич... Я думаю, что было в нем что-то такое особенное, то, что подчиняло себе людей, заставляло их влюбляться в него и в его искусство. Я уж не знаю как, но он без труда убедил "кожаные куртки", что революция остро нуждается в искусстве, и особенно - в его, Малевича искусстве. Самое удивительное, что они ему как-то сразу поверили.

Помню, однажды он нарисовал какой-то плакат: на красном фоне острый синий треугольник врезается в белый пузырь. Никто ничего, конечно, не понял, но кто же решится при всех признаться в своем невежестве?

Когда "черные куртки" пришли принимать его работу, они сначала замерли в недоумении: что же это такое, и как это понимать? Потом все дружно насупили брови и стали обмениваться мнениями. А Малевич стоит рядом с ними, спокойный такой, полный достоинства и уверенности в своей абсолютной гениальности, и курит...

Они то на плакат посмотрят, то на него, и вдруг понимают: да, перед ними и впрямь настоящий гений! Заплатили ему за плакат очень много денег... да. Я это знаю, потому что он потом к нам с Оленькой пришел на чай, накупил много разных сладостей... Сказал, что теперь он нас будет угощать. А когда ушел, под вазой мы нашли деньги, оставленные Малевичем. Там было больше, чем я зарабатывал за целый месяц...

Скоро нам все-таки пришлось покинуть Витебск и вернуться обратно в Петербург. Несмотря на то, что каждый перезд всегда тяжел, мы, наверное, были даже рады: ведь именно в Петербурге осталось наше сердце... Конечно, если бы мы знали, что

ждет нас там совсем в недалеком будущем, мы бы, наверное, и не уехали из Витебска... Но кто же знает, что ожидает нас впереди пути?

Уже будучи в Лениграде (так стал называться Петербург после смерти Ленина в 1924), до нас дошли слухи, что Малевич переехал в Москву. После его отъезда из Витебска, художественное училище почти сразу закрыли, хорошую мебель, которая там была, вывезли неизвестно куда, а мольберты, кисточки, краски и все оставшиеся холсты сожгли... А еще через пару лет до нас донеслась и вовсе ужасная весть: был убит лучший профессор этого училища и учитель Шагала - Ягуда Пен. Я навсегда запомнил это милейшего человека, лет восьмидесяти, который даже в самые жаркие дни всегда носил свою черную широкополую шляпу и галантно придерживал дверь студентам.

Его нашли в собственном доме, где он тихо жил, вдали от всех, в том числе и от революции. Кто-то подошел к нему сзади и проломил ему голову топором... Все выглядело как обычное ограбление, так как деньги, которые он копил и берег для своей дочери-инвалида, которая жила в Минске, исчезли.

Характерно, что местная милиция даже не стала расследовать это дело: просто сказали, что Ягуда был убит яркими врагами социализма, каковых, оказывается, всегда было полно в Витебске, и которые после ограбления сбежали в Польшу. Конечно, все это была ложь..."

Декабрь 1982

Дима

Дима, сидевший в задумчивости у окна и наблюдавший, как медленно кружится и падает предновогодний снег, повернул голову к Лине Павловне, входящей в комнату.

- Мама, что бы ты сказала, если бы я написал книгу о том, что видел и испытал в Афганистане? Люди должны узнать правду. То, что там происходит - ужасно, тупо, бесчеловечно. Мне кажется, я бы смог об этом хорошо написать....

Она подошла к сыну и нежно погладила его по голове.

- Я думаю, что это очень хорошая идея, сынок.

Целыми днями он сидел перед окном, на старом инвалидном кресле, которое социальная служба выделила ему вне очереди, как инвалиду войны, и смотрел за горизонт. Сердце у Лины Павловны разрывалось на куски, когда она смотрела на сына в этот момент, но еще больше ее пугало выражение его лица, в котором не осталось ничего, кроме тоски и страха перед неизвестностью, ожидающей его, двадцатилетнего инвалида.

От этого выражения ей хотелось плакать. Она подходила к сыну, гладила его по голове, и молчала. Никакие слова не смогли бы выразить ее любовь лучше, чем говорила ее рука, рука скорбящей матери. Дима все понимал: он не жаловался, он просто думал, как жить дальше.

Последний месяц к ее беспокойству прибавилось и то, что Дима, теперь не имевший возможности выходить на улицу, сильно страдал от вынужденного одиночества. Их квартира располагалась на последнем пятом этаже старого дома, в котором никогда не было лифта.

Лина Павловна попыталась решить вопрос об их возможном переселении куда-нибудь на первый этаж, где ее сыну, теперь инвалиду войны, было бы возможно хоть как-то, но выбираться на улицу самостоятельно, но попытки ее не увенчались успехом. Поэтому, услышав что, наконец, ее сын начинает возвращаться к подобию нормальной жизни, сердце ее забило от неудержимой радости.

- Да, сынок, - повторила она. - Я действительно думаю, что это прекрасная идея. Он отъехал на кресле от окна и, толкая руками колеса, направился к письменному столу.

- Как хорошо, что тебе это нравится, мама, - оживился Дима. - Я тут сегодня ночью набрасывал план, - продолжал он, торопливо перебирая какие-то бумаги, - и мне кажется, из всего этого может получиться совсем неплохая повесть или рассказ.

Лина Павловна почувствовала, что сердце ее бьется быстрее и быстрее - от какого-то необъяснимого, но приятного волнения. Повесть об Афганистане? И как раз в самой разгар этой ужасной войны? Но каким образом объяснить эти опасения сыну, для которого эта повесть может стать единственным якорем, привязывающим его к жизни?



- Сынок, ты, надеюсь, понимаешь, что это будет непросто... - задумчиво и немного грустно сказала она.

- Я все знаю, мама, - так же тихо, ей в тон ответил он. - Там сейчас война, и ты даже себе не представляешь, какая она... Я знаю, что они не захотят печатать мою повесть *здесь*.

Он отчетливо выговорил это слово - *здесь*.

- Но мы все равно должны попробовать, сынок, - сказала Лина Павловна. - Если ты чувствуешь, что у тебя есть, что сказать, то ты должен, просто обязан это сделать. А об остальном мы подумаем потом, когда придет время.

Дима обнял мать, нежно обхватив ее обеими руками посередине груди - там, куда мог достать со своего инвалидного кресла.

- Какая же ты у меня все-таки хорошая, мамочка! - сказал он. - Ну, не плачь, пожалуйста! Лучше давай-ка поскорее ужинать, а то мне кажется, что я голоден, как медведь после зимней спячки.

30 декабря 1982

Стивен и Ирина

- Я безумно рада, что наконец-то пришла наша пятница, - Ирина нежно обняла Стивена, едва только он снял запорошенное снегом пальто. - Я так рада тебя видеть...

- Ну что же ты не даешь своему гостю сначала раздеться? - послышался с кухни голос Лидии. - На улице такой мороз! Мне кажется, что это Снежная Королева разгневалась на нас и послала такие немислимые холода!

Лидия вышла в коридор, держа в руках кухонное полотенце.

- Проходите прямо на кухню, - добавила она. - У нас сегодня на ужин пельмени, ну а потом, как водится, чай с... - Она хитро прищурилась и взглянула на Ирину. - Только не помню, с чем....

Стивен, как оказалось, действительно сильно замерз. Он долго держал руки под горячей водой, отогревая покрасневшие от холода пальцы.

- Бабуль, мы сейчас быстренько поедим, и за работу, - сказала Ирина. - Работы еще очень много, а дней становится все меньше и меньше...

Она быстро взглянула на Стивена: отогрелся ли?

- Но сначала - обязательно пельмени! - шутливо сказала Лидия, и ушла на кухню.

- Я тоже очень рад тебя видеть! - сказал Стивен, проводя рукой по Ирениным волосам. - По правде сказать, я еле дождался сегодняшнего дня... Так хотелось просто позвонить... или взять и прийти к тебе без приглашения, чтобы просто увидеть...

Он улыбнулся теплой улыбкой, и легко пожал ей руку своей уже почти согревшейся рукой.

Было почти восемь часов, когда они, наконец, уселись за стол, разложили бумагу и включили магнитофон.

- Ну что, в путь? - спросил Стивен, улыбаясь.

- Поехали! - весело откликнулась Ирина.

1923-1924

Бахов

“Таким образом, в 1923 году мы вернулись обратно в Петербург. Конечно же мы знали, что уже несколько лет город носил другое, довольно странное для нашего уха имя, Петроград, поэтому мы продолжали называть его по-прежнему, Петербургом. Все эти годы нашего добровольного, но все же вынужденного пребывания в Витебске, мы мечтали о том дне, когда снова увидим Неву, отражающую в себе хмурое питерское небо, увидим Петропавловку и, конечно же, снова и не спеша пройдемся по Невскому проспекту, бегущему на свидание с неизменной Адмиралтейской иглой.

На первое время мы решили остановиться у наших хороших друзей, надеясь скоро подыскать удобную и недорогую квартиру. Жизнь, наконец, начала возвращаться в

Петербург: на проспектах снова появились трамваи, которые почти сразу исчезли после октябрьского переворота. Люди вновь начали толпиться на остановках, обсуждая, как прежде, в старые добрые времена, последние новости. Правда, чем дальше, тем тревожнее эти новости становились.

По городу ходили упорные слухи, что Ленин в Москве очень плох и больше не способен руководить ни партией, ни страной. Говорили, что у него был инсульт, и что он теперь даже не в состоянии нормально говорить. Еще поговаривали о каком-то Сталине, никому не известном. О нем знали совсем немного, да и то лишь плохое: в юности он много хулиганил где-то на Кавказе, потом много сидел в разных тюрьмах, где и сдружился с большевиками. В какой-то момент он вдруг стал им полезен, потому что знал, где можно достать деньги. Слухи утверждали, что он - самый непредсказуемый и самый опасный человек в окружении Ленина, но что почему-то именно ему поручили опекать Ильича в последние дни его жизни. В это-то самое время он и поднялся...

Большевики всегда скрывали правду, как от нас, так и от всего остального мира. Но обмануть людей все-таки сложно: так или иначе, но каким-то непостижимым образом люди всегда знают больше, чем им способны рассказать любые газеты. Так, переходя из уст в уста, правда донеслась и до нас.

Так мы узнали, что в 1921 году Россия буквально захлебнулась в собственной крови: по всей стране восставали обезумевшие от голода и ярости крестьяне, убивая всех тех, кто пытался отобрать у них выращенный собственными руками хлеб. А в 1921 взбунтовались моряки Кронштадта. К этому моменту большевиков, кажется, ненавидели уже абсолютно все...

Они поняли: еще один шаг не в том направлении, и все, и волна людского гнева выбросит их за борт истории, которая напишет о них грустную сагу о страшных временах, когда реки покраснели от пролитой крови...

Ленин все-таки был далеко неглупый человек. О нем можно говорить и думать все, что угодно, но нельзя не признать, что он был и умен и хитер одновременно. Он понял, что если сейчас не отступит, то очень скоро будет распят на кресте. И он отступил. Чтобы успокоить страну, он объявил о начале новой экономической политики. Я не специалист и не хочу судить о том, чего не знаю, но скажу, что

политика его сработала: снова открылись магазины в которых появились продукты. Поэтому к 1923 году, когда мы вернулись в Петербург, в городе работали театры, бегали трамваи, и вообще бурлила культурная жизнь.

К сожалению, мы не нашли Петербург тем, каким он всегда был: за эти несколько лет он очень изменился. Его и без того всегда хмурое небо стало еще мрачнее, а солнце почему-то стало холоднее. По крайней мере, нам всем так казалось.

Еще мы не нашли многих своих друзей. Кто-то, как нам сказали, уехал в Европу, кто-то просто пропал. От этого стало одновременно и грустно, и одиноко, и неуютно. Неуютности еще добавляли грязные улицы. Да, грязь бросалась в глаза, и была она абсолютно везде: на улицах, в общественных туалетах, в парках, на площадях. Но больше всего грязи было на вокзалах, где люди почему-то вдруг стали очень похожи на маленьких черных муравьев: они постоянно куда-то бежали, что-то тащили, куда-то торопились. Казалось, что за этой постоянной суетой у них больше не осталось свободного времени, чтобы просто наслаждаться этой жизнью.

Друзья наши, у которых мы остановились, помогли нам найти небольшую квартиру. Это, к нашему удивлению, оказалось совсем непросто. Дело в том, что после революции большевики стали проводить политику так называемых "уплотнений", то есть, попросту незаконно вселяли каких-то непонятно откуда взявшихся голодранцев в чужие большие и комфортабельные квартиры. Вы, я думаю, легко можете себе представить, как бы вы себя чувствовали, если бы по вашей квартире ходили какие-то совсем чужие люди и даже называли ее своей. Чаще всего под эти "уплотнения" попадали состоятельные и глубоко уважаемые люди, доктора, например, или юристы. В один прекрасный день к ним в квартиру вдруг грубо вторгались какие-то люди в черных кожаных куртках с револьверами на поясе и говорили, что им, так сказать, надо "уплотниться", то есть пустить жить в свою квартиру три, четыре, а иногда даже пять семей: каждой семье - по комнате. Ну а им, как бывшим хозяевам, так и быть пока оставят две комнаты. Конечно, было много проблем...

Вполне естественно, что после подобных переселений в Петербурге осталось очень мало приличных квартир хотя, в конце концов, нам наконец удалось найти одну

небольшую и довольно чистую. Она располагалась прямо в центре города, недалеко от Казанского собора. Хозяин той квартиры, хитрый и осторожный торговец, чех по национальности, каким-то образом сделал так, что его квартиру не тронули. Он был очень рад, что снимать эту квартиру у него будем именно мы.

- В Петербурге после этой, так называемой, революции, - сказал он, быстро пересчитав деньги и положив их в карман, - почти не осталось настоящей интеллигенции. Все сбежали. А я с неинтеллигентными людьми дела иметь не желаю. Да-с... Так что буду ждать, когда большевиков наконец из Кремля выгонят туда, куда им и дорога....сами знаете куда!

Он хитро улыбнулся, и поменял тему.

- А вам, господа, я очень и несказанно рад: сразу видно, настоящая интеллигенция. Даже как-то хорошо на душе стало, как будто в прошлое заглянул. Ностальгия... Да-с...

Мама с сестрами сразу же принялись за работу: стали давать частные уроки немецкого и французского. Как ни странно, спрос на иностранные языки в городе оказался невероятно высок: как нам объяснили, со смертью Ленина многие готовятся покинуть страну, боясь будущих возможных перемен.

Моя ситуация была иная: хотя с детства я довольно свободно разговаривал на нескольких языках, у меня никогда не было ни желания, ни таланта языки преподавать. Поэтому я почти сразу же отправился в университет, надеясь повидать моего учителя, профессора Зелянского и узнать, не найдется ли в университете место и для меня - преподавать классическую философию и литературу.

Зелянский, к слову сказать, был одним из тех редких профессоров, которых боготворят и обожают студенты, но ненавидят коллеги. Ненавидят, понятно, от скорбной зависти к их неоспоримому величию и оглушительному успеху.

Зелянский, к примеру, не только свободно говорил по-гречески и на латыни, но помнил всю классическую литературу и мог легко процитировать что-нибудь из Горация, или из Овидия, или из Катулла...

Не удивительно, что на его лекциях студенты толпились вдоль стен, как пчелы вокруг улья, ибо за партами свободного места никогда не было. Я сам видел, как

студенты клали тетради друг другу на спину, чтобы записывать его лекции... Это было действительно прекрасное время - время, когда у людей еще оставалось желание прикоснуться к мудрости древнего мира.

Я был почти уверен, что Зелянский, всегда считавший меня одним из своих лучших учеников, сможет помочь мне получить хоть какую - нибудь позицию в университете. К сожалению, я ошибся.

Как оказалось, Зелянский уехал в Польшу через год после большевистского переворота, то есть в 1918 году. Советская власть, кажется, сделала все возможное, чтобы избавиться от неудобного профессора, который был одним из тех, кто громко протестовал против переворота, и особенно против большевиков, называя их "крысами", "короедами", и как-то там еще.

Большевики, придя к власти, ему это припомнили: сперва Зелянскому перестали давать академический паек, без которого было трудно, почти невозможно выжить в голодном 1918-м году. Но и это было только начало: скоро люди в черных кожаных куртках пожаловали к нему в квартиру, в роскошную пятикомнатную квартиру на Английской набережной, с видом на Неву и Петропавловскую крепость, и вселили туда три семьи каких-то голодранцев, приехавших в Петербург в поисках непонятно чего...

Скоро наступили ужасные холода, и эти люди, когда профессора не было дома, разрубили на куски его концертное пианино Bluthner и стопили его в печи, как дрова.

Несколько дней спустя из его комнаты исчезли все серебряные столовые приборы, затем исчезли тарелки, изготовленные на знаменитой фарфоровой мануфактуре Александра III. Потом стали исчезать книги. Когда в один прекрасный день Зелянский обнаружил на кухне том Плутарха, уже растерзанный и готовый к сожжению в печи, он понял: это конец. Пора уезжать.

Как гражданину Польши, ему не требовалось специального разрешения на выезд из страны, поэтому сборы его не были долгими. На границе его деловито обыскали, причем, довольно неприличным образом, потом вывалили все, что было во всех трех чемоданах прямо на пол, порылись в вещах и, как попало, засунули все обратно. После этого вернули паспорт.

- Проваливай отсюда, буржуй поганый! - напутствовал его какой-то коротышка лет двадцати пяти, в потертой кожаной кепке, надвинутой на одно ухо. Так завершились двадцать лет, которые он прожил в России..."

\*\*\*

- Стив, - Ирина в бессильном отчаянии опустила руки на колени. - Но ведь это так страшно - все, о чем он тут говорит.

В голосе ее звучало искреннее страдание.

- И если все это правда, - а я уже не сомневаюсь, что так оно и есть - отвратительно то, что мы ее *здесь* никогда не слышали. Боюсь, что и не услышим... Ее глаза наполнились слезами.

- Я тебя понимаю, - тихо сказал Стивен. - Для меня эти записи - тоже откровение. Лосин говорил мне, что если мне когда-нибудь удастся их услышать, они, весьма возможно, изменят всю мою жизнь. Так и случилось...

Он помолчал и коснулся руки Ирины.

- Уже изменили, - сказал он, глядя ей в глаза. - И изменили навсегда...

- И мою тоже, - совсем тихо, почти шепотом, сказала она и покраснела.

Потом сжала его руку.

- Давай послушаем еще одну кассету? – она помолчала мгновение, и добавила. - Не хочу, чтобы этот вечер кончался...

Стивен кивнул.

\*\*\*

“Все это я, конечно же, узнал от коллег Зелянского. Их в университете осталось совсем немного: кто-то уехал, а кто-то уже успел и умереть. Остались самые стойкие. Они-то и рассказали мне всю эту историю. Рассказали шепотом, добавив, что теперь здесь "даже стены имеют уши".

Должен признаться, я покинул свою альма-матер в подавленном настроении и, если бы не мама, даже не знаю, как бы я все это пережил.

- Ничего, сынок, - утешала она меня. - Помнишь, как это там и Ницше?.. "То, что не убивает нас, делает нас сильнее."

И она гладила меня по голове, как в детстве, когда я прибежал к ней в кровать после того, как увидел какой-нибудь дурной или страшный сон.

- Мы все живы, сынок, и мы все вместе. Как-нибудь вместе одолеем и это.

Мама была права, и спасение, как всегда, пришло неожиданно: мой давний друг, Лева Полянский, умнейший и достойнейший человек, организовал для меня серию лекций, да еще устроил это так, что я мог делать это прямо у себя на дому.

Я не знаю, что он там обо мне такого наговорил, но скоро к нам в дом по пятницам со всего Петербурга стали съезжаться разные люди и, должен вам сказать, самые что ни на есть интеллигентнейшие люди.

Они приходили по шесть, а иногда даже по десять человек, чтобы просто послушать мои лекции по немецкой философии: метафизику Канта, диалектику Гегеля и, конечно же, нигилизм Ницше... Я, разумеется, не просил у своих слушателей никаких денег, но они все понимали. Так я тоже стал понемногу зарабатывать. Жить стало легче, но самое главное было то, что я снова стал чувствовать себя нужным.

Здоровье мое в сыром и дождливом Петербурге, к сожалению, не улучшилось, и это, пожалуй, было то, что больше всего беспокоило мою жену, Оленьку. Погода, тяжелая, как эсминец, нагруженный снарядами, могла довести здесь до отчаяния любого, но, конечно же, не нас. Мы все были слишком заняты: спешили прочитать все новые книги, которые издавались в изобилии, спешили не пропустить ни одной новой театральной постановки Таирова или Мейехольда, спешили посетить выставки, поэтические вечера... Все это, особенно вечера поэзии, проведенные то с Есениным, то с Маяковским, напоминали нам всем о старой жизни - той, которую мы вели здесь когда-то до революции. И нам опять начало казаться, что большевики куда-то исчезли, может быть, даже испарились...

Может быть, я забыл сказать, что именно в Витебске наша семья увеличилась: я женился. Оленька, как мы ее все называли, стала не просто моей женой: она стала моим самым дорогим и бесценным другом, моим ангелом, и моей музой. Она была самым милым и добрым человеком, которого я когда-либо знал, и принесла в мою жизнь не только радость, но и как будто осветила весь наш дом изнутри, когда она легкой и неслышной походкой вошла в нашу маленькую и дружную семью.



Таким образом, наша жизнь в Петербурге постепенно наладилась, и в последующий год в ней не случилось ничего особенного, о чем стоило бы рассказать, за исключением, пожалуй, того, что умер Ленин. Это случилось зимой 1924 года.

Сегодня, конечно, много говорят о том, как рыдала вся страна, когда его хоронили. У меня на этот счет есть собственное мнение: я думаю, что люди и вовсе не думали о нем. Ну, умер, и умер человек. Все там будем...

Но вот о чем они точно думали, так это - кто же придет после него? Какие еще сюрпризы ждать нам от Советской власти? У всех в памяти еще были живы воспоминания замерзшего и голодного Петербурга, который сразу после большевистского переворота в одночасье погрузился в средневековую тьму..."

30 декабря 1982

Стивен и Ирина

- Стив, - устало сказала Ирина, выключая магнитофон. - Может, на сегодня достаточно?

- Конечно, - кивнул Стивен. - У нас ведь теперь много времени. С твоей помощью работа движется быстро, и я думаю, что мы сможем закончить переводить все кассеты месяца через два-три. Что ты думаешь?

- Я думаю, - грустно сказала Ирина, - что через два-три месяца мы действительно закончим кассеты, потом ты уедешь, и мы с тобой больше никогда не увидимся...

Стивен подошел к креслу, на котором она сидела, и вдруг встал перед ней на колени.

- Не думай об этом, пожалуйста, - сказал он, нежно беря ее руку. - Я сам все время об этом думаю...И мне кажется, я найду решение. Конечно, если ты мне поможешь...

И он хитро улыбнулся.

- Дети! - вдруг из кухни раздался голос Лидии. - Хватит работать. Работа не волк, в лес от вас не сбежит, а вот мои блинчики уже остынут! Я тут вот, пока вы

беседовали, решила вас немного побаловать - блинов испекла. В честь Нового года, который, кстати сказать, уже завтра...

- Бабуль, какая же ты все-таки прелесть! - вскочив на ноги, радостно закричала Ирина. Потом подбежала и поцеловала ее в лоб.

- Стив, действительно, давай скорее за стол. Блины хороши, только когда они горячие, с маслом, с вареньем...

Было уже поздно, когда Стивен наконец собрался ехать к себе в гостиницу. Уже почти в дверях, Лидия вдруг сказала:

- Стивен, мы с внучкой были бы рады пригласить тебя встречать с нами Новый год. Я знаю, что она собиралась сказать тебе об этом сама, но, вероятно, постеснялась.

Ирина покраснела.

- Я...да, конечно...Я, правда, хотела тебя пригласить...

И покраснела еще больше.

- С огромным удовольствием! - лицо Стивена выражало такой восторг, что не было никаких сомнений, что приглашение было как нельзя более кстати.

- Правда? - Ирина вся даже затрепетала от счастья. - Будем только мы с бабушкой, и ты... Придешь?

- Только если меня снова пригласят на кухню пить чай! - смеясь, сказал Стивен. - Я должен еще хотя бы раз услышать, как закипает на плите ваш старый чайник. Это для меня теперь самое важное в жизни...

31 декабря 1982

Пять семей

- С Новым годом тебя, сынок! - говорила Лина Павловна, поднимая бокал шампанского и обнимая сына.

Дима улыбался: последнее время он был очень счастлив. Задуманная повесть писалась легко и быстро, а разбуженные воспоминания не оставляли больше ему времени ни на грусть, ни на отчаяние. Целыми днями он сидел за своим старым

письменным столом, купленным ему матерью, когда он пошел в первый класс, и писал, писал, писал...

По вечерам он собирал разбросанную бумагу в одну стопку, просил мать сесть напротив него на диван, и начинал читать. Он представлял себя Достоевским, или Львом Толстым, и ему доставляла особенное удовольствие мысль о том, что теперь он тоже, хоть пока еще и не признанный, но писатель.

Слушать собственного сына, видеть его, склонившимся над письменным столом и пишущего книгу, было так необычно, но теперь вся жизнь стала была чередой необычностей, к которым Лина Павловна постепенно училась привыкать.

- С новым годом, мамочка! - ответил он, беря Лину Павловну за обе руки и прижимая их к груди. - Как бы я без тебя жил, моя дорогая?

- Не надо без меня жить, сынок, зачем? - отвечала Лина Павловна, осторожно отнимая свои руки у сына, чтобы еще раз погладить его по голове. - Ведь только мы с тобой и есть друг у друга, и всегда будем, и никто нам с тобой больше не нужен. Так ведь?

- Конечно, так, мамочка, - сказал Дима серьезно. - И пусть так будет всегда. Вот за это мы с тобой сейчас и выпьем.

Пробило полночь. Начинался новый, 1983 год.

\*\*\*

Этот год, как, впрочем, и все предыдущие года, Юрий Орестович, Зигрида и Леночка встречали дома. У них давно уже стало традицией приглашать на Новый год только самых близких друзей, и чаще всего почему-то это оказывались те, кто в скором времени, по тем или иным причинам, был вынужден покинуть эту страну. Когда-то у них встречали Новый год Лосин и Бродский. Как-то раз "заглянул на огонек" даже сам Солженицын. Заходил поздравить друга и выпить с ним шампанского и Мстислав Ростропович, очаровательнейший и скромнейший гений, отлично сознававший это, но никогда никому этого не показывавший.

Все они были теперь далеко, но память о тех прекрасных вечерах осталась, и она неизменно грела душу даже в самую холодную зимнюю ночь.

Этот вечер Нового года был для Юрия и Зигриды самым счастливым: Леночка, наконец, пошла на поправку. Лекарство, которое достал Стивен, сработало, и в этот вечер она вдруг поднялась с кровати и, держась за свой маленький стул, сделала три первых шага: первых с тех самых пор, когда болезнь сковала ее в неподвижности. В этот же вечер в притихшем доме снова прозвучал ее звонкий смех.

- Юра, давай выпьем за наших новых друзей - Ирину и Стивена, - сказала Зигрида.

- Без них этот новый год мог бы стать самым ужасным в нашей с тобой жизни.

- Согласен, - задумчиво ответил Юрий Орестович. - Я, честно говоря, подумывал, не пригласить ли нам их к себе, встречать Новый год с нами. Но потом решил, что им, вероятнее всего, не до нас...

Он улыбнулся при этих словах.

- Ну, хоть ты их и не пригласил, - сказала Зигрида, - они все равно сегодня здесь, с нами. Давай, мой дорогой, выпьем за них еще раз.

Ведь если бы не эта встреча, Юрочка, мы бы, скорее всего, потеряли нашу Лену...

А вместе с ней ты потерял бы и меня... Боюсь, я не смогла бы этого пережить...

- Я это знаю, - ответил он.

Они оба сели на старый диван и просидели там, обнявшись, весь вечер, пока не пробило полночь. Тогда Юрий тихонько поднял на руки Леночку, задремавшую на том же диване, и отнес ее на кровать и любовно покрыл одеялом.

- Спи, родная, - прошептал он, целуя ее в лоб. - Спи, радость моя...

Начинался 1983 год.

\*\*\*

Вечер 31-го декабря капитан Лунев надеялся провести дома, с Ларисой, которая последнее время все больше страдала от чувства какого-то внутреннего одиночества, которое не могла объяснить ни себе, ни другим. С самого утра Лунев готовился уйти с работы пораньше, но, как назло, в час дня позвонили с Литейного, где было назначено большое экстренное заседание.

"О, господи, зачем!" с раздражением подумал Лунев. "Ну какие могут быть срочности сегодня, накануне Нового года? Что им, самим домой идти не хочется, что ли?"

Совещание затянулось до ночи. На нем долго и нудно разбирали указания Андропова о мерах по усилению борьбы с активизировавшейся иностранной разведкой. Домой Луневу удалось добраться только к десяти часам вечера.

Лариса, красивая как всегда, сразу открыла дверь, как будто весь вечер только и делала, что ждала его у порога. Так оно, в общем-то, и было: она его все время ждала.

После несчастья с сыном, постигшего их в Таджикистане, Лариса не захотела возвращаться на работу. Врач может быть полезен и дома, сказала она, и Лунев не стал возражать: ему понравилась мысль, что любимая жена теперь всегда будет ждать его дома, а не пропадать на суточных дежурствах.

- Ну наконец-то! - воскликнула она, помогая мужу снять тяжелое пальто. - Мы уже потеряли всякую надежду...

- Папочка! - закричал Сережа, подбегая к Луневу и нежно обнимая его. - Я написал тебе письмо на новый год, нарисовал рисунок, все это положил в конверт и спрятал у тебя под подушкой. Когда наступит Новый год - и не раньше! - пойдешь в спальню и откроешь мой подарок. Хорошо?

- Конечно, сынок, - ответил Лунев. - Так и сделаю. А пока - давайте скорее за стол. Я замерз и голоден, но все равно ужасно счастлив!

Он поцеловал Ларису в губы. Сережа стоял рядом, обнимая обоих.

Когда приблизилась полночь, и Сережа уже сладко спал, Лунев и Лариса вместе пошли в спальню, чтобы взять приготовленный сыном подарок. В большом конверте лежало письмо: "Дорогой папочка! Я тебя очень люблю. Пусть твои начальники в этом году тебя наконец отправят на пенсию, чтобы мы с мамой могли проводить с тобой больше времени. Ты нам очень нужен! Твой сын Сережа."

А на большом листе бумаги, нарисованный карандашом с необыкновенной точностью линий и форм, был рисунок: три человечка, идут по лесу и собирают грибы. Собирать грибы всегда было любимым занятием сына, несмотря на хромоту.

Начинался новый 1983 год.

\*\*\*

Сусанна, по давно установившейся традиции, на Новый год всегда принимала гостей у себя. Все эти двадцать два года, пока был жив Володя, ее муж, они отмечали этот праздник в своей просторной квартире, но гостей всегда было только двое: Мария вторая, жена Дамира, и Катя, ее дочь.

После ареста Марии и последовавшей затем смерти Дамира, Сусанна стала для Кати и матерью, и сестрой одновременно. Никто и никогда не смог бы понять, как им удалось прожить эти три года без родителей: Сусанна никому не рассказывала, что рачительный Дамир, который всю жизнь откладывал деньги "на черный день", перед самой смертью передал Сусанне солидную сумму. Вот эти-то деньги их и спасли.

В 1953 вернулась из лагеря Мария: формально ее освободили почти сразу же после смерти Сталина, но бумажные проволочки задержали ее в лагере еще на долгие пол-года. Она вернулась домой 31 декабря 1953. Поэтому этот день стал и для нее, и для для обеих дочерей особенным. Именно поэтому они отмечали каждый Новый год только втроем, а когда в жизни Сусанны появился Володя, он присоединился к ним.

Вот и сегодня, как когда-то давно, они снова встречали Новый год втроем. Володин портрет стоял на столе и смотрел на Сусанну, словно говоря ей: не грусти, родная, все еще будет хорошо! Ни одна из трех женщин до сих пор так и не могла поверить, что его больше нет.

- Володечка всегда очень любил мои салаты, - сказала Сусанна, подводя Марию и Катю к столу. - Поэтому сегодня я приготовила все так, как он любил. Пусть знает, что он всегда с нами.

За окнами медленно падал снег. Три женщины сидели в гостинной за небольшим круглым столом и тихо беседовали.

Наступал новый 1983 год.

\*\*\*

- Первый раз мы будем встречать Новый год без Али, моей дочери, - тихо сказала Лидия, когда все сели за стол. - Вы, наверное, знаете, что Аля - это мама Ирочки? Стивен кивнул и опустил глаза, не зная, что сказать. Он знал о трагедии, которая случилась в марте.

- Я сейчас положу себе немного салата, и пойду в комнату, - сказала Лидия. - Молодым всегда лучше, когда они одни.

Она улыбнулась, потом налила себе стакан сока и ушла, оставив их наедине.

Ирина и Стивен посмотрели друг на друга и покраснели, как дети. Они как-то вдруг застеснялись друг друга, как будто зная, что именно сегодня должно было случиться что-то важное, давно ожидаемое, и потому немного пугающее.

- Ты расскажешь мне, что случилось с твоей мамой? - спросил Стивен.

- Конечно. Но это очень грустная история...

Стивен понимающе покачал головой.

- У нас у всех есть свои грустные истории, - сказал он. - И у меня она тоже есть. Я как-нибудь дам тебе ее прочитать...

- Ты написал свою историю? - спросила Ирина.

- Не свою, конечно. Я написал историю моей мамы, - ответил Стивен. - У нее была совершенно удивительная жизнь. И, что самое удивительное, ее история имеет к тебе тоже какое-то отношение.

- Ты шутишь, Стив? Ко мне?

- Нет, не шучу. Дело в том, что моя мама родилась здесь, под Ленинградом. Может быть, ты там даже бывала...

- Где это?

- Поселок Колпино... Ты знаешь, где это?

Ирина кивнула.

Они помолчали. У них обоих сегодня было какое-то обостренное чувство близости, смешанное, как это ни странно, с некоторым смущением.

- Я с удовольствием дам тебе прочитать эту повесть, если захочешь, - сказал Стивен, беря Ирину руку в свою.

Рука у него была совсем небольшая, но крепкая, и Ирине вдруг стало очень тепло и уютно рядом с ним. Она робко положила голову ему на плечо.

- С тобой так хорошо! - выдохнула она.

Они и не заметили, как прошли последние два часа старого года. Наверное, они пропустили бы а сам новый год, если бы в комнату не вошла Лидия.

- До нового года остается еще пять минут, - сказала она, улыбаясь. - Последнее пять минут... Я подумала, что мы можем встретить этот год все вместе, а потом я, с вашего разрешения, пойду спать. А вы уж тут веселитесь! Когда еще, если не в ваши годы?

Лидия улыбнулась, нежно глядя на них, как будто оба они были ее собственными детьми, потом налила себе еще один стакан сока и села за стол.

- Бабушка никогда не пьет вино, - смеясь пояснила Ирина, поймав удивленный взгляд Стивена. - Так что нам с тобой придется все пить самим!

И она налила два бокала шампанского.

Начинался новый 1983 год.

1 января 1983

Аля

- Ну, и как же ты объяснишь теперь в гостинице, где ты провел новогоднюю ночь, а? - смеясь говорила Ирина, снимая с чугунной сковородки большой блин.

Стивен махнул рукой: сейчас, мол, блинчик прожую, и отвечу.

- Они тебя там, в КГБ, небось потеряли, - продолжалал Ирина, посмеиваясь и намазывая горячий блин растопленным сливочным маслом.

- А я им скажу, что встречал новый год в американском консульстве, - закончив наконец жевать, ответил Стивен. - Да и что значат для меня все их глупые вопросы по сравнению с твоими блинами?

Ирина вся так и светилась от счастья. В эту ночь наконец произошло то, о чем они оба уже давно мечтали - они стали по-настоящему близки. Это новое ощущение



наполняло Ирину счастьем и пугало одновременно: что будет дальше, когда он уедет?

- Да и кто сказал, что я им вообще должен что-либо докладывать? - сказал Стивен, притягивая Ирину к себе. - Это мой секрет, и моя личная жизнь. Я, может быть, роман об этом скоро напишу и стану знаменитым, как Стивен Кинг, - прервал он ее мысли.

- Кто? - спросила Ирина.

- Кинг. Разве ты не знаешь его?

Ирина отрицательно покачала головой.

- Ну, не важно. Это наш писатель такой, ужастики разные пишет. А мой роман будет о том, как однажды я приехал в Советский Союз и встретил там ангела. Я сначала страшно удивился: у вас же бога давно нет, говорю, так почему же у вас ангелы в публичных библиотеках работают? Ну, отвечают мне, это - целая история...

Ирина села Стивену на колени и обхватила его шею руками.

- Господи, как же хорошо! - тихо и мечтательно сказала она. - Вот так бы и сидела у тебя на коленях целую вечность...

Стивен нашел ее губы и поцеловал.

- И я думаю о том же, - сказал он. - Только, боюсь, и целой вечности теперь нам с тобой будет мало...

- Это правда - мало, - грустно ответила Ирина.

Стивен погладил ее по волосам.

- Дорогой ты мой человек! - так же тихо, ей в тон, сказал он. - Как же я раньше жил без тебя?

И они оба застыли на несколько минут в долгом и нежном поцелуе.

- Не расскажешь ли ты мне историю твоей мамы? - попросил Стивен. - Мне бы очень хотелось узнать о ней, если ты, конечно, не против...

- Конечно, - ответила Ирина. - Расскажу...

\*\*\*

“Окно комнаты, которую получила Лидия, было обращено с югу, но от прямых солнечных лучей, ее загоразживал высокий старый клен. Летом, когда жара в Ленинграде становилась подчас невыносимой, этот клен сохранял в комнате приятную прохладу и создавал ощущение полной уединенности. Аля тут же придумала этому клену имя: Дедушка Федор. Хоть она никогда и не видела своего "великого деда", как всегда называла Лидия своего отца, очень его любила. Поэтому имя для клена родилось в ее голове само собой. Лидия погладила ее по волосам и одобрительно улыбнулась.

- Ну, вот и почти вся семья в сборе, - сказала она.

- А кого не хватает? - тут же спросила Аля и, не дождавшись ответа, умчалась на кухню, где уже призывно вздыхал старый чайник.

Переезд на новое место был легким: все вещи Лидии легко умещались в одном-единственном коричневом чемодане, который она везде носила с собой. Это была последняя вещь, оставшаяся ей от отца. Чемодан этот был мастерски сделан из воловьей кожи и появился он в их доме очень давно, когда Федор приехал из какой-то загадочной командировки. После этой командировки в доме стали очень часто говорить о необыкновенной чистоплотности немцев, а по выходным на завтрак стали готовить немецкие сосиски. Скоро в доме появился щенок чистопородной немецкой овчарки, которого назвали странным именем: Отто. Федор часто доставал этот странный чемодан, открывал его, с видимым наслаждением вдыхал аромат кожи, из которой он был сделан и, вздохнув, убирал его на место. Вероятно, с этим чемоданом были связаны какие-то особенные воспоминания, скорее всего не имеющие отношения к его работе.

Соседи Лидии оказались людьми необыкновенно милыми и интеллигентными людьми: Александр Исаакович, хирург, который всю блокаду проработал в больнице, а сейчас работал в скромном травмпункте, и брат с сестрой, сразу после войны приехавшие откуда-то из-под Москвы. С ними приехал мальчик лет восьми, шустрый, сметливый, и очень нежно относящийся к своим новым родителям. Почему-то без лишних слов и объяснений было ясно, что Колька - так звали

мальчика - не их сын, но узы, их когда-то и где-то объединившие, были необыкновенно крепки. Женщину звали Нина Александровна, а ее брата - Михаил. Дядя Миша, как его тут же окрестили дети, каждый день в пять утра уходил на завод где строили вагоны метро, а Нина Александровна оставалась дома. Она пока не работала, поэтому с готовностью вызвалась помогать Лидии.

Почти в каждый свой выходной дядя Миша устраивал детям какой-нибудь маленький праздник: зимой они все отправлялись кататься на лыжах, а летом ехали на озеро, где проводили целый день, прыгая в воду прямо с лодки, которую брали напрокат на лодочной станции всего за двадцать рублей.

Но самое интересное, конечно, начиналось осенью, когда все они, включая Нину Александровну, ехали в лес за грибами. Целый день они бродили по осеннему лесу, хрустя упавшими под ноги разноцветными листьями, а посреди дня устраивали настоящий охотничий привал: расстелив на земле газету, они раскладывали на ней кусочки хлеба и огурцы, посыпали все это богатство солью и ели, запивая холодной водой из зеленой помятой солдатской фляги, которая, как говорил Михаил, прошла всю войну и вернулась с ним с фронта целой и невредимой.

- Так что, она даже побывала в Берлине? - спрашивал Аля, смеясь, и внимательно разглядывая помятую флягу.

- Конечно, побывала, - отвечал дядя Миша. - Я же там был, значи, и она тоже. Мы же с ней всю войну ни на день не расставались.

- Значит, она и Гитлера видела? - серьезно задал вопрос Колька.

- Нет, его мы не видели, - в тон Кольке, серьезно ответил Михаил. - Он убежал куда-то в Аргентину до того, как мы с этой флягой добрались до Берлина.

И все громко и весело смеялись.

Вечером все неохотно возвращались в пыльный и шумный город. Корзины, как правило, были полны грибов, заботливо укрытых листьями, как будто мягким одеялом. Теперь всем будет вдоволь еды на целую неделю: и грибной суп с перловкой, и жареная картошка с грибами, и даже грибные пирожки, которые так вкусно умела делать Нина Александровна.

Лидия, между тем, пыталась вернуть себе и дочери нормальную жизнь. Хотя работ в городе было много, и разных, но везде платили настолько мало, что заработанных денег только-только хватало на еду.

Однажды, возвращаясь с работы, Лидия случайно услышала в трамвае разговор двух женщин о том, что сейчас за сдачу донорской крови дают выходной день, 240 рублей, и талон в столовую на один бесплатный обед.

На следующий день уже сидела в коридоре городской больницы. Через час Лидия вышла из кабинета с деньгами в сумочке, талоном на обед и радостным чувством, что завтра не надо будет вставать в шесть утра и идти на ненавистную работу. Все было бы просто великолепно, но вот только ноги почему-то отказывались идти. Страшная слабость вдруг навалилась, как гора, сердце сжало какой-то неизбывной тоской, и ей на минуту показалось, что жизнь из нее уходит, как уходила в этот момент земля из-под ног.

Лидия не помнила, как в тот день она добралась до дома, как прошла, не раздеваясь, в свою комнату и легла в постель. Умная и внимательная Аля все поняла: маме очень плохо, и ее не надо беспокоить.

На следующее утро, когда зазвонил будильник, Лидия сделала над собой усилие и встала. Земля все еще покачивалась под ногами, но жить было уже можно.

“Зато целый день мой, выходной, и можно будет пойти и закупить каких-нибудь сладких сдобных булочек!” подумала Лидия.

И жизнь потекла дальше, как течет река, унося вдаль все прежние тревоги и переживания. Жить на деньги, теперь буквально заработанные собственной кровью, стало немного легче.

В 1948, прямо в день своего рождения, 12 марта, Лидия вдруг получила открытку от мужа. Его, как и других, призвали на фронт через два дня после начала войны, в сорок первом, и с тех пор Лидия не получала от него никаких известий. Война закончилась, но он так и не вернулся.

Зная по лагерю, как поступали с теми, кто чудом вышел из окружения или случайно остался жив, когда все другие погибли, Лидия решила не наводить о муже справки, чтобы случайно не навредить ему. Если он погиб, решила она, то его не вернешь, а если он решил не возвращаться ко мне, то это его дело. И какова бы

ни была причина его невозвращения - новая ли "фронтовая подруга", или что-нибудь другое, Лидия не желала ему зла.

Жизнь есть жизнь, и Лидия по опыту знала, что часто она ставит человека в такое положение, что правильно судить его со стороны бывает просто невозможно. По крайней мере, жизнь многих и многих, которых она встретила в лагере, научила ее быть терпимее к людским ошибкам и не смотреть на жизнь только с одной твоей стороны.

И вот вдруг пришла эта открытка... На штемпеле было четко написано: Таллин, Эстонская ССР.

Значит, все эти годы ее муж жил где-то совсем рядом, в нескольких часах езды? Но почему, в таком случае, он не давал о себе знать? Не хотел? Или не мог? И что же случилось теперь, раз он наконец решился написать?

Ответить на все эти вопросы было невозможно, не встретившись с ним, все еще официальным мужем и, кроме того, отцом ее дочери. Открытка приглашала Лидию приехать в Таллин и, если она решится это сделать, то дать ему знать телеграммой. Тогда он встретит ее на вокзале.

Лидия знала, что чтобы добраться до Таллина, необходимо было иметь какое-то специальное разрешение, которого она быстро получить бы не смогла. Поэтому она просто договорилась с Ниной Александровной, чтобы та последила за Алей несколько дней, положила в отцовский коричневый чемодан вещи, которые могли бы пригодиться в дороге, дала телеграмму, и поехала на вокзал.

Когда утром следующего дня поезд прибыл на вокзал в Таллин, Лидия первым делом отнесла любимый чемодан в камеру хранения: мало ли что может случиться, пока она бежит по незнакомому городу? Оставив себе только деньги, паспорт и злополучную открытку, она вернулась на платформу. Лидия почти одновременно увидела и мужа, и двух офицеров НКВД, идущих, как назло, прямо на нее. Муж стоял неподвижно, с маленьким букетом в руках, и напряженно вглядывался во всех проходящих мимо женщин, как будто боялся не узнать собственную жену. "Господи, только бы они меня не заметили!" подумала Лидия, стараясь не глядеть на офицеров и делая вид, что поправляет туфлю на левой ноге.

- Ваши документы! - услышала она сипловатый голос, идущий откуда-то сверху.

- Простите, что вы сказали? - Лидия резко встала и выпрямилась, и длинная синяя юбка обкрутилась на секунду вокруг ее стройных ног.

- Документы, - так же сипло, но уже не так резко, повторил голос.

Офицеров было двое: старый с пышными усами, и молодой с сильно оттопыренными ушами, на которых смешно, как блин, лежала фуражка. Похоже, молодой догадывался, что выглядит он недостаточно внушительно, и это его, по всей видимости, сильно раздражало. Сиплый голос, как теперь было ясно, принадлежал именно ему.

Лидия в отчаянии бросила взгляд в сторону мужа - может быть он наконец придет ей на помощь! - и с ужасом увидела, как он, не оборачиваясь, уходил прочь с перрона. Так и не врученный никому букет одиноко лежал на скамейке.

"Как же так?!" почти до боли ударила в голову горькая мысль. - Ну как же так?..."

Лидия сунула руку в сумку, достала паспорт и протянула его пожилому офицеру с усами: почему-то он ей показался более рассудительным. Усатый не спеша, с достоинством, открыл паспорт и стал его изучать. Усы его смешно шевелились каждый раз, когда он переворачивал очередную страницу.

- Все ясно, - наконец сказал он. - Режим нарушаем. По какой причине?

- Какой режим? - спросила Лидия. - Я не знаю ни о каком режиме. Я просто приехала в Таллин из Ленинграда.

- Да она просто дуру из себя корчит! - сиплым голосом сказал молодой. - Забираем ее, а там разберемся.

Усатый метнул взгляд в сторону молодого и, видимо, что-то такое промелькнуло в его глазах, что тот сразу стих.

- Зачем приехали в Таллин? - спросил усатый.

- Мужа повидать. Он здесь сейчас работает, вот и пригласил приехать на выходные.

Усатый кивнул: да, мол, видел штамп в паспорте, замужем ты.

- Ну а то, что для посещения Таллина нужно специальное разрешение, он тебе, конечно же, не сказал? - строго спросил он.

Лидия отрицательно мотнула головой.

- Придется тебе, гражданочка, прогуляться с нами до КПЗ, посидеть там, пока мы выясним, кто ты есть такая на самом деле, зачем сюда приехала, и кто тебя послал... - заключил офицер.

- Да никто меня не посылал! - почти крикнула Лидия усатому в лицо. - Сказала же: муж позвал, я и приехала. Что тут особенного? Уже и выходные с мужем провести нельзя, что-ли?

Усатый решил, что давать объяснения какой-то захавшей из Ленинграда девице - это ниже его достоинства. Поэтому он просто засунул паспорт Лидии в свой нагрудный карман, повернулся на каблуках, скрипнув новыми кожаными сапогами, и пошагал прочь с перрона.

Ушастый понял, что теперь настал его час: он крепко схватил Лидию за руку повыше локтя, сжал почти что до боли, и тоже пошагал прочь, ведя или, вернее, таща ее за собой.

Они отвезли Лидию прямо в отделение НКВД, где ее долго выспрашивали, зачем же все-таки она приехала в Таллин. После первого разговора последовал второй, потом третий, и каждый новый следователь задавал одни и те же вопросы, как будто они все время кого-то проверяли - то ли ее, то ли друг друга.

В перерывах между допросами ее отводили в одиночную камеру, приносили туда миску жидкого супа в котором когда-то наверняка было мясо, но теперь остался один только запах, и закрывали дверь. После двух дней подобных бесед ей наконец сказали, что она останется в КПЗ до тех пор, пока не будет точно установлено, кто она и откуда приехала. Как оказалось, паспорта им было недостаточно.

Два последующих месяца Лидия провела в общей камере с проститутками и воровками, большинство из которых действительно были преступницами. В КПЗ все они тоже чего-то ожидали: кто-то суда, а кто-то отправки в лагеря.

Камера, в которой находилось семнадцать женщин, была слишком мала для такого количества людей. Зарешеченное окно, находившееся где-то высоко под потолком, в последний раз открывалось, наверное, еще до Первой мировой, а потому было невероятно грязным. Только через это окно в камеру проникал хоть какой-то, но все-таки солнечный свет. Единственная электрическая лампочка зажигалась только

в пять вечера, поэтому каждый день камера где-то часа на два неизменно погружалась в сумеречный полумрак.

На грязном цементном полу виднелись следы от когда-то стоявших здесь кроватей, которые были вынесены отсюда, а вместо них к стенам были привернуты узкие деревянные двухэтажные нары. В середине комнаты стоял стол, весь изрезанный какими-то острыми предметами, оставившими после себя целую энциклопедию непристойных слов, какие только можно было отыскать в русском и эстонском языках. За этим столом обычно сидели только восемь из семнадцати заключенных, а остальные, получив еду, сидели на нарах, обжигая колени горячими алюминиевыми мисками с супом.

Место для умывания заключенным почему-то не полагалось и поэтому было занято огромной алюминиевой кастрюлей с двумя ручками. Кастрюля эта, вместе с двумя поперечными грязными досками, положенными сверху, служила туалетом. Запах от такого "туалета" в камере стоял ужасный. Слава богу, что кастрюлю эту вместе с досками выносили во двор два раза в день, где долго мыли холодной водой из шланга, а потом приносили обратно. Для этой процедуры всегда назначали двух заключенных, которые и проделывали все это, по-очередно то зажимая нос от отвратительного запаха, то жмурясь от яркого солнца.

Вместо туалетной бумаги на полу всегда лежала куча старых газет, которая то уменьшалась, то опять увеличивалась. Заключенные, острые на язык и обозленные на весь мир, выдавшие виды и уже не боявшиеся, наверное, самого черта, непрерывно отпускали на эту тему шуточки, за которые любой другой человек, будь он на свободе, получил бы, как минимум, десять лет лагерей.

- Хитрые у нас начальнички-то, а? - гоготали женщины. - В газетках этих они сперва Сталина славят, а потом их нам подбрасывают, чтобы мы Сталиным этим тут зад свой подтирали! Правильно делают, сволочи: ему тут самое место!

И гомерический хохот сотрясал всю камеру.

В этой камере Лидия и провела два, может быть, самых тяжелых месяца своей жизни. Сначала она пыталась бунтовать: стала стучать в железную дверь и требовать для разговора начальника. Сокамерницы поглядывали на нее с удивлением и любопытством: им было интересно узнать, что из этого получится.



То, что получилось, было довольно неожиданно для Лидии, но, вероятно, вполне ожидаемо для всех остальных, кто был лучше знаком с реальностями тюремной жизни: железная дверь однажды широко распахнулась и рослый охранник, с опухшим от частого употребления алкоголя лицом и маленькими, как у мыши глазами, молча ударил Лидию по лицу, разбив ей нос до крови. Хотя у большинства сокамерниц этот инцидент и вызвал злорадное удовольствие, Лидию почему-то сразу стали опасаться.

На следующий день случился конфликт с одной из соседок. Та, вероятно, была в камере не первый раз и потому чувствовала себя здесь почти как дома.

Едва за ней захлопнулась железная дверь, она медленно обвела глазами всю камеру, как будто пытаясь что-то припомнить, и подошла к нарам, которые ей приглянулись. Нары были заняты. Секунду подумав, она уверенно скинула на пол матрас вместе с подушкой и одеялом. Потом небрежно бросила на нары свои вещи, которые принесла с собой.

Нары оказались как раз те, на которых жила Лидия, которая в этот момент сидела на соседних нарах и о чем-то тихо беседовала с соседкой. Увидев, что случилось с ее постелью, она медленно поднялась: почти пять лет проработав в трудовом лагере, она видала всякое, поэтому даже не удивилась. Не говоря ни слова и без какого-либо предупреждения, она подошла к женщине сбоку и раньше, чем так успела обернуться, со всей силы ударила ее сразу двумя руками по голове. Удар, несомненно, был достаточно силен: женщина рухнула на пол как подкошенная. Крепко придавив одной рукой ее голову к бетонному полу, а пальцем другой надавив на правый глаз, Лидия сказала тихо, но так, чтобы слышали все.

- Еще раз так сделаешь - убью.

Потом скинула чужой матрас и аккуратно, не торопясь, привела в порядок свое место. В камере царила полная тишина...

На 58-ой день ровно в десять утра дверь камеры вдруг открылась. Вошел офицер, быстро осмотрел камеру и громко сказал:

- Ермакова, на выход!

Лидия вздрогнула, сначала даже не поняв, что зовут именно ее. Она медленно и неуверенно приподнялась с нар, на которых сидела.

- Я сказал, Ермакова! - уже почти злобно крикнул офицер. - На выход!

Когда Лидия вышла из камеры и пошла по длинному коридору с некрашенными стенами, она поняла, каким все-таки ужасным воздухом она дышала эти два месяца: спертый воздух коридора казался ей сейчас почти таким же прекрасным, каким он бывает, пожалуй, только весной в сосновом бору.

Разговор с начальником КПЗ был короткий: глядя в какую-то помятую бумажку, он сказал, что из Ленинграда наконец подтвердили, что она действительно Лидия Ермакова и действительно проживает в Ленинграде на улице Мира, дом 36, квартира 12.

- Так что вы свободны и можете ехать домой, сказал начальник, глядя мимо нее в мутное окно.

Лидия молчала, подавленная радостью и тяжестью своего долгожданного освобождения: ехать наконец-то домой - это прекрасно, а билеты? А деньги?

- Билеты купите сами, - как будто отвечая на ее мысли, сказал начальник. - А когда вернетесь в Ленинград, участковый инспектор зайдет к вам и скорее всего оштрафует за нарушение паспортного режима.

Через два часа Лидия уже сидела в поезде на Ленинград. Билетов в кассе купить она, конечно же, не смогла: все были проданы. Пришлось подойти прямо к проводнику, улыбнуться, показать ему 50-рублевую бумажку - это были последние деньги, что остались и каким-то чудом даже сохранились - и место в вагоне сразу нашлось, и даже у окошка...

Прямо с поезда, почти бегом, Лидия пронеслась через весь город, который только - только начинал просыпаться от сна.

\*\*\*

Дверь открыла Нина Александровна.

- О! Слава богу: вернулась. Я знала, что все образуется! - с чувством облегчения воскликнула она. - Аля! Иди скорее сюда, твоя мама приехала!

Аля, как будто все последние два месяца только и ждала момента, когда ее позовут встречать мать, выбежала из комнаты и кинулась Лидии на грудь.

- Мама! - всхлипывала она, обнимая ее. - Мамочка! Ну, наконец-то...

Лидия, улыбаясь, гладила ее по голове. Счастье, похоже, возвращалось...

Потом, сидя за столом, на котором стоял старый алюминиевый чайник и лежал ржаной хлеб, нарезанный аккуратными кусочками, Михаил рассказал Лидии, как они прожили эти два месяца.

Когда Лидия не вернулась на четвертый день и даже не дала телеграмму, они догадались, что случилось что-то непредвиденное. Скорее всего, арест.

Предполагать, конечно, можно было что угодно, но в квартире почему-то никто не сомневался, что это был именно арест. Дело в том, что два года после войны арестов почти не было, но весной 47-го они вдруг возобновились. Люди опять начали уходить на работу и не возвращаться, а по ночам опять стали кружить по городу "черные вороны".

Как бы там ни было, надо было как-то позаботиться об Але, которой только-только исполнилось восемь лет.

Маленькая, но уже весьма самостоятельная и умеющая за себя постоять, Аля ни за что не хотела переезжать из своей комнаты. Во-первых, она не хотела никого стеснять, а во-вторых - кто же присмотрит за маминым хозяйством, если не она? И Аля осталась жить в своей комнате, хотя по ночам и пряталась с головой под одеяло и тряслась от страха, прислушиваясь к тишине. По утрам она радостно садилась завтракать вместе с Ниной Александровной, дядей Мишей и Колькой, потом одевалась и уходила в школу. Обедала и ужинала она тоже вместе с ними, а вот делать уроки снова уходила в свою комнату.

Теперь, когда наконец маленькая семья была опять в сборе, перед Лидией снова встал вопрос: где работать? Пока она сидела в КПЗ в Таллине, ее уже успели уволить, денег почти совсем не осталось, так что вопрос этот стоял довольно остро. Пока она мучительно обдумывала, что предпринять, на помощь, как всегда, пришел случай.

К Нине Александровне частенько наведывалась то за солью, а то и просто так, поболтать, соседка Верка, жившая этажом ниже. Она определенно скучала сидеть

все время дома, пока муж ее пропадал на работе. Поэтому иногда заходить поболтать к Ниночке, как она называла Нину Александровну, стало для нее почти привычкой, почти необходимой.

Однажды Верка, немного болтливая и немного глупая, но добрая и беззлобная, взглянула на Лидию своими быстрыми глазами, как будто метром померила, и сказала, что с такими шикарными внешними данными ей надо отправляться в академию художеств - позировать. Там, мол, платят хорошо, но главное - общество хоть куда. Одно слово - элита.

- Я бы и сама пошла, - рассмеялась Верка, - да куда уж мне? Рожей не вышла.

Она опять рассмеялась, и добавила, уже серьезно.

- Иди туда, подруга, не пожалеешь. Я слышала, там работа не пыльная, и деньги платят все сразу после сеанса. Может, правда, иногда и голой постоять придется, но тебе, дорогуша, дочь кормить надо, так что ничего, не растаешь.

Вот так и случилось, что Лидия, оказалась моделью в академии художеств. Ее взяли сразу. Какой-то человек в круглом пенсне и с бородкой, похожий на Чехова, только взглянул на Лидию и сразу сказал:

- Мы вас берем. Платить будем двадцать рублей за сеанс, а если согласитесь на обнаженную натуру, то все сорок. Согласны?

Лидия согласилась. Позировать надо было по 4 часа, но не каждый день, а по какому-то расписанию, она пока толком не поняла, а деньги будут платить сразу по окончании сеанса, и наличными.

Получив деньги, она тут же бежала в ближайший магазин и покупала все, что можно было купить без карточек: крупу, колбасу, а иногда, если повезет, даже молоко. Хлеб, как это ни странно, в Ленинграде был все еще по карточкам, так же как и подсолнечное масло, и сахар, и мыло.

Иногда, правда, случались настоящие чудеса: прямо в академию художеств, чтобы хоть как-то подкормить будущих ваятелей и художников, приезжала машина, которая продавала продукты, недоступные в обычных магазинах: рыбу, курицу, мясо, и даже шоколад. Лидия отдавала последние деньги, чтобы купить какие-нибудь сладости, побаловать Алю и Кольку, и поэтому часто сама ложилась спать на пустой желудок.

"Это ничего," думала она в такие моменты, "на пустой желудок оно даже здоровее: и талия тоньше, и дольше проживешь."

От этих мыслей становилось немного легче, но все равно это было слабое утешение для молодой и красивой женщины, которой только-только исполнилось 27 лет, и которой хотелось не только день за днем ходить на работу, но и просто жить, красиво одеваться, хоть иногда ходить в театр и, конечно же, нравиться мужчинам.

Жизнь в стране начинала постепенно налаживаться: стали, наконец, постепенно отменять карточки на хлеб, потом на сахар, потом на масло. Газеты писали о каких-то доселе неслыханных успехах сельского хозяйства, печатали портреты каких-то счастливых доярок, одетых в чистые докторские белые халаты. Все эти доярки радостно рапортовали, что в их колхозе каждая корова теперь дает в день по 30-40 литров молока, но в магазинах почему-то ни молока, ни сметаны, ни масла не было. Животноводы докладывали по радио о необозримых стадах коров, овец и свиней, пасущихся на просторах нашей бескрайней родины, но мяса в магазинах люди не видели с 1929, то есть с того самого момента, когда началась коллективизация. И мало кто знал, что с ее началом в стране только за один год погибло 165 миллионов голов скота...

Лидия газет не читала, поэтому даже не догадывалась, как хорошо она живет и что недалек тот день, когда они с Алей будут жить при коммунизме. Что такое коммунизм не знал толком никто, но зато все знали, что при коммунизме не будет денег, а магазины будут полны всевозможных товаров. Но это - в будущем...

Ну, а пока Лидия каждый день стояла в длинных очередях за продуктами, надеясь, что ей еще достанется молоко, или сметана, или масло. Часто ничего не доставалось.

Так незаметно миновали пять долгих и трудных лет, которые не запомнились Але ничем особенно примечательным, кроме того, что каждое утро надо было ходить в школу и помогать Лидии, которая продолжала работать на двух работах, чтобы хоть как-то кормить и одевать их обоих. От Алиного отца, так нехорошо покинувшего Лидию на платформе в Таллине, больше ничего не было слышно.

Справок о нем Лидия наводить не стала: тот, кто предал тебя два раза подряд - предаст и в третий раз, решила она. И вычеркнула его из своей жизни.

В ноябре 1952 году произошло событие, которое оставило неизгладимый след в Алиной душе: арестовали доктора Александра Исааковича - их соседа по квартире и доктора, с которым Аля и Колька были очень дружны.

Александр Исаакович, кроме того, что был хирургом, в свободное время любил готовить, и иногда готовил такие блюда, которые никто в их квартире даже не слышал. Одно из них, к примеру, называлось *тельное*.

По старому русскому рецепту, записанному в специальной тетради в коричневом кожаном переплете, он брал филе белой рыбы, молот его в мясорубке, добавляя понемногу белую булку, размоченную в теплом молоке. Потом в приготовленный таким образом фарш добавлял чайной ложкой растопленное сливочное масло, постоянно перемешивая, и вбивал одно яйцо.

Из этой невероятной смеси, на старой чугунной сковородке, которой, вероятно, было не менее ста лет, он жарил такие вкусные котлеты, от нежного вкуса которых, как он говорил, сама английская королева проглотила бы язык.

На свое пиршество, когда оно случалось, Александр Исаакович неизменно приглашал Алю и Кольку. Он сажал их за круглый дубовый стол, стоявший посреди комнаты, ставил перед ними тарелки, изготовленные на фарфоровой фабрике императора Александра Третьего, доставал из буфета серебряные приборы и торжественно подавал тельное.

В этот вечер, после ужина, ни Аля, ни Колька не чистили перед сном зубы, чтобы вкус этих удивительных рыбных котлет оставался с ними до самого утра.

В 1952 здоровье Сталина стало резко ухудшаться, и на фоне этого ухудшения его параноидальная подозрительность усилилась до невиданных размеров. Этот уже давно и серьезно больной человек, продолжая ощущать себя всемогущим хозяином огромной страны, наполненной, по его искреннему убеждению, только врагами и неблагодарными негодьями, решил сделать последнюю "чистку", но теперь в поле его подозрительного зрения попали врачи, особенно если они были еврейской национальности.

Именно они стали теперь его главными врагами. Как вдруг оказалось, в Кремлевской больнице, где испокон веков лечились все партийные начальники, их жены и их дети, работали сплошь английские шпионы, давно получавшие задание из "центра" - незаметно разрушить здоровье всех членов ЦК.

Естественно, всех этих "шпионов" тут же арестовали, а радио и газеты послушно начали клеймить позором то одного, то другого профессора медицины, уличенного либо в отравлении, либо в специально плохо проведенной операции, в результате которой "ценнейший работник и старый член партии" ушел из жизни. То, что многие из этих "шпионов" отваживались проводить операции, которые еще не делал никто в мире - эти факты никого не интересовали.

Самое страшное было то, что люди, наслушавшись подобной чепухи, перестали ходить к врачам, особенно если они были евреями, и тихо умирали дома от болезней, от которых умирать в середине двадцатого века было просто смешно.

Александр Исаакович, как назло, был не только евреем, но еще и наполовину французом: его мать, настоящая француженка из Гаскони, еще задолго до революции вышла замуж за еврея и переехала с ним жить в Россию. Совершенно очевидно, что такой факт был известен НКВД.

Многие годы эта информация лежала в каком-то пропылившемся ящике, тем более что Александр Исаакович был когда-то даже представлен к правительственной награде за успешное проведение сложнейшей операции, спасшей жизнь какого-то важного генерала.

После официальных заявлений по радио, клеймивших всех без исключения врачей-евреев как врагов народа и шпионов английской разведки, НКВД радостно встрепенулось и начало приглядываться к нему с особенным подозрением. Его, наверное, с удовольствием бы уволили и сразу арестовали еще давно, но работать в травмпункте было совершенно некому, а он, как назло, был отличным хирургом и ответственным работником, да еще и фронтовиком с кучей медалей. Поэтому начальникам, самим ничего делать не умевшим, приходилось его не только терпеть, но и защищать.

- Ну какой он вам шпион, господи помилуй! - как-то раз услышал Александр Исаакович, проходя мимо кабинета главврача.

Тот, очевидно, с кем-то разговаривал.

- Да и что тут у нас шпионить? Одни бедные люди с переломанными ногами и руками, и их, хочу вам заметить, очень много. А он, должен вам сказать, врач с огромным опытом. На фронте, я слышал, прямо под пулями операции проводил, благодарности от генералов имеет... А вы мне - шпион! Кто работать-то у меня будет, если вы его посадите за то только, что он еврей?

Александр Исаакович ничего никому не сказал, но всю ночь после услышанного разговора собрал какие-то книги в чемодан и куда-то унес. И правильно сделал... На следующую ночь за ним все-таки пришли. Похоже, не помогли причитания главврача на то, что больных много, а лечить их некому; не помогли даже медали, кровью и потом заработанные на войне.

Два молодых агента НКВД долго рылись в его многочисленных книгах, пытаясь найти хоть что-нибудь, чтобы сразу стало ясно, что перед ними никто иной, как английский шпион. Третий агент - видимо, начальник - сидел, развалившись в том самом кресле, в котором обычно читал эти самые книги Александр Исаакович, или когда слушал классическую музыку.

Начальник явно скучал: было заметно, что он и сам не очень верит, что перед ним английский шпион.

После того, как Александр Исаакович одел старое поношенное пальто и ушел, сопровождаемый тремя агентами, в доме стало тихо, как в склепе, и только часы-ходики, висевшие на стене на кухне, продолжали отсчитывать падающие капли времени. В соседней комнате тихо всхлипывала Нина Александровна и был слышен низкий голос Михаила, утешавшего ее.

Больше всех в квартире потеря такого соседа и друга, как Александр Исаакович, оглушила Кольку. Он то слонялся без дела по квартире, то вдруг снимал со стены бинокль, подаренный ему, кстати, Александром Исааковичем, подходил к окну и смотрел вдаль. А когда прекращал смотреть, то из глаз его почему-то катились слезы. Колька хмурился, пытался незаметно смахнуть их, но они появлялись снова и не было никакой возможности их остановить.

Другое событие, также оставившее неизгладимый след в юной Алиной душе, было появление в их доме нового человека. Его звали Иван.



Иван был студентом той самой академии художеств, где Лидия вот уж несколько лет как работала моделью два, а иногда и три раза в неделю. Иван в академии изучал скульптуру. Он приехал в Ленинград с Урала, который любил всей душой, и куда собирался вернуться, сразу после окончания академии. Однокашники, хоть и подтрунивали над ним - высоким, широкоплечим, и круглый год ходившем в солдатских керзовых сапогах - любили его за отзывчивость и по-настоящему аристократическое благородство манер.

Здесь, в академии, работая над обнаженной натурой, Иван как-то раз после урока подошел к Лидии, позировавшей классу и тихо сказал ей, что ее грудь и бедра природа выточила точно так же, как она сделала это Венере Милосской. Лидия покраснела от удовольствия: таких комплиментов ей в жизни никто еще не говорил.

- Меня зовут Иван, - представился он. - Хоть я, конечно же, не Микеланджело, но тоже умею ценить красоту. Я подумал, что вам будет приятно услышать правду, ведь вы действительно необыкновенно красивы...

Когда в декабре семестр наконец закончился, а за окном кружила, завывая на все голоса, беспощадная метель, Иван снова подошел к Лидии и предложил проводить ее до дома.

- Погода ужасная, - сказал он. - Я подумал, что вместе будет не так страшно возвращаться домой.

Лидия взглянула ему в глаза. Она, если сказать правду, давно ждала чего-то подобного и даже немного расстраивалась, что это не происходило, хотя она и видела, какими восхищенными глазами он смотрит на нее во время сеансов.

- Погода действительно ужасная, хотя я почему-то люблю метель, - ответила Лидия. - Я буду рада, если мы насладимся этой метелью вместе.

По дороге домой Лидия зашла в магазин чтобы купить что-нибудь на ужин. Около кассы она замешкалась, ища кошелек, но Иван мягко взял ее за руку, улыбнулся и показал жестом, чтобы она не беспокоилась. Потом достал деньги и заплатил за все сам.

Дома они пили горячий чай со вкусным песочным печеньем, а Аля продолжала есть котлету прямо со сковородки, отламывая от нее по маленькому кусочку.

Иван ей очень нравился. После чая, взглянув на часы, Иван встал, взял пальто, поцеловал руку Лидии и ушел. Аля лежала в постели и слышала, что ее мама тоже почему-то не спит, а все о чем-то думает и вздыхает, счастливо улыбаясь чему-то в темноту.

С тех пор, как Иван неожиданно вошел в их тихую и однообразную жизнь, Аля почувствовала себя намного счастливей и даже в школе стала учиться лучше. Лидия тоже стала выглядела моложе своих тридцати двух, а по выходным даже на прогулку в парк стала одевать свое самое красивое платье - чего не случилось с нею уже давно.

В такие дни Иван заходил за ними утром, а потом они все вместе садились на трамвай, который привозил их прямо к центральному парку, где они и проводили почти целый день. Иван то угощал их мороженым, то сладким морковным соком, а вместо обеда они отправлялись есть пышки.

Аля сидела за столом, жевала голячую пышку, запивая ее жидким кофе, смотрела то на смеющуюся и раскрасневшуюся мать, то на Ивана, и думала: как все-таки может быть прекрасна эта жизнь!

Откуда Иван, тогда еще простой студент академии художеств, брал деньги на всю эту роскошь, Аля не знала. Она и не догадывалась, что по ночам Иван ходил работать на хлебозавод разгружать тяжелые мешки с мукой из вагонов, приходивших издалека, чтобы потом на выходных баловать этих двух маленьких женщин, которые стали ему почти семьей.

Так незаметно пробежало полтора года, которые, наверное, были самым счастливым временем и в жизни Лидии и в жизни маленькой Али. Жаль только было, что Иван почему-то так и не переехал из уродливого студенческого общежития жить к ним в небольшую, но все-таки свою собственную комнату. Аля нравилось, что он, по крайней мере, довольно часто приходил в гости, приносил гостинцы и иногда оставался до утра.

Пришел март 1953, и страну потрясла весть: умер Сталин. Наконец-то этот некрасивый маленький человек с лицом, со следами оспы и маленькими хищными, как у рыси глазами, покинул этот мир. Хотя многие, особенно на людях, и

оплакивали его, но с его смертью в мир вдруг вернулась радость, и даже солнце стало светить по другому: как-то теплее.

Первой большой радостью стало возвращение Александра Исааковича.

В солнечный апрельский день он просто открыл дверь своим ключом и вошел. Он улыбался так просто и так естественно, как-будто вышел из дома всего только минут десять назад - чтобы сходить за хлебом в булочную за углом. И только его поседевшие волосы и постаревшее и сильно утомленное лицо говорили о том, что с момента его ухода прошло много времени: почти два года.

Жильцы квартиры по поводу возвращения Александра Исааковича устроили настоящий пир. Нина Александровна даже достала последнюю баночку меда и поставила ее на стол. На празднике не было только одного человека - Кольки. После ареста Александра Исааковича в 1952, Колька, как только закончил 8-й класс, сразу же поступил в Нахимовское училище. Его цель - поступить в медицинскую академию - как и советовал ему человек, которого он считал своим лучшим другом и учителем, не изменилась. Просто после ареста Александра Исааковича Колька решил, что Нахимовском училище ему будет лучше, а бредням НКВД, что Александр Исаакович был каким-то там английским шпионом, Колька, естественно, не поверил.

Через несколько дней после возвращения, Александр Исаакович вернулся на работу в травмпункт. Абсолютно все, даже его недоброжелатели, были рады его возвращению.

Дело в том, что пока его не было, со скандалом уволили главврача. Увольняя его, старого человека, никто, конечно, не вспомнил, что именно он предупреждал, что замену Александру Исааковичу найти будет очень трудно, а скорее всего, невозможно: ни один травмпункт в Ленинграде не мог похвастаться, что у них работает настоящий полевой хирург, прошедший войну.

Таким образом первым кандидатом на должность главврача, которого в травмпункте уже не было больше года, предложили Александра Исааковича. Несмотря на то, что просили его всем миром, он решил отказаться под предлогом расшатанного в тюрьме здоровья.

Из его комнаты вновь запахло вкусной едой, которую он, как и раньше, готовил на общей кухне, но вкушал всегда в своей комнате, за столом, сервированным по всем правилам этикета. Моцарт, Шопен и Мендельсон разделяли с ним трапезу, а соседи, проходя мимо его комнаты, останавливались, прислушивались к звукам музыки, проходящими через дверь, и их лица озарялись счастливой улыбкой. А в отношениях Лидии и Ивана наметилось что-то болезненное, но что - Аля объяснить не могла. Однажды ночью она подслушала их разговор: Иван извинялся, что позволил себе вторгнуться в их жизнь, не осознавая того, что не сможет позволить себе в ней остаться: он должен вернуться на свою родину, на Урал.

Лидия, в свою очередь, пыталась объяснить ему, как могла, почему она не может покинуть город, где родилась, выросла, где погибли ее родители.

Але хотелось плакать, хотелось вскочить с постели, подбежать и объяснить им, что они очень нужны ей оба, и что так просто найти какое-нибудь решение, чтобы никогда больше не расставаться.

Но день расставания все-таки пришел, независимо от того, как сильно умоляла Аля небеса сделать так, чтобы ее мама и Иван поженились.

Они все трое стояли на вокзале, тихие и молчаливые. Было очевидно, что Лидия и Иван чувствовали себя плохо и еле сдерживали слезы, готовые вот-вот брызнуть из глаз. Но, неизвестно зачем, они изо всех сил пытались изображать из себя двух хороших друзей, которые расстанутся самое большее на месяц, ну, может быть на два.

Поезд уже тронулся, а Иван все еще стоял на подножке и махал рукой двум женщинам, большой и маленькой, которые с тоской смотрели вслед уходящему поезду, уносящему вдаль их неосуществленные надежды...

После отъезда Ивана следующие несколько лет пролетели как во сне, в трудах и заботах. Почти сразу, как он уехал, Лидия перестала позировать в академии.

Просто не могла больше ходить туда, и все.

В ее последний день после урока студенты по очереди подходили к ней: кто-то просто пожимал руку, кто-то обнимал. Всем было грустно.

- Очень жаль, что вы нас покидаете, - профессор Аникушин подошел к Лидии и галантно пожал ей руку. - Нашим ученикам не часто везет работать с такой прекрасной моделью, как Вы. Может передумаете?

- Боюсь, что нет, Михаил Константинович, - ответила Лидия. - Так много всего произошло в жизни в последнее время...

Аникушин понимающе улыбнулся.

- Я вас понимаю и не смею осуждать. Только помните: жизнь - скоротечна, а вот искусство - вечно. И чтобы вы никогда об этом не забывали, позвольте подарить вам этот портрет.

Два студента поднесли Лидии что-то похожее на картину, укрытую полотном.

- Voilà, - Аникушин сдернул покров и Лидия увидела...себя. Это был один из портретов, нарисованных кем-то из студентов-выпускников несколько лет назад и рекомендованный для выставки. Никаких премий портрет не получил, хотя и был отмечен за отличное мастерство рисунка.

Лидия подошла к портрету и погладила его рукой.

- Так вот я, значит, какая, - задумчиво произнесла она.

Портрет ей явно понравился.

- Этот портрет, дорогуша, никогда не состарится, в отличие от нас, простых сметных, - серьезно сказал Аникушин. - Позвольте пожелать вам всего самого лучшего и помните, что двери моего класса всегда открыты для вас, если вы вдруг передумаете...

\*\*\*

На дворе был май, в Ленинграде густо летел тополиный пух, обещая теплое лето, а на носу были последние школьные экзамены. Аля точно знала, куда она хочет поступать: в летное училище, чтобы стать пилотом гражданской авиации. Такое училище было только одно на весь Советский Союз и, по счастливой случайности, располагалось оно в Ленинграде, прямо на Литейном проспекте.

Аля проснулась от солнечного луча, который после нескольких попыток все же пробился между шторами и притаился где-то между ее носом и левым глазом. И

тут она вспомнила: сегодня 10 мая, сегодня день ее рождения! Наконец-то ей исполняется целых восемнадцать лет!

Именно сегодня Аля ожидала чего-то необычного. Она встала с этим ощущением и, что примечательно, оно не покидало ее все утро.

"Что-то должно сегодня произойти!" думала Аля, расчесывая перед зеркалом волосы. "Такие ощущения меня давно не посещали...К чему бы это?"

В эту самую минуту раздался звонок в дверь. Аля бросилась к двери, открыла ее и замерла: на пороге высокий, стройный, в полной форме курсанта Военно-медицинской академии, стоял Колька. Все, как и было обещано Александру Исааковичу, свершилось: его приняли в медицинский институт и дали три дня выходных - на свадьбу.

В руках у Кольки был букет. Аля стояла на пороге, застыв от изумления, а Колька улыбался во весь рот и тоже молчал, околдованный волшебством предстоящего момента.

- Ты... станешь моей женой? - наконец вымолвил он охрипшим от волнения голосом.

И протянул Але букет.

Вместо ответа Аля подпрыгнула на месте, а потом кинулась ему на шею, смяв с своим невольном порыве цветы.

- Конечно, да, - прошептала она ему на ухо. - Господи, как же долго я тебя ждала... Она наконец поняла, почему ее сегодня утром разбудил именно солнечный луч: потому что в этом мире кто-то тоже очень ждал ее дня рождения.

Через три дня они поженились. Чувство, которое они испытывали друг к другу с детства, выдержало испытание и временем, и расставанием. За эти годы оно даже выросло, сформировалось во что-то новое, во что-то более конкретное, и им обоим стало абсолютно ясно, что друг без друга они больше просто не могут жить.

\*\*\*

Несмотря на то, что он был теперь женат, Колька все равно должен был вернуться в казарму и жить там еще один год, только изредка получая разрешение приходить домой на выходные. Но молодые были счастливы и этим кусочкам счастья.

А вот в летную академия Алю, конечно же, не приняли.

Как оказалось, единственным местом, где готовили летчиков, была академия в Ульяновске. Аля написала туда письмо, где подробно изложила, почему она хочет стать летчиком: быть как Амелия Эрхарт, пионер авиации, и к тому же еще и писатель. Ответа пришлось ждать долго, и когда он пришел, у Али перехватило дыхание. Неужели ее мечта может исполниться?

Ответил ей сам директор училища, но ответ его был сдержанный и нельзя сказать, что очень дружелюбный. В письме он пространно намекнул, что "женщины у нас пока самолеты не пилотируют," а сравнивать себя, а уж тем более мечтать быть похожей на какую-то там американскую летчицу, и вовсе неуместно для советской девушки-комсомолки.

Аля отказывалась понять, что когда на дворе 1958 год, и когда в космос был уже отправлен первый в мире спутник, женщины до сих пор не могут служить в гражданской авиации. Но она поняла то, что мечта ее не осуществима.

Как ни странно, но Аля вдруг запретила себе расстраиваться: если не хотят принимать, ну и пусть, им же только хуже! Не будет у них никогда советской Амелии Эрхарт, вот и все. У американцев будет, а них - нет.

Решив не травить душу и не тратить нервы впустую, сразу после окончания школы она подала документы в Железнодорожный институт, сдала экзамены и была принята на первый курс.

\*\*\*

Конец 50-х в Советском Союзе было веселое время: Никита Хрущев, хоть и начинал потихоньку скатываться к диктатуре, но еще пытался прикидываться самым демократичным на свете коммунистом. Полностью отказаться от коммунистических идей ему не позволяли его соратники по партии, которые посадили его руководить страной, да и сам он, но правде сказать, не особо верил в идеи демократии, свободу слова и рыночную экономику. Ему для этого не хватало образования и, что самое главное, желаний. Он никогда ничего не хотел поменять в стране, измученной и обескровленной Сталиным, а хотел только подправить немного и, возможно, смягчить. Сначала люди ему поверили, особенно когда по

всей стране стали строить пятиэтажные дома с крошечными квартирками и переселять туда уставших от грязных коммуналок людей.

Семьи, лучшая часть жизни которых прошла в коммуналках, куда их заселили сразу после большевистского переворота, теряли голову от счастья, открывая своим ключом отдельные квартиры, величиной чуть более обычного гаража. Это было, пожалуй, самое счастливое время в стране, уставшей от террора, репрессий, войны, хлебных карточек и коммунальных квартир. Кругом игрались свадьбы, рождались дети, и люди наконец снова начали иногда поднимать голову к небу, смотреть на солнце и все чаще и чаще думать о прекрасном.

Визит Хрущева в Америку в 1959-ом, от которого все столько ожидали, на самом деле не принес ничего хорошего ни ему, ни его стране, ни всему цивилизованному миру. Никита Сергеевич вернулся в дурном настроении, видимо, поняв, что Америку ему уже никогда не догнать. Поэтому всю силу своего гнева он решил обрушить на оставшихся после сталинских репрессий религиозных деятелей, а в довершение своих великих деяний велел по всей стране вместо пшеницы сажать кукурузу.

Результатом его неумной деятельности и отсутствия веры в рыночную экономику стали очередной дефицит продуктов во всей стране и страх, поселившийся в душах людей, которые еще не разучились верить в бога. На этот раз их страх стал горькой реальностью: тех, кто верил в бога, стали открыто поднимать на смех, не принимали в университеты, увольняли с работы, и вообще всеми силами пытались им дать понять, что они недостойны быть членами нового и просвещенного общества советских людей.

Все эти грозы, однако, пронесли над Алиной головой почти незаметно: в бога она не верила, была занята учебой в институте и, конечно же, наслаждалась своим новым семейным счастьем. Счастье это и так доставалось ей только по выходным, когда Кольку наконец отпускали из казармы домой, так что ни ей, ни ему было просто некогда задумываться о пустяках.

Она и не заметила как пронеслись пять лет, как слетал в космос Юрий Гагарин, как расстреляли рабочих в Новочеркасске, и как затравили великого Пастернака всего



лишь за то, что он захотел рассказать людям правду о тех страшных временах, которые изучали в школах под названием "великая социалистическая революция". Бешеный бег времени Аля заметила только тогда, когда в 1963 получила свой диплом инженера-железнодорожника и назначение на работу. Работа была далеко: на какой-то станции, до которой от дома надо было добираться два с половиной часа.

Колька в тот же год закончил медицинскую академию и сразу был направлен доктором на атомную подлодку. Он не ожидал такого назначения: он мечтал о море, хотел увидеть другие континенты, хотел посмотреть, как в океане садится за горизонт оранжевое солнце, и как вдали иногда виднеются чьи-то алые паруса. Вместо этого его загнали на самое дно океана.

- Хорошо еще, что не на дно Марианской впадины, - мрачно пошутил он. Аля утешала его, как могла. Говорила, что это всего лишь первое его назначение и что очень скоро начальники, узнав, какой он замечательный врач, отправят его служить в какой-нибудь морской госпиталь, расположенный на скалистом лазурном берегу. Она, конечно же, поедет с ним. Они купят какой-нибудь маленький домик недалеко от моря, и она будет поджидать его каждый вечер с работы, сидя у окошка и задумчиво подперев голову рукой.

- И не надоест тебе меня ждать? - смеялся Колька, прижимаясь лицом к ее волосам и вдыхая их сладкий аромат.

Но проходили год за годом, а ничего из того, на что надеялись и Аля и Колька, почему-то не происходило. Кольку регулярно повышали в звании, навешивали на грудь медали, которым он не придавал никакого значения, и продолжали держать на подлодках.

На них он регулярно уходил в море на месяц или на два, потом возвращался, проводил с семьей две-три недели, и снова уходил под воду. Слава богу, что в 1962 у них родилась Ирина: забота о ней стала смыслом Алиного существования.

Домик на лазурном берегу они построить не смогли, но вместо него получили маленькую двухкомнатную квартирку, куда взяли к себе жить Алину маму, Лидию, которая очень помогала с Ириной, пока Колька был в море и Аля целыми днями на работе.

Где-то в середине 60-х Хрущева наконец отправили на пенсию, а с экранов телевизоров теперь стал говорить Брежнев, обещая исправить все ошибки Хрущева, заполнить магазины всевозможными товарами, решить проблемы с продуктами питания, и прочее. Ему, разумеется, никто не верил, тем более, что всезнающая молва разносила вести о том, что "дорогой Леонид Ильич", оказывается, имеет слабость к роскошным автомобилям, которые ему доставляют специальными рейсами со всех концов мира.

Так незаметно пробежали еще 15 лет, за которые Колька успел стал подполковником медицинской службы. Это была блестящая карьера для любого офицера к сорока годам, но вот в госпиталь на лазурном берегу его так никогда и не перевели. Слишком много там работало всяких бездельников и болтунов со связями в генштабе, а хорошие врачи очень были нужны на подлодках, особенно на атомных.

Лето 1981 выдалось великолепное, теплое, грибное. Колька наконец взял долгожданный отпуск и они всем семейством отправились на дачу. Трудно поверить, но в этом году в университет поступала уже Ирина, и она тоже решила ехать на дачу с семьей и готовиться к вступительным экзаменам прямо на природе, сидя под тенистой яблоней. Ирина была уверена, что на свежем воздухе любая наука лучше ползет в голову, чем если сидеть все лето в городе и задыхаться в душной квартире.

Аля тоже взяла отпуск, правда, с этим была проблема: ее совершенно не желали отпускать летом.

- Сама знаешь, что летом у нас самое горячее время, - сказал начальник, не глядя в глаза и давая понять, что дальнейшая дискуссия бесполезна. - Как хочешь, но отпустить не могу.

Объяснения, что у нее дочь поступает в университет, и что муж-подводник не может всять отпуск в другое время, не действовали. Пришлось пригрозить, что она уволится.

Начальник покраснел, но бумагу на отпуск сразу подписал.

- Последний раз летом отпускаю, - сухо сказал он, и отвернулся.

Аля ничего не ответила, молча взяла бумагу и ушла.

Они приехали в свой старый дом, срубленный из цельных деревьев еще лет сто назад, открыли настежь окна и долго топили печку, чтобы выдавить сырость и просушить толстые стены. К ночи уютный запах прогретых стен усыпил всех, и они проспали до утра не просыпаясь, чего никогда не случается в городе, наполненном далекими и близкими шумами чужих жизней - шумами, которые никогда не кончаются.

Колька, как и положено настоящему морскому офицеру, сразу же установил ежедневный распорядок дня: подъем в 8 утра, купание в речке Лаве, которая протекала прямо за домом и где-то через километр впадала в Ладогу, плотный завтрак с последующим загоранием на берегу.

Невозможно описать, сколько радости приносила им эта маленькая река, но самым главным удовольствием была, конечно же, рыбная ловля. Простой удочкой, вырезанной из рябины, куском лески с привязанным к ней поплавком из пробки, Ирине за час удавалось наловить двадцать хороших окуней, которых она потом жарила на сковородке прямо на костре перед домом.

На другой день, чтобы отдохнуть от солнца, они все втроем отправлялись в путешествие на велосипедах, из одной деревни в другую. Расстояние между деревнями было не так уж и велико, всего километров 5-10, но дороги ужасны, особенно после дождей. Иногда приходилось переправляться через ручьи, вышедшие из берегов, неся велосипеды в руках, а потом часами ехать по грубой гравийной дороге, которая, казалось, вытряхивала душу не только из велосипедов, но и из седоков.

Но, несмотря ни на что, домой они всегда приезжали хоть и грязные, и усталые, но невероятно счастливые, и тут же бежали в речку мыться. Час спустя, сидя за столом и разливая по кружкам горячий чай, пахнувший смородиновым листом, они уже и не вспоминали о перенесенных сегодня трудностях, а снова мечтали о следующем приключении.

В июле под Ленинградом идет сезон ранних грибов - они растут в то же самое время, когда колосится рожь. В некоторые годы грибов бывает тьма-тьмущая, и в то лето как раз так и случилось. Идти по звенящему тишиной лесу, отыскивать

спрятавшиеся в траве или под листьями грибные шляпки - это было, наверное, самым большим удовольствием для Ирины. Утро еще очень раннее, солнце только что встало, еще немного зябко, но азарт грибника перекрывает все неудобства: тяжелые резиновые сапоги и длинную куртку, и маску от комаров, которые радостно атакуют добычу.

В этих простых радостях прошло почти два месяца, и отпуск, как и все в этой жизни, подошел к концу. Пришел тот день четвертого августа, о котором и Аля и Колька давно думали с ужасом: им было так хорошо вместе, что единственное, чего они желали - это чтобы время остановилось и последний день отпуска никогда бы не наступил. Они просто утонули друг в друге, в своем невероятном счастье, и забыли обо всем на свете.

В тот день четвертого августа, Аля с Колькой отправились прощаться с уходящим летом. Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, они взяли велосипеды и поехали туда, куда ездили вот уже много лет подряд: в заповедник зубро-бизонов. Этот заповедник основали несколько лет назад какие-то ученые-энтузиасты, которые активно изучали американских бизонов и пытались скрещивать их с русскими зубрами. Эксперимент оказался успешным, а сам заповедник приобрел даже международную известность. Но тут-то все и кончилось: деньги перестали поступать, ученые ушли на пенсию, и огромные зубро-бизоны грустно бродили по вольеру в ожидании редких посетителей, которые из жалости привозили им целые батоны белой булки.

Аля с Колькой видели как и расцвет заповедника, так и его упадок, и хотя с каждым годом им неизменно становилось все грустнее и грустнее после посещения несчастных и никому больше ненужных животных, они все равно приезжали сюда каждый год, чтобы попрощаться с летом.

Однажды Колька не выдержал и написал гневное письмо министру природы, требуя или прекратить издеваться над ни в чем не повинными животными, или начать о них заботиться, как положено в цивилизованном мире. К его удивлению, письмо неожиданно сработало: на следующее лето у животных вдруг появился теплый сарай и им регулярно стали подвозить сено. На радостях, они подарили этому миру двух совершенно изумительных зубро-бизончиков.

Вот туда и поехали Аля с Колькой, чтобы попрощаться с уходящим летом. Они, как и всегда, стояли прямо напротив кормушки, куда животные, привыкшие к людям и помнившие, что они всегда приносят с собой что-нибудь вкусное, подходили всей семьей. На этот раз их поджидал настоящий пир: Аля принесла для них и хлеб, и морковь, и капусту, которую бизоны радостно поедали прямо у них с рук.

Потом Аля с Колькой, как дети, долго сидели, обнявшись, на скамейке под раскидистым дубом и молчали, думая каждый о своем и, вероятно, об одном и том же. Потом, не торопясь, вернулись домой.

На следующее утро Колька уехал. За ним в первый раз прислали машину: видимо, задание на этот раз было какое-то важное, раз он так понадобился. Слава богу, что отпуск ему удалось отгулять до конца.

После того, как Колька уехал, Аля тоже вернулась на работу, а Лидия с Ириной остались доживать август на даче, питаясь исключительно собранными в лесу грибами и наловленной в реке рыбой. Дни долго еще стояли теплые, но однажды вдруг тонкий лед покрыл бочку воды, из которой они всегда брали воду для бани. Лето, а вместе с ним и сказка, в которой они жили на даче, заканчивались, и надо было подумать, как возвращаться к реальной жизни.

Незаметно пролетел сентябрь, потом октябрь. Ни звонков, ни писем, ни телеграмм. Обычно Аля не волновалась, но в этот раз в воздухе витало что-то недоброе, и сердце болело, как будто хотело предупредить о чем-то.

Наконец первого ноября раздался телефонный звонок. Аля бросилась к аппарату прямо с кухни, где жарила блины, но голос в трубке был совершенно незнакомый. Голос не поздоровался, а сухо осведомился, кто она, после чего сказал, что завтра она должна будет приехать в аэропорт Пулково и встретить мужа.

На вопросы "почему в аэропорт? и почему приехать сама?" голос еще суше сказал что-то типа "там увидите", и повесил трубку.

С кухни сильно пахло сгоревшими на сковородке блинами...

На следующий день задолго до прибытия самолета Аля была уже в аэропорту.

Взволнованная, но красивая, она все утро приводила себя в идеальный порядок:

сделал прическу, макияж, и долго стояла перед открытым шкафом, выбирая, что одеть.

Ей всегда нравилось видеть Колькины обожающие и восхищенные глаза, когда он появлялся в дверях после долгой командировки. Глаза эти всегда светились любовью и теплотой, даже после почти двадцати лет их совместной жизни.

Аля стояла на выходе из аэропорта, где все ожидающие обычно толпились беспорядочной толпой, подгоняя время и пытаясь не пропустить долгожданное дорогое лицо, едва только оно появится из-за раздвигающихся дверей. Сегодня ожидающих было немного: рейс был неинтересный - из Мурманска.

Наконец двери открылись и из-за них стали появляться первые пассажиры. Они проходили и проходили мимо, но Кольки среди них почему-то не было.

Аля вся напряглась, как будто перед прыжком в бездну, дыхание ее стало прерывистым. Определенно, тут что-то было не так, не так как всегда... Но вот что? В эту минуту, как будто в ответ на ее немой вопрос, в дверях появился он. Колька медленно шел, поддерживаемый кем-то в штатском, с каменным, как у сфинкса лицом.

Увидев Алю, Колька остановился, и на лице его мелькнула грустная улыбка. Он как будто хотел попросить у нее за что-то прощения.

Потом он медленно отстранил руку поддерживавшего его человека в штатском и остался стоять, чуть-чуть покачиваясь, словно собираясь с силами. Потом сделал шаг ей навстречу и снова остановился. Постоял несколько мгновений, и сделал еще один шаг. Потом еще один...

Аля видела, что шаги эти давались ему с невероятным трудом, и пока не могла понять, почему.

Колька стоял, собираясь с силами, но, видимо эти три шага выпили из него всю оставшуюся энергию. Он упал. К нему кинулись сразу несколько человек, но первым кинулся тот, что был в штатском. Он что-то грубо и резко сказал остальным, показал им какой-то документ, и они сразу отошли, почему-то изменившись в лице.

Аля бросилась к Кольке. Все тот же, в штатском, попытался помешать и ей, но она оттолкнула его с силой и схватила Кольку в объятия, приподняв его, как смогла, с

пола. Он открыл глаза, попытался улыбнуться ей, и тихо сказал: "Моя милая Аля..." Потом устало вздохнул, и снова закрыл глаза, как будто уснул.

Минут через двадцать приехала машина скорой помощи и увезла Кольку в ведомственную больницу. Алю туда, как они ни старалась, как ни плакала, как ни кричала, не пустили.

Она вернулась домой на такси и проплакала на кухне всю ночь. Наутро она снова была в больнице, снова пыталась добиться свидания, и снова все было напрасно: как-будто непреодолимая стена выросла между ними и не было никакой возможности ее преодолеть.

Она снова приехала домой в полном неведении и непонимании того, что происходит, и почему ей так упорно не дают увидеться с мужем. Чтобы узнать, наконец, правду, ей предстояло пережить еще одну бессонную ночь, порванную на десяток коротких снов, перемежавшихся с какими-то ужасными картинками, пока наконец утром не раздался долгожданный звонок.

На том конце провода опять звучал тот-же чужой и безучастный голос.

- Ваш муж скончался сегодня ночью, - сказал голос и повесил трубку прежде чем услышал ее стон...

\*\*\*

- Вот и вся история, - сказала Ирина грустно. - Была у меня полная и счастливая семья, и вдруг никого не осталось... А вроде, и войны никакой нет...

Стивен молчал и было видно, что в глазах у него застыли две слезы.

- Твой отец, судя по всему, сильно облучился на подлодке во время какой-то аварии, - сказал он. - Естественно, что он, как врач, и как честный человек, наверняка был там до последней минуты. Вот и получил максимальную дозу.

Ирина тихо плакала рядом на диване. Он обнял ее за плечи и нежно притянул к себе.

- Маме твоей, конечно же, они ничего не сказали. Не будут же они каяться, что, была, понимаете ли, очередная нештатная ситуация - небольшая авария на подводной лодке. Еще, неверняка, и засекретили все: мол, умер человек, Случается. Служба такая...

- Проклятая служба! - выдавила из себя Ирина. - Как я их всех ненавижу!  
И разрыдалась.

Стивен молчал и только тихонько гладил ее по голове.

- Папа умер четвертого ноября 1981, - наконец сказала Ирина, совсем тихо. - Ему было всего сорок три года... А мама покончила с собой 30 марта 1982... Она всегда говорила, в шутку, что ему надо беречь себя, что не переживет его, если с ним что-нибудь случится... И не смогла.

Ирина помолчала.

- Я не могу ее осуждать: папа был удивительный человек, и мама любила его больше собственной жизни...

Воцарилось молчание, и только ходики на стене все еще напоминали о том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

- Я приехал сюда двадцать четвертого ноября и всего через несколько дней встретил тебя, - прошептал Стивен ей на ухо. - И я уже точно знаю, что никогда не покину тебя! Моя Иоланта...

1924 – 1936

Бахов

В отель Стивен добрался только к вечеру второго января.

Когда он стоял у регистрационной стойки ожидая ключ, он чувствовал, что в спину ему смотрят чьи-то пытливые глаза, изучая каждую складку на его куртке: где же он был эти два с половиной дня? С кем? Почему не спал в своем номере?

Стивен поднялся к себе, подошел к столу и пролистал бумаги, специально оставленные в беспорядке для любопытного глаза: это были наброски к будущей книге о балете, ничего более, но было очевидно, что в его отсутствие их кто-то очень внимательно просматривал.

Стивен улыбнулся сам себе, довольный своей предусмотрительностью, потом быстро разделся и лег в постель: надо было как следует выспаться перед



завтрашней работой над пленками. В Советском Союзе у него оставалось не так уж много времени, а работы впереди было еще много.

\*\*\*

“Так шла наша жизнь при новой власти, которая после смерти Ленина ненадолго ушла в тень. Но демоны всегда появляются незаметно... а мы, простые смертные, делаем наши маленькие дела и не замечаем, как подкрадывается мрак. Некоторые из нас, чувствительные к колебаниям политических частот, подчас слышат то, что не слышат другие, как пчелы чуют грозу задолго до ее появления и прячутся в улей.

Наверное, слышала или предчувствовала эту приближающуюся грозу наша хорошая подруга, Анастасия Чеботарева. Она была женой поэта, Федора Соломина, и стала любовью всей его жизни. Она постоянно просила и умоляла своего мужа покинуть Россию, и как можно скорее, а он не торопился: все обещал ей заняться документами, а сам надеялся на перемены и откладывал, откладывал... Но со смертью Ленина большевики мгновенно закрыли все границы “до особых распоряжений”. Анастасия, совершенно раздавленная этой новостью и невозможностью уехать в Европу, в приступе отчаяния в холодный ноябрьский день бросилась с моста в Неву.

Соломин остался вдовцом женщины, которая была моложе его на целых 30 лет и которую он любил больше жизни. Где-то через месяц его нашли в кабинете, сидящим за рабочим столом: в остывшей руке застыло перо, на столе лежал недописанный роман, и все еще догорала ночная свеча...

Что-то неясное происходило все эти годы в стране: куда она повернет? Обратна ли к капитализму, или продолжит искать свои собственные пути развития?

В конце 20-х мы поняли, что разворота не будет, а поиски "новых путей" начали с закрывания газет и журналов. Вновь появилась цензура, которая с каждым днем становилась все злее и напористее. Наконец, начались новые аресты...

В 1929 пришла и моя очередь. Они явились посреди ночи, как обычно. Наверное, они так делали специально, чтобы застать свою жертву врасплох, еще сонным,

неготовым сопротивляться...Мне сразу объявили, что я должен буду поехать с ними, и дали на сборы всего десять минут.

Мы все поняли, что обратно меня не привезут, а скорее всего оставят на Лубянке надолго. Так и случилось. Сейчас, много лет спустя, и уже зная то, чего тогда я знать не мог, я понимаю, что легко отделался. Случись бы мой арест несколькими годами позже, мы сейчас не сидели бы с вами здесь, мило беседуя...

Меня поместили в камеру, где я и провел около месяца. На допрос вызывали несколько раз в день, но спрашивали все одно и то же: зачем я читал лекции на дому? почему читал именно о немецких философах? сколько народу приходило? записывали ли мои лекции на бумагу, или просто слушали? и так далее в подобном роде.

Я только сейчас понял, что таким образом они проверяли не столько меня, сколько самих себя: искать врагов и шпионов даже среди своих стало для них обычным делом...

Сколько бумаги и времени они перевели на меня - один бог свидетель! В результате всего этого где-то через месяц огласили вердикт: ссылка в Казахстан на пять лет за анти-революционную агитацию. Таким образом, они решили услать меня подальше от Ленинграда и Москвы, где еще много осталось настоящей интеллигенции...

Только потом я узнал, что своей пятилетней ссылкой я обязан Оленьке. Она, бедная, сразу после моего ареста, недолго думая, пришла на прием к самому Луначарскому, министру образования и старому другу Ленина.

Большевики всегда почему-то считали его самым умным и относились к его словам с уважением. Насчет умный он был или нет, я не знаю, но то, что хитрый - это точно. Когда в 1930-е годы Сталин лихорадочно сажал без разбора всех друзей Ленина, Луначарского он почему-то не тронул...

Оленька пришла к нему в кабинет с моей книгой, которую я написал о Достоевском несколько лет назад. Каким-то чудом Луначарский ее читал. Оленька, размахивая книгой, доказала ему, что я - безвредный ученый, к тому же очень больной, и 10 лет лагерей (это то, к чему меня сначала приговорили, но я этого не знал) меня просто убьют.

Луначарский взял какую-то бумажку и нацарапал на ней несколько фраз.

- Ну, это уж они явно перестарались, - проворчал он себе под нос, нервно протирая пенсне рукавом пиджака. - Зачем применять такое суровое наказание к человеку, который ни в чем дурном не замечен? Ну, читает он себе лекции о немецких философах - ну и пусть себе читает. Какой от этого вред пролетариату и нашей революции?

Он подошел к Оленьке, постоянно утиравшей глаза платком, обнял ее за плечи и сказал.

- Ну, не плачьте, милочка. Я же сказал - сделаю, что смогу.

И смог. Как я уже не раз говорил, большевики законов не уважали, юристов на судебные процессы не приглашали, а судьбы людей, наверное, вершили где-нибудь в гостиной, или на кухне, хлебная куриный суп...

Благодаря Луначарскому мой первый приговор - десять лет лагерей! - мне отменили, и как-то запросто написали второй: ссылка в Казахстан. Даже жену с собой взять можно.

Вот и поехали мы с Оленькой в ссылку, как "декабристы" когда-то сто лет назад...

Но те хоть против царя бунтовали, а мы... Ну, да что уж теперь...

Жаль только, что ни маму, ни сестер повидать не дали: прямо из "Крестов", на хлебной машине, отвезли на вокзал. Там посадили в вагон, в котором еще при царе перевозили коров и который теперь был наспех адаптирован для людей. Так и поехали...

Город, куда нас направили отбывать ссылку, назывался Кустанай. Раньше я, разумеется, никогда не слышал о нем, да и никто другой, я думаю. Убогий городишко посреди степей, с маленькими кособокими домиками, прижатыми к земле постоянно дующими ветрами. Богом забытое место.

Приятно только было то, что на вокзале нас никто не встречал. Мы вышли на пустую платформу и всей грудью, глубоко и с удовольствием, вдохнули свежего воздуха, и в эту же минуту мы поняли, как смертельно устали от душного вагона, который убаюкивал нас стуком своих железных подков вот уж целых семь дней... С двумя чемоданчиками, висящими через плечо на отцовском ремне, отправились мы на поиски жилья. Кругом были одинаковые пыльные улицы, без тротуаров, без

фонарей, без вывесок, и душа у меня болела все больше и больше: нет, не такой жизни желал я для своей Оленьки, совсем не такой...

Комнату, однако, мы сняли без особых проблем. Как оказалось, в городке этом уже много лет как живут ссыльные, и в большинстве своем это были профессора, врачи, адвокаты. К ним местные жители не только привыкли, но и уважали их безгранично: уважали за знания, за хорошие манеры, за то, что не пили и не били своих жен, а дети их в школу приходили всегда чисто одетые и учились отлично. Поэтому когда мы постучались в первый понравившийся нам дом, то хозяйка, узнав, что мы из Ленинграда и оба преподаватели, почти расплакалась от радости. Она сдала нам самую лучшую комнату в доме, с окнами в сад, и усадила пить чай с хлебом и медом. Как оказалось, здесь многие держали пчел, которым было привольно в степях, и мед здесь использовали асолютно для всего. В том числе и как главное лекарство, тем более, что госпиталя в городке отродясь не бывало. Через несколько дней мы уже познакомились с некоторыми ссыльными. Все они оказались людьми исключительно приятными и, что самое главное, образованными. Безжалостная судьба оторвала их всех от любимых мест, от дорогих сердцу людей и согнала сюда, в казахские степи, за три тысячи километров от Москвы.

Мы очень близко подружились с одной женщиной, Екатериной Багровской. Она, в прошлом редактор одного из юмористических журналов, сразу после смерти мужа - известного поэта, чьи песни бодро распевали пионеры по радио - была арестована и получила 20 лет ссылки. Приехав сюда, первое, что она увидела была главная улица города, носившая имя ее мужа. На ней она и поселилась...

В этих угрюмых степях читать лекции о немецкой философии, эстетике и истории античной литературы было некому, и мне пришлось стать бухгалтером на складе. Вот когда я еще и еще раз благодарил школу, которую окончил при царе: там нас всех учили не только греческому, латыни, немецкому и французскому языкам, но и математике. И учили, надо сказать, прекрасно.

Поэтому я довольно скоро, неплохо разобрался в основах бухгалтерии и стал на складе почти незаменимым человеком.

Оленька предпочла преподавать французский, который знала великолепно: до большевистского переворота она успела поучиться в Сорбонне, жила некоторое время в Италии, потом немного в Лондоне, где особенно интересовалась рисованием восковых фигур в музее мадам Тюссо.”

\*\*\*

- Стив! - глаза Ирины были полны слез. - Я не могу больше этого слушать...

Давайте сделаем перерыв, выпьем чаю, освежим голову...

Они прошли на кухню где Ирина приготовила свежий чай, поставила на стол печенье.

- Он бьет меня в самое сердце, этот наш Бахов! Я не могу поверить, что люди такого прекрасного образования, такого ума - и они никому здесь не нужны. Вместо того, чтобы дать им спокойно работать на благо общества, их мотают по свету, заставляют жить с оглядкой и молиться, чтобы их не уничтожили вовсе... Как страшно!

Она отхлебнула чая, откусила печенье и стала жевать в задумчивости. Потом добавила.

- Если они узнают, что мы сейчас здесь слушаем - нам конец. Тебя выгонят из страны, а меня, наверное, отправят в тюрьму. Совсем ненадолго, - она хихикнула, - лет на семь.

- Неужели это правда?

Стивен смотрел на Ирину с состраданием.

- К сожалению, да. Я знаю, что одного студента исключили из комсомола, а потом и из университета за то, что он дома хранил и читал разную запрещенную литературу.

- Какую литературу? - быстро спросил Стивен.

- Разную... Бунина, например, "Окаянные дни"... Оруэла "1984"... Ну, и, конечно же, Солженицына... Его ведь где-то в семидесятые изгнали из СССР как предателя... Так что можешь себе представить, какие неприятности нажил себе бедный парень и через что ему пришлось пройти...

Ирина потеряла нос, как будто собираясь чихнуть.

- Я встречал Солженицына, - сказал Стивен. - Перед моим отъездом сюда, мы обедали все вместе на одном приеме. Колоритный человек.

- Ты? - воскликнула Ирина, глядя на Стивена изумленными глазами. - Ты встречался с Солженицыным?

Стивен кивнул. Ему почему-то не хотелось об этом много говорить.

- Лосин предупреждал меня, что эти записи могут изменить чью-то жизнь... Он был прав.

- Мою жизнь они уже точно изменили, - с грустью сказала Ирина. - Очень трудно примириться с фактом, что все, во что ты до сих пор верил - всего лишь одна большая ложь.

- Просто надо найти новый моральный якорь, который не позволит тебе плыть не в том направлении, - сказал Стивен. - Как сказал один из ваших хороших писателей, "Нравственность есть правда". Мне нравится эта фраза. Правда - она всегда нравственна; она учит нас, и очищает наши души одновременно.

Он помолчал, потом добавил.

- Это то, что мы с тобой сейчас и делаем - собираемся передать эту правду людям. Самое главное - не дать ей умереть здесь.

- Я понимаю, - кивнула Ирина. - Проблема только в том, что нашей стране это легче сказать, чем сделать.

Ирина сделала глоток чая, откусила печенье и стала его жевать, о чем-то думая.

- Спасибо тебе, что ты это делаешь для меня, - сказал Стивен, кладя свою руку поверх ее.

Ирина подняла на него глаза и улыбнулась в ответ.

- Ты хочешь сегодня закончить эту пленку?..

\*\*\*

“В 1934 году ссылка моя подошла к концу, но мы не торопились покидать Кустанай. Причин тому было множество, но самая главная, пожалуй, это убийство Кирова.

Я теперь понимаю, что быстро растущая популярность этого самого, как я бы сказал, неортодоксального большевика, беспокоила Сталина. Он, как и все

ограниченные люди, поднятые к вершинам власти случаем, а не своими личными достоинствами, люто ненавидел всех тех, кто хоть как-то выбивался из общей безликой массы людей, его окружавших.

Киров, безусловно, был самым опасным из них: он, например, открыто критиковал "старых" большевиков за их, мягко сказать, радикальные решения - как правило бесполезные, а зачастую и вредные для страны.

Сегодня, глядя назад сквозь призму времени и жизненного опыта, мне иногда кажется, что Киров, где-то в глубине души понимал, что в стране происходит что-то не то и тайно планировал повернуть ее обратно, по крайней мере, к умеренному капитализму. Я думаю, что он хотел дать людям свободу делать то, что они умеют делать лучше всего. К сожалению, он потерпел неудачу...

Сейчас часто говорят, что Сталин, дескать, спас нашу страну от фашизма, сделал ее индустриальной державой... Все это, по-моему, ерунда. Я считаю, что он погубил нашу страну, вернее, уничтожил все то хорошее, что не успел уничтожить Ленин. И от фашизма он нас не спас, а как раз наоборот: он сделал все возможное, чтобы фашисты пришли сюда, топтали нашу землю, уничтожали наш народ... Я иногда, грешным делом, даже думаю, что он ненавидел Россию, ненавидел все русское и даже желал, чтобы Гитлер уничтожил нас.

Поэтому он и подписывал всякие позорные договора, запрещал укреплять границы, приказывал не верить донесениям разведки, называвшей даже день немецкого вторжения: 22 июня. Подумать только: профессиональные разведчики, там, в Германии, рисковали жизнью, чтобы добыть эту бесценную информацию, а он, сидя в Кремле, бросал их донесения в огонь...

Было и еще одно обстоятельство, которое задержало нас в Кустонае: именно там я наконец начал работать над книгой о французской литературе эпохи Ренессанса.

Как это ни странно, но на самом краю земли, где никто тебе не мешает, книга моя писалась как нельзя лучше. Представьте: маленькая комната, окна которой выходят в сад, где цветет яблоня... Воздух напоен всевозможными запахами, а мир - звуками, и ужасно хочется жить и писать...

Хозяйка каждое утро доила козу, и мы покупали у нее теплое парное молоко. Знаете, я тогда, в этих хмурых степях почти совсем перестал кашлять, и даже нога моя, кажется, стала лучше.

А книги, которые мне были нужны для работы, я регулярно получал из Ленинграда, от моего старого друга, профессора генетики Ивана Канева. Мы с ним придумали вот такую хитрую штуку: он берет нужные мне книги в библиотеке, как будто для себя, а сам посылает их мне. Я получаю коробку, достаю оттуда книги, кладу туда те, что прочитал, переворачиваю крышку коробки на другую сторону, где уже давно написан адрес Ивана, и отсылаю ему ту же коробку обратно. Хитро придумано, не правда ли?

Так вот и путешествовали книги через всю страну - в одной и той же коробке, туда-сюда...

Поэтому мы и не торопились из нашей ссылки. Смешно, не правда ли?

Как я уже сказал, если бы Киров был жив, все могло бы быть по другому. Но его убили... Газеты тут же захлебнулись в крике: “Смотрите! Вот что творят эти ваши троцкисты, эти враги социализма!” И началось...

Время подтвердило, что мы приняли правильное решение - не уезжать из Кустаная, тем более, что нам все равно не разрешалось жить ни в одном большом городе страны... Вот так.”

Февраль 1983

Дима

- Я закончил рассказ! – Дима отодвинулся от письменного стола и, развернув кресло-каталку, подъехал к матери, сидевшей на диване. – Хочешь послушать?

Лина Павловна пыталась починить свой любимый свитер, который вдруг совсем состарился и начал расползаться по швам.

Она подняла голову.

- Что ты сказал, сынок? – спросила она немного рассеяно. – Прости, я задумалась...



- Я сказал, что закончил первый рассказ. Я думал, что буду писать роман, но потом вдруг понял, что это должна быть серия рассказов – рассказов о войне. Каждый рассказ – один эпизод, одна судьба, одна жизнь...

Он помолчал и добавил.

- И одна смерть...

Лина Павловна с материнским страхом посмотрела на сына.

- Ты видел смерть? – тихо спросила она.

- Много раз, мама, - грустно ответил он. – Я даже заглядывал ей в глаза... Хотел понять, какие они у нее, когда она забирает к себе совсем молодых...

- И... понял?

Дима молчал, задумчиво глядя сквозь окно на падающий снег.

- Понял. Они у нее белые, как снег. И холодные...

Лина Павловна невольно поежилась, как будто ей самой стало холодно от его слов.

\*\*\*

Этой ночью Лина Павловна почти не сомкнула глаз. Сперва она медленно читала рассказ, а потом лежала в темноте и смотрела в пустоту ночи. Потом тихо встала и вышел на кухню - покурить. Руки дрожали, когда она раскуривала сигарету.

Когда она закончила рассказ, она поняла, что разговор с сыном у нее будет долгим: о том, что Дима, по ее мнению, талантливый писатель, и что она, его мать, совсем не знала его с этой стороны. А также о том, что рассказ этот в Советском Союзе никогда не напечатают. А если даже где-то и напечатают, то с автором поступят так же, как уже поступили с Солженицыным - выдворят из страны, и все.

Наверняка лишат советского гражданства... а может, прежде посадят, как дисидента, потому что страшную правду об Афганистане здесь людям знать не положено.

Несмотря на все сомнения, Лина Павловна твердо решила, что лично отвезет рукопись в Москву, в журнал Юность: там часто печатали молодых и талантливых писателей. Может, повезет и Диме...

Она взяла билет на ночной поезд, чтобы рано утром быть уже в редакции и любой ценой показать рукопись. Лучше все, конечно, главному редактору. Нехорошо

будет, думала она, если рукопись попадет в руки какого-нибудь несведущего человека, который, вместо того, чтобы передать рассказ по назначению, отнесет его прямо в КГБ.

В купе оказался всего лишь один сосед, очень приятный мужчина лет сорока пяти. Он улыбкой поздоровался с ней и углубился в чтение книги, которую до этого уже держал в руках.

Лина Павловна долго лежала без сна на верхней полке и думала о том, что сказать главному редактору, как объяснить ему, почему сын решил не посылать рассказ по почте, а попросил мать лично привезти его.

"Ладно, там посмотрим," решила она и наконец уснула.

Москва, как и всегда, поражала чистотой и порядком на улицах. Станции метро были полны людей, спешивших на работу с сердитыми и невыспавшимися лицами. В воздухе чувствовалась какая-то суета, какая-то нервозность, непривычная даже для нее, жителя много-миллионного Ленинграда.

В редакции журнала Лину Павловну встретили с видимым изумлением: разве ей назначена встреча?

- Мне надо поговорить с главным редактором, - уверенным голосом сказала она.

- Прямо так сразу и с главным? - на нее смотрели насмешливые глаза секреташа.

- Да, прямо с главным, - сухо ответила Лина Павловна и устремилась к двери, на которой висела табличка: "Журнал Юность. Главный редактор."

- Гражданочка! - почему-то визгливым и сорвавшимся голосом закричала ей вслед секретарша. - Немедленно вернитесь! Да как вы...

Дальнейших ее слов Лина Павловна уже не слышала: она вошла в кабинет и быстро закрыла за собой дверь.

Редактор стоял у открытого окна и курил.

- Чем могу быть полезен? - спросил он, неторопливо поворачивая к ней седую и косматую, как у льва, голову. - Я полагаю, рукопись?

- Не моя... сына, - сказала Лина Павловна, не отводя глаз от его пытливого взгляда.

- Он не смог приехать, он инвалид.

Что-то дрогнуло в лице человека у окна.

- Мне жаль, - сказал он и выдохнул остатки дыма из легких в окно. Потом закрыл ставни. В комнате сразу стало теплее.

- Его рассказ довольно короткий, - начала Лина Павловна. - Я хотела бы знать ваше мнение. Именно ваше! - торопливо добавила она, заметив, как чуть заметно, но нетерпеливо дернулось его лицо. - Вы сами поймете почему, когда прочтете...

- Прошу вас, - он показал рукой на кресло, предлагая присесть.

Лина Павловна села, достала рукопись из своего учительского портфеля и положила на стол перед редактором.

- Вот... Прочтите. Пожалуйста...

Человек с косматой гривой неторопливо надел очки, взял в руки рассказ и углубился в чтение. Лина Павловна не сводила с него глаз.

Его лицо, совершенно спокойное и полное сознания своей миссии, не выражало никаких эмоций. Сначала. Минут через пять оно вдруг начало нервно подергиваться где-то под самыми глазами, как будто он пытался, и никак не мог, кому-то подмигнуть.

"Дошло!" с удовлетворением, смешанным с некоторым беспокойством, подумала Лина Павловна. "Я знала, что дойдет! Такое не может никого оставить равнодушным..."

Человек с гривой, продолжая читать, вдруг нервно потянулся к пачке сигарет, лежавшей на столе. Попытался достать одну, но не смог, и сердито оттолкнул пачку, как будто это она, пачка, была виновата в том, что сигарета отказывалась подчиниться. Было очевидно, что рассказ произвел на него какое-то особое впечатление.

Прошло еще двадцать минут, которые показались Лине Павловне несколькими часами. Редактор наконец поднял глаза.

- Это написал ваш сын? - спросил он.

Лина Павловна кивнула.

- Вы кому-нибудь показывали *это*? - он надавил на слово "это", как будто не желая называть по имени то, что он только что прочитал.

- Кому? - пожала плечами Лина Павловна. - Мы всегда жили уединенно, а теперь и вовсе... Да и некогда нам! - сказала она немного зло.

Редактор осклабился, наконец вытащил упрямую сигарету из коробки, шелкнул дорогой иностранной зажигалкой, и закурил. Пальцы его чуть-чуть дрожали. Он молчал. Лина Павловна терпеливо ждала, когда же наконец "лев" выдаст свой вердикт.

- То, что написал ваш сын, печатать у нас совершенно невозможно, - наконец сказал он, достаточно тихим голосом, чтобы никто не мог слышать его через дверь.  
- Не только невозможно, но даже опасно...

Он помолчал несколько секунд, ожидая всплеска эмоций, но его не последовало. Тогда он добавил.

- Они не посмотрят, что ваш сын инвалид, и ему достанется по полной... Вы ведь меня понимаете?

И он посмотрел Лине Павловне прямо в глаза.

Она тихо плакала. Но то, что сказал этот человек она поняла очень хорошо. Его вердикт ее не удивил: она и сама знала, что не напечатают. Но что все оказалось так серьезно, она не ожидала.

- Я вас поняла, - понизив голос, тихо сказала она. - Спасибо, что нашли для меня время.

Лина Павловна уже хотела подняться и уйти, но редактор вдруг тронул ее за руку, как будто хотел добавить что-то еще. Она посмотрела на него вопросительно.

- Сейчас плохие времена, неправильные - сказал "лев" тем же приглушенным голосом. - Будьте осторожны, прошу вас... А сыну скажите, от меня лично, что он очень талантливый писатель и у него большое будущее. А теперь - идите. Всего вам доброго...

1936 – 1937

Бахов

Перед тем, как войти в подъезд, Стивен еще раз оглянулся. Ему показалось, что кто-то упорно шел за ним от самого метро. Несколько раз он менял направление, но снег позади продолжал хрустеть под чьими-то ногами.

"Кто же это?" подумал Стивен. "Неужели КГБ?"

Он оглянулся, но в этот момент человек, что шел позади, замахал кому-то руками, и веселая девушка прыгнула ему на шею.

Стивен невольно выдохнул: слава богу, не они. Но осторожность все равно не помешает...

И вошел в подъезд.

- Ты не откажешь мне в одной маленькой просьбе? - спросил он Ирину, сняв куртку и отряхнув меховую шапку от снега.

- Для тебя - все что угодно! - весело ответила Ирина и поцеловала его.

- Дело в том... Я написал рассказ, или скорее повесть - о моей маме... И я бы очень хотел, чтобы ты ее прочитала.

И протянул ей папку.

- Твоя мама еще жива? - спросила Ирина.

- Жива... Она, правда, еще не знает, что стала героиней романа. Я думаю, она бы немного рассердилась.

Он улыбнулся.

- Когда ты хочешь, чтобы я прочитала повесть? - спросила Ирина.

- Когда я уйду, - смеясь ответил Стивен. - А иначе я буду сгорать от стыда...

- Не стоит! - Ирина снова поцеловала его. - Мой английский скорее заставит меня сгорать от стыда.

- Я написал повесть по-русски.

Ирина посмотрела на него с удивлением.

- Я не собирался печатать ее здесь, - сказал он серьезно. - Но когда я открыл в гостинице чемодан, эта папка лежала прямо сверху. Но я не помню, когда я ее туда положил...

\*\*\*

“1936-й год мы встречали в уже Саранске. Туда позвал меня хороший друг, Вадим Меджинов, который там часто подрабатывал, читая лекции по философии.

В Саранске был небольшой педагогический техникум, где готовили учителей.

Хороший техникум, очень хороший. Там еще преподавало много старых

профессоров. Вот Меджинов и порекомендовал меня, как специалиста в античной литературе, и с этим пришел, наконец, момент, когда можно было покинуть Кустанай.

Проводы наши были очень душевными: хозяйка поставила на стол квашеную капусту, соленые огурцы и картошку, запеченую в старой русской печи. Мы сели, стали вспоминать все эти годы, прожитые вместе под одной крышей...

Как интересно все-таки устроен человек! Куда бы не забросила его судьба, чего бы ни лишила, какие бы сложности она не заставила его перенести - он все равно найдет возможность снова чувствовать себя счастливым...

Это, наверное, было то самое главное знание, которое я вынес из нашей ссылки: где бы ни были, что бы с нами ни случилось - мы все равно обязательно будем счастливы....

Светло и грустно стало у нас на душе от всех наших воспоминаний. Мы знали, что никогда больше не увидимся, и от этого нам всем хотелось и сказать, и сделать что-нибудь особенно хорошее, но мы не знали, что... Поэтому самое лучшее было просто сидеть, молчать, думать о чем-то своем, закусывать домашний самогон квашеной капустой и выковыривать из кожуры вкусно запеченую картошку.

Саранск оказался чистым и опрятным городком, с маленьким прокуренным вокзалом, который в прежние времена наверняка поражал своей архитектурой, но сейчас, увы, напоминал старого интеллигента, оставшегося без работы.

Мой друг не только позаботился о моей работе, но и о квартире. Когда мы приехали, нас уже ждали, и в ту памятную ночь мы впервые за много лет растянулись на чистых белых простынях, пахнущих почему-то ванилью.

На следующий день я сидел в кабинете директора техникума. Он был несказанно рад меня видеть, как будто встретил старого друга, с которым не виделся много лет. Он сидел напротив меня и удовлетворенно потирал свои сухонькие старческие ручки, когда я называл предмет, который смог бы преподавать в техникуме.

Мы остановились на литературе и бухгалтерии. Как оказалось, в стране наблюдался острый дефицит знающих бухгалтеров, и поэтому в техникуме срочно была создана специальная группа. Мне и предложили возглавить эту группу.

Зарплата, которую мне предложили, меня тоже приятно удивила, а директор, явно общавшийся со мной, как с какой-то почти знаменитостью, поведал мне по секрету, что знает места, где можно купить почти любые продукты и, что самое главное, без карточек.

В тот день я в первый раз принес домой целую сумку еды, и Оленька нажарила целую сковородку картошки с луком и салом. Все это пахло так вкусно, что кружилась голова...

Жизнь начала постепенно настраиваться. Я наконец начал работать по специальности, то есть преподавать, и даже получать за мою работу неплохие деньги. Деньги эти, правда, быстро расходились, потому что в магазинах было нечего купить, но зато на "черном рынке" прилавки были завалены продуктами. Правда, уже совсем по дурной цене...

Я так никогда и не смог понять, почему эти рынки существовали в СССР с самого первого дня его существования? И почему даже в те годы, когда страна корчилась и стонала от голода, там можно было купить практически все?

А в сентябре 1936 начались новые аресты. Все больше и больше складывалось впечатление, что большевики были чем-то очень напуганы и начали снова лихорадочно искать врагов. Я полагаю, их пугала Германия, чья военная мощь уже потрясла всю Европу. Но, вместо того, чтобы деятельно укреплять страну, они начали новую охоту - как раз на тех, кто еще мог бы эту страну защитить. И вот когда в январе 1937 все газеты начали клеймить Тухачевского, непобедимого "Красного Наполеона", как его называли все западные газеты, мы с Оленькой поняли, что нам опять надо бежать. Но куда?

Как бывшему политическому ссыльному, мне не разрешалось даже подходить к большим городам, не то что жить там. Но в Ленинграде у меня все еще оставались и мама, и сестры, поэтому мы с Оленькой решили рискнуть.

Мы знали, что то, что мы задумали, очень опасно: меня могли посадить снова, уже лет на двадцать, обвинив невесть в чем. Скорее всего в шпионаже в пользу Англии, где у меня жил брат.

Но с другой стороны, в большом городе легко затеряться, легко исчезнуть, просто раствориться в толпе и жить, тихо-тихо. Так мы и сделали.

Мы сели на поезд и приехали в Ленинград. Самое трудное было незаметно уйти с вокзала, по которому постоянно шныряли агенты НКВД, острыми и злыми глазами выглядывая всякого, кто был хоть как-то непохож на других. К нему тут же подходили, окружали, чтобы невзначай не сбежал, требовали документы. Это было то, чего мы боялись, и что погубило бы наше предприятие прежде, чем оно началось.

Поэтому мы придумали вот что: я наклеил бороду, которую мне подарил друг-парикмахер в Саранске, надел старые очки и взял в руки узловатую палку. Сильно хромая, я притворился стариком, которого поддерживает дочь, одетая в черное поношенное пальто. Так мы успешно прошли мимо агентов, которых совершенно не заинтересовал хромой старик с дочерью.

Невозможно описать ту радость, с какой приветствовали нас дома! И сестры, и мама плакали у нас на груди, и не знали, чем бы нас угостить, куда посадить: после почти восьми лет наша дружная семья, наконец, снова сидела за одним столом.

Только - надолго ли?..

Понятно, что официально работать в Ленинграде я нигде не мог. Спасибо Оленьке и моим сестрам, которые своими слабыми, но любящими руками, в течение долгого времени материально поддерживали и меня и маму, и всю нашу маленькую семью.

Днем я практически не выходил из дому: я работал над книгой - той самой, которую начал в ссылке. Теперь работа над нею пошла быстрее, так как приятель мой, Иван Канаев, мог просто заносить мне все необходимые книги прямо домой. Мама всегда заваривала нам крепкий чай, и мы часами сидели за кухонным столом, обсуждая мою рукопись. Ивану она очень нравилась. Именно он однажды предложил защитить ее как докторскую диссертацию в Педагогическом институте в Саранске, а уж потом, как доктором наук, опубликовать книгу. Идея мне очень понравилась.

Канаев всегда был одним из моих лучших друзей. Он, будучи одним из крупнейших ученых-генетиков нашего времени, который сильно пострадал за свои убеждения, очень увлекался историей и литературой, поэтому его суждения о моей книге были для меня очень значимы.



Зато по вечерам, когда Оленька приходила с работы - она устроилась преподавать в техническом училище - мы отправлялись гулять по городу. Мы всегда любили дышать этим сырым и холодным воздухом, чью прелесть может почувствовать только тот, кто или родился в Ленинграде, или по-настоящему влюблен в него. Мы медленно проходили мимо Летнего сада, переходили Лебяжий мост, потом долго стояли и любовались на хмурый Михайловский замок... И нам хотелось плакать от радости, что мы наконец вернулись.

А между тем до нас продолжали доходить новости: одна страшнее и безрадостнее другой. В Москве был арестован поэт Осип Мандельштам. Поразительно было то, что его арестовали уже по второму разу. Конкретно для меня это имело огромное значение: это значило, что началась вторая волна арестов. То есть, на очереди в любую минуту мог оказаться и я, как уже неблагонадежный.

Бедный Мандельштам, уже сломленный первой ссылкой и морально и физически, только-только стал поправляться и снова начал понемногу писать стихи. И тут за ним опять пришли, прямо в санаторий, где он находился на лечении.

Несколько месяцев он просто сидел в тюрьме, где постепенно слабел от одиночества, от страха и от гнетущей неизвестности; потом его посадили в вагон, без окон и туалетов, набитый другими заключенными, долго куда-то везли, а куда, он и сам точно не знал. Замерзшими руками он еще пытался писать какие-то стихи, и в одно прекрасное утро умер, прямо в вагоне.

До позднего вечера его тело все еще несло куда-то в направлении Владивостока, а ночью, когда поезд остановили чтобы раздать заключенным кипяток с хлебом и забрать умерших в вагоне, забрали и его тело. Оказалось, что за прошедшие сутки умерло шесть человек, и среди них - Мандельштам.

Поезд отправлялся через 15 минут, была зима, и поэтому все шесть тел просто положили вдоль железной дороги, которая, не ведая ни о чем, убегала в снежную даль...

За эти годы мы многому научились: например, мы отлично поняли, что у НКВД часто не хватает времени, чтобы гоняться за кем-то по отдельности. То есть, если я просто исчезну из того места, где они знают что могут меня найти, то за мной никто не погонится. Почему? Оказывается потому, что у НКВД (страшно сказать!)

существует план по арестам, и у них нет времени приходить за одним и тем же человеком еще раз: они просто идут по другому адресу...

Я теперь думаю, что им было абсолютно все равно, кого сегодня арестовать: главное - не возвращаться с пустыми руками. Конечно, в отдельных случаях, по приказу, они накидывались на кого-то, как дикие волки, и рвали его на части... Я, может быть, расскажу вам об этих случаях в свое время...

А в Ленинграде между тем становилось все страшнее: НКВД начало яростную охоту на артистов, художников и писателей. Я подозреваю, что большевики всегда тайно ненавидели людей культуры, потому что сами всегда являли настоящий образец бескультурности.

Теперь, когда Сталина наконец дал добро на истребление интеллигенции, аресты стали напоминать средневековую охоту: охотники на сытых лошадях, с луками и стрелами, несутся наперегонки, а несчастные звери, парализованные ужасом, только все ниже и ниже прижимаются к земле и даже не способны бежать, чтобы спасти свою жизнь.

Мы ни в коем случае не хотели подвергать опасности моих маму и сестер, которым становилось все труднее прятать нас и содержать. С тяжелым сердцем, но уверенные, что поступаем правильно в сложившейся ситуации, мы с Оленькой решили отправиться жить в деревню.

Наш выбор пал на деревеньку Савелово, которая находилась в 130 километрах на север от Москвы. Там был железнодорожный вокзал откуда каждый день уходил прямой поезд на Москву. Многие годы мы будем ездить с этого вокзала в Москву нелегально - за продуктами и лекарствами. Возможность доставать лекарства оставалась для меня вопросом жизни и смерти: моя болезнь, даже если и отступала ненадолго, все равно возвращалась снова напоминая о себе.

Савелово была настоящая русская деревенька, каким-то чудом еще не погубленная большевиками: там по утрам еще кричали петухи, мычали коровы, а над узкими улицами склонялись густые плакучие ивы. Крепкие домики, построенные еще при Александре Втором, стояли, как атланты, поддерживая небо своими крышами.

Разрушительные ветра революции по какой-то неведомой случайности пронесли мимо этой деревушки, и вот там-то мы и нашли себе убежище. На стене нашей

комнаты мы повесили часы, оставшиеся мне еще от деда, и эти часы теперь будут отсчитывать здесь нашу жизнь, пока не отсчитают ровно тридцать лет...”

1937 – 1941

Бахов

- Ты знаешь, я вдруг стала видеть, как некрасив и лишен красок тот мир, где я провожу каждый день своей жизни, - грустно сказала Ирина, настраивая в очередной раз магнитофон, чтобы слушать Бахова. - Удивительно, почему раньше я этого не видела? Как ты думаешь?

- Я думаю, это нормально, - заметил Стивен, раскладывая на столе стопки бумаги, - Диалектика души, как учил великий Толстой.

- Если честно, то мне больше по душе Достоевский с его полифоническим мышлением, - усмехнулась Ирина. - У Достоевского мир раздвигается, как вселенная, становится безграничным, как...

Она задумалась, подыскивая правильное слово.

- Как душа человеческая, - закончил Стивен. - Ты ведь это хотела сказать? Ирина кивнула.

Как все-таки дорог и близок стал ей этот далекий человек, американец, пусть даже и с русскими корнями. Почему же он так хорошо понимает ее, как никто и никогда не понимал, кроме, конечно же, Лидии, которая всегда все знала наперед...

\*\*\*

“Незаметно пробежали еще три года, каждый из которых мы с Оленькой неизменно встречали в нашей маленькой комнате, которую мы снимали в Савелово у Нины Александровны, одинокой и очень интеллигентной женщины.

Каждый Новый год мы собирались за ее столом все втроем, обнимались и вспоминали всех тех, кого уже нет с нами. Потом молились за тех, кто еще остался в живых. Не знаю, помогали ли наши молитвы, но с каждым годом тех, кого мы любили и кем восхищались, становилось все меньше.

В 1935 в Москве неожиданно умер Казимир Малевич, автор уже тогда знаменитого на весь мир "Черного квадрата". Его, к счастью, никто не арестовывал: он умер у себя дома и говорили, что он умер от болезни почек. Наверное, это была правда... Мы были рады, что последнее его желание было исполнено: его пепел похоронили под его любимым дубом, под которым он так часто сидел и думал о вечном. Узнав о его смерти, мы с Оленькой плакали, а ночью, когда я вышел покурить на крыльцо, надо мною стояло темное и далекое небо. И мы почему-то никак не могли поверить, что когда-то знали его лично...

И я вдруг подумал про "Черный квадрат"... Меня вдруг осенило, что эта его картина, наверное, была ничем иным, как пророчеством Малевича всему человечеству: *смотрите в него - это то, что вас ожидает впереди*. И мне стало совестно, что раньше я совсем не понимал его живопись...

А в злополучном 1938-м году в Ленинграде арестовали нашего старого друга Вадима Меджинова. Чем этот талантливейший педагог мог навредить большевикам, я не знаю, но его арестовали, и никто о нем больше ничего не слышал. Много лет спустя я пытался узнать, что с ним случилось, где его могила, но ответа так и не получил.

На фоне слухов о том, что Гитлер готовит масштабную войну против СССР, известия о том, что Сталин и его правительство, вместо того, чтобы готовиться к неизбежной войне, продолжают избавляться от лучших людей нашего измученного и уже почти совсем истребленного поколения, мы с Оленькой стали готовиться к худшему.

В деревеньке, занесенной снегами от недобрых глаз и от бед этого мира, у нас было время и подумать о будущем, и вспомнить былое. И чем больше мы вспоминали, наша ссылка в Казахстан начала казаться нам не более чем прогулкой по берегу холодного северного моря.

Скоро нас потрясла и другая ужасная новость: арест режиссера Всеволода Мейерхольда и смерть его жены, талантливейшей актрисы и красивейшей женщины, Зинаиды Райх.

Хотя лично я никогда не был страстным поклонником авангардного искусства, но только совсем недалекий человек мог бы поспорить с тем, что Мейерхольд был

настоящим гением театра. Его постановки потрясали своей откровенностью, а актеры, пришедшие к нему в театр, неожиданно начинали играть так хорошо, как никогда и нигде до этого не играли.

Мейерхольд создавал театр и помогал актерам раскрыть свой талант. Он создавал новое искусство там, где его раньше не было. Я бы даже сказал, что сама атмосфера в его театре была особенная - мейерхольдовская.

Я всегда говорил, что если бы в 1925-м году он не вернулся в СССР, а остался жить в Париже, а еще лучше - поехал в Америку, он бы прожил долгую жизнь и еще многое подарил бы театральному искусству.

Зиночку Райх мы с Оленькой просто обожали: мы были почти на всех ее спектаклях. Она была великолепной, удивительной актрисой: волнующей всех мужчин, без исключения. Когда она была на сцене, они просто не могли оторвать от нее глаз, а все женщины хотели стать на нее похожими.

А какие нежные, какие трогательные отношения связывали их с Мейерхольдом!

Каждый раз после спектакля, который он сам же и поставил, Мейерхольд подходил к ней, вставал на одно колено и целовал ей руку. Потом прижимал ее руку к своему сердцу и говорил, со слезами на глазах.

- Зиночка, ангел мой, ты сегодня играла божественно! Без тебя все мои спектакли - ничто, и я сам - ничто!

Она смеялась, трепала его по волосам, как мальчишку, и уходила в гримерную.

Потом они вместе уезжали домой на своей машине.

Зинаида Райх боготворила мужа; она-то как никто знала, кто здесь был настоящий гений... Поэтому, когда на спектакле "Дамы с камелиями" Сталин вдруг встал, резко отодвинул стул и, сделав брезгливое лицо, демонстративно ушел из театра, ее гневу не было предела.

На следующий день все трусливые советские газеты ругали на все лады Мейерхольда, ругали спектакль, а заодно и весь театр, где, как оказалось, играют одни только бездарные актеры и ставят бездарные спектакли под руководством бездарного режиссера.

Мейерхольд на следующий день целый день лежал на диване и пил капли от сердца, говоря, что теперь все кончено. А Зиночка, сильная женщина, просто села за стол и написала Сталину письмо, где прямо сказала ему, что он ничего не понимает в искусстве и, следовательно, просто не имеет морального права судить гениального режиссера.

Ответа она, разумеется, не получила, а через несколько дней сам Мейерхольд был арестован, его театр закрыт, а вся труппа в одночасье лишилась работы...

Зиночка сидела в квартире совсем одна, с минуты на минуту ожидая "гостей". Они, как это не странно, не пришли ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Но однажды вечером в квартиру великого Мейерхольда залезли воры, наткнулись на Зиночку, одиноко пившую на кухне чай с прошлогодним вишневым вареньем, и убили ее.

На ее теле было 17 страшных ножевых ран, а на столе лежала маленькая серебряная ложечка, наполовину наполненная вишневым сиропом...

Лето 1941-го выдалось теплое, и мы с Оленькой проводили тихие вечера, сидя на веранде с открытыми окнами и с наслаждением вдыхая воздух, напоенный ароматом сирени.

Я продолжал писать свою книгу о французском средневековом романе надеясь, что скоро обязательно придет новое и прекрасное время, и все то, что я сегодня делаю, вновь будет нужно этой стране. Я был, впрочем, как и всегда, наивен...

Утро воскресенья 22-го июня ничем не отличалось от всех предыдущих воскресений, когда люди, утомленные шестидневной рабочей неделей могли поспать подольше, позавтракать не торопясь и с наслаждением подумать о том, что бы такого интересного сделать в этот прекрасный выходной летний день.

Мы с Оленькой, как и всегда, сидели за столом, пили чай и еще пока не знали, что все наши мечты были уже разрушены: уже горели советские города, уже начали седеть головы матерей, а девушки уже провожали на фронт своих парней, не зная и не веря, что видят и целуют их в последний раз. Мы пили чай и тоже еще не знали, что впереди у нас теперь было 1418 долгих дней войны.

Меня в армию, естественно, не призывали по причине инвалидности: нога моя порой совсем переставала двигаться, а боль в тазобедренной кости была иногда нестерпимой. Поэтому весной 1941-го я решил на операцию.

В нашей деревеньке не было ни то что госпиталя, но даже никакого сколько-нибудь серьезного медицинского учреждения, и с любыми проблемами надо было ехать на автобусе в Дмитров. Недолго ехать, часа два по очень плохой гравийной дороге...

Много нехороших историй произошло на той дороге...Как-то раз женщина начала рожать прямо в автобусе, и пока ехали до Дмитрова, ребенка удавила пуповина. А в другой раз мальчика с перитонитом не довезли...Мать его потом вернулась в деревню, но жить нормально больше не смогла: бросила работу,ходила по деревне с распущенной косой,босиком - все звала и искала своего Васеньку. К могиле его она не ходила потому что не верила, что он умер, поэтому искала его в полях, где косили сено...

Хирурга, который согласился делать мне эту сложнейшую операцию, звали Степан Осипович Прозоровский - так же, как адмирала Макарова. Это был маленький сухонький старичок, лет семидесяти. Как я потом узнал, он действительно служил на флоте под командованием знаменитого адмирала, и матросы, обожавшие Макарова, шутили: "Сегодня Степан Осипович не командует эскадрой, сегодня он таблетки матросам раздает."

Все знали, что адмирал понимал шутки и, кроме того, очень ценил своего корабельного хирурга. Степан Осипович был первым,кто видел разорванное взрывом тело адмирала Макарова после того, как его корабль подорвался на японской мине.

После революции Степан Осипович хотел покинуть Россию, но что-то помешало, а что - он никогда никому не говорил. Он вообще был тихий и скромный человек. Именно поэтому он устроился работать хирургом в маленьком Дмитрове, где никто не интересовался его прошлым, но зато высоко ценили его сегодняшние заслуги: никто за сотни, а может быть, и за тысячи километров вокруг, не мог делать таких сложнейших операций, как этот старый человек в пенсне, как у Чехова.

Когда Степан Осипович внимательно осмотрел мою больную ногу, он нахмурился и долго сидел, не говоря ни слова. Потом прошелся по кабинету, подошел к открытому окну и с удовольствием вдохнул свежий майский воздух.

- Значит, хотите рискнуть? - спросил он меня.

Луч солнца отразился в его чеховском пенсне, когда он повернулся ко мне.

- А что мне остается, доктор? - ответил я. - Никто, кроме вас, мне все равно помочь не сможет, но я буду очень рад, если вы все-таки попытаетесь.

Степан Осипович подумал еще минуту и, к моему удивлению, назначил операцию прямо на следующую неделю.

Я не знаю, какое чудо сотворил этот удивительный хирург с моей ногой, но я никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Казалось, что вместе с больной костью, которую, как мне говорили, он просто виртуозно вырезал, ушла и сама болезнь, так долго отравлявшая мое существование.”

\*\*\*

Кассета закончилась и в комнате наступило молчание, и только, как и всегда, тикали на стене часы.

Ирина сидела за столом над пачкой исписанной бумаги и смотрела в пространство, которое заканчивалось темными шторами, отделявшими тот мир от их мира - мира, где зарождалась их любовь, расцветающая на фоне военных зарниц, звучащих с этих старых, покрытых пылью кассет.

- Я, наверное, пойду, - сказал Стивен, поднимаясь из-за стола. - Ты из-за меня мало спишь... Прости, я никак не ожидал, что доставлю тебе столько хлопот.

- Я не хочу, чтобы ты уходил, - неожиданно для себя сказала Ирина, как будто выдохнула из груди слова, мешавшие ей дышать. Дышать и правда стало легче.

- По крайней мере, не сегодня, - добавила она, чуть слышно. И краска смущения залила ей лицо.

Стивен подошел и прижался губами к ее губам, давно ждущим этого поцелуя.

- Как сладко! - прошептала Ирина, оторвавшись от его губ на мгновение. - Я и не знала, что может быть так сладко...

Потом они лежали на ее узкой кровати, прикрывшись одеялом - одним на двоих, и Ирина с наслаждением прижималась к его широкой груди.



- Расскажи мне о твоей жизни, Стив, - попросила она, приподнявшись на локте и заглядывая ему в глаза. - Ведь ты для меня почти что инопланетянин, который, непонятно зачем, приехал сюда и научился говорить по-русски.

И она хихикнула, довольная своей шуткой.

- Инопланетянин! Вот это интересно, - Стивен звонко засмеялся, почти как мальчишка.

- Я всего лишь скромный профессор из маленького университета, о котором в Америке никто почти ничего не знает, кроме того, что 10 лет назад у нас погибла вся футбольная команда, вместе с тренерами. Семьдесят пять человек, все как один...

- Как это страшно, - прошептала Ирина. - Человеческая жизнь так хрупка, а мы часто так непростительно с ней небрежны. Ведь так оно и бывает: случайно толкнешь - и нет больше целого человека... Разбился. Остались одни осколки... Она помолчала.

- Как это случилось? - спросила она. - Чтобы вся команда...

- Я тогда был студентом этого университета... - Стивен сделал паузу. - Я до сих пор думаю, что если бы я играл в американский футбол, я бы почти наверняка оказался в том самом самолете...

Он замолчал, и было заметно, что ему трудно об этом говорить.

- Той ночью я, однако, все равно оказался в аэропорту... Я ждал Дженни, мою девушку, которая в тот вечер возвращалась от родителей из Северной Каролины. Мы собирались пожениться...

Стивен вздохнул, и Ирина почувствовала, что из его глаз потекли слезы.

- Прости, я не знала, что для тебя это было настолько личное, - прошептала она. - Такая трагедия...

- Все хорошо, - Стивен поцеловал ее в лоб. - Все в порядке... Я просто очень давно ни с кем не говорил об этом...

Он задумался, и добавил.

- Я едва смог пережить это тогда...Самое страшное было то, что самолет, которого я ждал, никогда не приземлился... и она тоже.

- Когда это случилось? - спросила Ирина.

- Ровно двенадцать лет назад, в 1970 году, в ноябре.

- Мне было тогда всего восемь лет, и я ходила во второй класс - задумчиво сказала Ирина.

Ей очень захотелось сказать что-нибудь такое, что могло бы вызвать улыбку на дорогом ей лице.

- И я еще не догадывалась, что ты где-то существуешь...

Стивен улыбнулся.

— Верно, тебе было всего восемь, а мне двадцать два. Я тоже не знал, что всего через каких-то двенадцать лет, на другом континенте, я встречу девушку, которая перевернет всю мою жизнь.

И он притянул ее левую руку к своей груди, затем поднял ее и стал целовать - каждый палец по-отдельности.

Правой рукой она вытерла остатки его слез.

- Пожалуйста, не надо. Мне жаль, что я заставила тебя вспомнить об этом снова...

Прости мое глупое любопытство!

- Любопытство делает нас мудрыми, - сказал Стивен задумчиво. — Глупые люди никогда не бывают любопытны: они уверены, что постигли все премудрости жизни, даже если никогда не выезжали за пределы своего маленького городка, затерянного в глуши. Все наши беды от этих людей.

- Ты знаешь, с тех пор как ты приехал и мы начали слушать эти кассеты - я начала видеть мир совсем иначе, - сказала Ирина, и поцеловала его еще раз. - И хотя мой старый мир рушится и мне немного страшно из-за этого, я все равно очень благодарна тебе.

- Моя нежная Иоланта, - Стивен нежно гладил ее по волосам. - Как же я люблю тебя...

Его глаза сводили Ирину с ума - умные, внимательные, зеленовато-карие. Она никогда не видела таких глаз.

- Мой принц, - прошептала она в ответ.

1925 – 1945

Вера

С тех пор, как Стивен принес Ирине тетрадку прошло несколько дней. Каждый день она собиралась сесть наконец за чтение, но разные дела отвлекали ее, но она не расстраивалась: она спокойно ждала первого же свободного вечера, чтобы погрузиться в чтение целиком.

И вот наконец-то она сидела под лампой, держа на коленях тетрадь, исписанную тонким красивым почерком.

" Три шага вперед. История моей мамы" прочла Ирина на первой странице. Сама не зная почему, она поднесла тетрадь к лицу: тетрадь пахла еловыми шишками и еще чем-то сладким.

Она закрыла глаза и попыталась представить, что где-то далеко-далеко, на другом конце земли, Стивен вот так же сидел и писал эту историю, как пишут сегодня они историю Бахова. Почему-то ей показалось, что он писал эту историю только по вечерам, и обязательно около камина.

"Может быть, так оно и было," подумала она. "Вот закончу читать, и обязательно спрошу."

\*\*\*

"Моя мама родилась в 1925 недалеко от Петербурга, который только-только начал носить новое имя - Ленинград. Семья была большая: пять детей, но даже это не спасло моего деда от раскулачивания. Дважды к нему на двор приходили люди в черных кожаных куртках и с пистолетами, и уводили скот. А пока разгуливали по двору и топтали пол в доме своими грязными сапогами, прихватывали все, что видели и могли отыскать: деньги, ценные бумаги, серебряную посуду, фамильные драгоценности.

Если без денег и драгоценностей прожить еще было можно, то без коровы, которая кормила всю семью, ждала смерть. Страшная смерть.

Кожаные куртки всеми силами пытались не подавать виду, что были страшно рады отобранному, но их выдавали бессовестные глаза: они блестели таким особенным

блеском, который бывает только у людей, которые публично совершили плохой поступок, но знают, что им за это ничего не будет.

Подобных набегов было уже два: в 1918 и потом в 1929. Наш дед, потеряв почти все нажитое уже дважды, сумел и в третий раз поднять хозяйство: куры у него регулярно несли яйца, которых в магазинах почему-то не продавали, а коза давала жирное отличное молоко, которого тоже было не купить.

Может быть, благодаря именно этому молоку на свет появился и я, Стивен, потому что мама моя, Вера, выросла девочкой очень здоровой и сильной, с красивыми ровными зубами и восхитительной копной белых волос.

Комиссаров, идущих пограбить чужое в третий раз, дед, слава богу, увидел в окно. Размахивая руками, они шагали по пыльной дороге, громко хохоча и скаля кривые, серые прокуренные зубы. Они направлялись к нам. Без сомнения, председатель колхоза указал именно на наш дом как самый богатый в поселке где, как он уверил комиссаров, наверняка будет чем поживиться.

Не теряя ни минуты, дед сгреб все драгоценности и деньги, что были в доме в помойное ведро, быстро навалил сверху всякого мусора и сунул ведро в руку моей матери, взглядом послав ее во двор.

Девочка умная, она поняла все без слов и вышла из дома, напевая какую-то популярную песенку из кино. Спокойно пройдя мимо комиссаров, она направилась к навозной куче, которая лежала в конце двора. Они смерили девочку подозрительными взглядами, ничего не сказали, и вошли в дом. Дед сидел за столом, хлебая деревянной ложкой суп.

На этот раз комиссары обчистили наш дом лучше, чем это сделали бы жадные монголы, приходившие на Русь из бескрайних степей еще в 13 веке. Они забрали козу, всех кур, деньги из комода (хитрый дед оставил немного денег в доме, понимая, что если они ничего не найдут, то перевернут весь дом), икону, что жила в нашей семье уже около двух сотен лет.

Под конец, уже перед самым уходом, они сорвали скатерть со стола, завернули в нее добычу и ушли, наследив своими грязными сапогами по всему дому. После них остался запах перегара, застарелого пота, и дешевого табака.

Дед открыл все окна и перекрестился: на лице его не было злобы, а было совсем другое выражение - как жить дальше.

Ведро с семейными драгоценностями и деньгами, которое Вера засунула в навозную кучу, спасло всю семью. Пришлось, правда, продать почти все эти драгоценности, и даже обручальные кольца деда и бабушки, но зато удалось купить пару гусей. Немного погодя снова купили козу, и начали все сначала...

Поэтому когда немцы вошли в нашу деревню, когда в одночасье сняли все советские флаги и заменили их на свои свастики, дед не очень расстроился. Он, конечно же, любил Россию, но совсем не эту, большевистскую: он любил ту, дореволюционную, осенью всегда пахнущую сдобой и яблоками, а летом - медом и малиновым вареньем. Она и сегодня, уже двадцать лет спустя, продолжала сниться ему по ночам.

Жизнь продолжалась, только теперь при немцах. Деду вдруг, как когда-то в молодости, стало нравиться прогуляться по главной улице нашего городка, который, как по мановению волшебной палочки, стал вдруг и чище, и тише одновременно. Однажды он пришел домой вечером, возбужденный и счастливый, и сказал, обращаясь ко всем и ни к кому в отдельности.

- Малиновое варенье кто-то опять варит! Чувствуете? Пахнет, как до революции...

В эту ночь он долго сидел у открытого окна и курил папиросу за папиросой: нахлынувшие воспоминания долго не давали ему уснуть.

С самого начала оккупации немецкие солдаты были расквартированы по частным домам. К нам тоже пришли на постой: два молодых немецких офицера, которые скромно потоптались на пороге и вежливо осведомились, есть ли кто-нибудь в доме, кто говорит по-немецки. Оказалось, что Вера.

Последние два года в школе она, неизвестно почему и зачем, упорно учила немецкий. Сидела дома за столом и спрягала бесчисленные глаголы, не обращая внимания на хихикающих братьев и сестер. Именно она и объяснила немцам, что в доме много детей, и поэтому жить гостям придется в одной, хотя и самой большой комнате.

Офицеры радостно закивали, повторяя подряд одни и те же слова: "ja, ja" и "danke, danke", и начали распаковывать вещевые мешки.

Когда офицеры устроились на новом месте, они вышли к столу, за которым уже сидела вся семья, и положили на стол продукты: хлеб, колбасу и какие-то консервы. Колбаса пахла так, что и у Веры и у всех других детей захватило дух и стала кружиться голова: они уж и не помнили, когда в последний раз видели на столе такое невиданное лакомство. Может быть, только во сне...

Офицеры между тем попросили разрешения сесть к столу, аккуратно разделили все это богатство поровну на всех, и приступили к еде.

Так прошло несколько месяцев, в течение которых новые жильцы ни разу не нарушили покой своих хозяев. Семья наша платила им гостеприимством, которое выражалось в основном в том, что бабушка, приготовив что-нибудь вкусное, просила Веру пойти и пригласить за стол "наших немцев", как она шутливо их называла.

- Они ведь тоже, как я вижу, люди подневольные, - говорила она. - Что им там ихний Гитлер приказал, то и делают. А куда деваться? Так же как и мы...Куда денешься?

И она тяжело вздыхала, поднимала глаза к иконе - новой иконе, которую дед где-то достал, потому что считал, что дом без иконы - это и не дом вовсе - потом крестилась и шептала что-то вроде "Помилуй нас, боже, грешных, и дай нам прощение за грехи наши..."

Один из офицеров был женат и, без сомнения, пришел на фронт не по собственному желанию. Часто по ночам в их комнате горела керосиновая лампа: немец сидел за столом в глубоком раздумье, а потом долго писал. Это были письма домой, где, как узнала от него Вера, остались его молодая жена и годовалая дочь. Вера часто видела, как долго он смотрит на их фотографии, целует их по очереди, а потом тихо плачет - так, чтобы его никто не слышал.

Новости с фронта, хотя с трудом, но все равно добивались и до нашей деревни.

Кругом говорили, что немцы продолжают наступать на всех направлениях, но яростное сопротивление советских войск уже надломило их боевой дух и те, кто еще был способен мыслить, а не только слушать оглушительные крики Геббельса, несущиеся из радиоприемника, начали понимать, что вся эта кампания была одной огромной ошибкой. Ошибкой, которая будет оплачена кровью всей нации.

Наверное именно поэтому скоро в нашу деревню приехали войска СС. У них было все другое: и форма, и знаки отличия, и лица. Лица у них были холодные и злые. На пороге стоял 1942, парад в Москве, обещанный Гитлером немецкому народу не состоялся, а под Ленинградом стояла страшная своим холодом русская зима.

Офицеры, которые жили у нас в доме, сразу после прибытия эсэсовцев стали отдаляться от нас. Они перестали выходить к столу, обедали и ужинали у себя в комнате, а на лице у них появилось беспокойство, сменившее прежние улыбку и безмятежность.

Однажды Вера, которая за эти три месяца овладела немецким совсем хорошо, как-то подслушала разговор наших жильцов. Они говорили, что на ленинградский фронт только что прибыл маршал Жуков, которого боится сам фюфер, и немецкое командование этим фактом очень озабочено. Ожидаются какие-то большие перемены, но почти наверняка они не будут к лучшему.

Понизив голос почти до шепота, один офицер также сказал, что Жуков не проиграл ни одного сражения, и что дела на ленинградском фронте теперь будут дрянь.

Однажды утром на всех столбах в городе появилось объявление, что все девушки от 16 до 25 лет должны будут в эту субботу собраться на площади с вещами. Те, кто не подчинится приказу, будут арестованы и расстреляны.

Жители городка вдруг испугались, сгорбились, и глаза их, которые до этого момента смотрели на немцев вполне доброжелательно, потухли. Наши постояльцы тоже помрачнели и перестали встречаться с нами глазами. На вопрос Веры о том, что происходит в городе и почему всем девушкам надо прийти в субботу на площадь с вещами, они ответили уклончиво, пробормотав что-то вроде "Es tut uns leid, aber Wir wissen nicht davon."

После это стало совершенно ясно, что от грядущих событий ничего хорошего ждать не приходится.

Вера, моя мать, оказалась среди тех, кому было приказано явиться на площадь: в ноябре 1941 ей как раз исполнилось шестнадцать лет.

Она была последним ребенком в семье. Ее все любили за живость характера, за смекалку, и за необыкновенную доброту. Каждый раз, когда она просто вбегала с

улицы в избу, как будто солнечный луч вбегал вместе с нею, и всем от этого становилось тепло и хорошо.

Даже имя свое она получила не случайно: маме ее, моей бабушке, было уже далеко за сорок и никто не верил, что в семье еще может кто-нибудь родиться. Верила в это только бабушка, поэтому и дочь свою, последнюю и любимую, назвала по-особенному: Вера.

Наверное поэтому бабушка плакала всю ночь напролет к утру доведя себя почти до полного изнеможения: материнское сердце, которому ведомы тайны нашего бытия, хотя дети в этом часто сомневаются, знало, что эта суббота будет днем их последней встречи. Она была права...

Провожать своих дочерей пришли все жители деревни. Немецкие солдаты стояли в оцеплении по кругу, не пуская за линию никого, и не выпуская тех, кто за эту линию уже зашел, а эсэсовцы хозяйничали внутри круга. Там девушек выстраивали в колонны по двое, вместе с вещами.

Вера поцеловала мать, потом отца, обняла старших сестер и смело шагнула внутрь круга. Никто и не догадывался, как дрожало от страха ее маленькое сердце, как трудно ей было сделать вид, что она сильная и ничего не боится. Она просто понимала, что бороться с жизнью сейчас бесполезно: лучше просто жить. Лучше жить и пытаться не оглядываться назад, чтобы сердце не захлебнулось в слезах... Когда молодой эсэсовец подошел к ней, Вера взглянула ему в глаза и улыбнулась. Его лицо осталось каменным, как и было, ни один мускул не дрогнул в ответ на ее "Guten Morgen"...

Меньше чем через пол-часа все девушки начали садиться в поезд. Вдруг раздался истошный крик: одна из матерей вдруг осознала, что ее единственная дочь уезжает от нее навсегда. И она закричала.

Если бы бог услышал, то он, несомненно, сделал бы что-нибудь, не допустил бы того, что случилось через минуту. В ответ на крик матери ее дочь, девушка лет двадцати, вдруг бросилась в сторону, к солдатам, стоявшим около платформы и отгораживавшим девушек от всего остального мира, надеясь, что ее выпустят, дадут хотя бы одну минутку, чтобы еще раз обнять мать, утереть слезы с ее морщинистого лица, но ее не пустили. Солдат грубо толкнул девушку назад, но она



схватила его за руки в мольбе и опустилась на колени. Солдат, потрясенный ее красотой, на секунду напомнившей ему о том, что где-то там, далеко в любимой Германии, ждет Митхен, его жена, и он заколебался. В эту минуту сзади подошел офицер СС, молча достал пистолет и выстрелил девушке в затылок...

Поезд ехал трое суток, с короткими остановками. Когда он останавливался, то двери вагона открывались чтобы вагон проветрился от дурных запахов человеческого пота и экскриментов. Во время остановок солдаты приносили горячую еду и воду, тоже горячую.

Наконец поезд остановился окончательно. Двери открылись и в вагон пахло свежим воздухом, но воздух этот был какой-то другой, незнакомый.

Подбежали немецкие солдаты, все очень молодые и еще неказистые, на которых форма скрывала узкие мальчишеские плечи и тонкие, совсем не мускулистые руки. Но зато все они очень старались выглядеть грозно и солидно, как настоящие воины, а не вчерашние студенты.

Девушек, едва только они вышли из вагона, снова построили по двое, но в этот раз никому не позволили взять ни своих чемоданов, ни мешков. Солдаты быстро перегрузили все отавленные вещи из вагона в ловко подъехавший задом небольшой грузовик, который и умчал в неизвестном направлении все последние воспоминания о доме, о родных, о любимых.

Девушки вдруг почувствовали себя потерянными для всех и навсегда, погибающими в этом большом, страшном и постоянно бушующем мире.

То ли случайно, то ли по чьему-то указанию, Вера оказалась стоящей в первом ряду. Потом она всегда говорила, что верит, что все в этом мире делается не случайно, что есть, вероятно, незримая сила провидения, которая ведет нас за руку туда, где мы должны оказаться в тот или иной момент.

Так или иначе, но стой бы она во втором, или в третьем ряду, то к ней точно не подошел бы тот высокий и худощавый офицер с очень внимательными глазами, и не спросил бы, глядя ей прямо в лицо, но обращаясь как-будто бы ко всем: "Wer spricht hier gut deutsch?" (Кто здесь хорошо говорит по-немецки?)

Все молчали, раздавленные происходящим, не способные ни думать, ни понимать ничего другого, как то, что их жизненная нить, даже если она еще не оборвалась окончательно то, скорее всего, оборвется именно здесь.

"Ich spreche sehr gut Deutsch, Herr Obersturmbannführer, wenn Sie es brauchen." (Я хорошо говорю по-немецки, господин оберштурмбанфюрер, если это необходимо.) Офицер посмотрел на Веру очень внимательно, и подобие легкой улыбки появилось на его тонких губах. Кругом были сотни глаз, и все они пристально смотрели сейчас на него и на ту молодую девушку, которая осмелилась говорить с ним, да еще и по-немецки.

"Sehr gut. Sie gehen nach Berlin, wo Sie als Babysitter in der Familie eines unserer Beamten arbeiten. Ihr Deutsch ist sehr gut; Ich hoffe, deine Ausbildung und deine Manieren sind auch gut. Ich möchte nicht enttäuscht werden." (Это хорошо. Вы поедете в Берлин, где будете работать в семье офицера. Ваш немецкий действительно очень хорош. Я надеюсь, что ваши манеры и образование так же хороши. Мне бы очень не хотелось разочароваться.)

Обо всем этом мы узнали потом, много лет спустя, когда мама наконец решилась рассказать нам об этом. Почему-то она стеснялась признаться нам, своим детям, что три с половиной года жила в Германии, в семье немецкого офицера, что заботилась о его детях и даже спала в отдельной комнате на белых простынях. Она смеялась, когда рассказывала о тех белых простынях, говоря, что никогда еще в своей жизни не спала на таком прекрасном белом белье, пахнущем цветами горной лаванды.

Так прошли три года, и вот в апреле 1945-го почтальон принес очередное письмо с фронта. Писал муж - тот самый высокий и худощавый офицер с внимательными глазами, в чью семью и была отправлена работать Вера. Именно его детей она воспитывала все эти три года. Дети обожали ее, а Хельга, жена немецкого офицера, стала ее хорошей подругой.

Она приучила Веру заваривать по утрам отличный немецкий кофе, пить его без сахара и курить сигареты "Juno" - привычки, которые Вера унесла с собой из Германии и сохранила на всю жизнь.

Хельга полюбила прогуливаться с Верой по магазинам и, пока дети были в школе, присаживаться под липами на скамейку и любоваться на ленивое течение Эльбы. Услужливые официанты подносили им кофе с пирожными, и Вере казалось, что не было никакой войны, и что не гибли люди, и не мерзли в окопах за тысячи километров отсюда.

Сейчас, наблюдая за лицом своей хозяйки и подруги, Вера поняла, что снова пришел час, когда надо подготовиться к следующему крутому повороту судьбы. Хельга сбивчиво, но все-таки понятно объяснила, что муж настаивает, чтобы она немедленно покинула Германию и ехала в Швейцарию, где у него жила родная сестра. Вера не поняла, почему Хельга так разволновалась: Швейцария - это прекрасно, и ей, Хельге, очень повезло, что там у нее родственники, и даже довольно близкие.

- Ты не сможешь поехать с нами, Вера, - сказала Хельга, обнимая ее. - Ты же русская, а мы с вами воюем.

Вера все понимала: русская пленная, работающая в семье немецкого офицера, в Швейцарию въехать никак не сможет. Об этом не надо было даже и думать. Если только не купить какие-нибудь поддельные документы...

Как бы там ни было, но Вере было приятно видеть, что эта милая и добрая немецкая женщина испытывала что-то типа стыда, что не сможет забрать с собой эту русскую пленную девушку, которая, если сказать правду, за эти три года стала ее настоящей подругой.

Два дня ушло на сборы; на третий день все было готово, чемоданы с самым необходимым упакованы. Хельга и Вера стояли перед домом, держа друг друга за руки.

- Прости меня, - сказала Хельга, обнимая Веру. - Мне так жаль...

- Тебе не за что извиняться, - ответила Вера. - Ты была мне как сестра. Спасибо тебе. Я никогда тебя не забуду.

Дети плакали. Они полюбили "Tante Vera" (тетю Веру) как родную, и им совсем не хотелось уезжать из своего уютного маленького дома в далекую Швейцарию.

Вера осталась в целом доме одна. Хельга, добрая душа, ни в коем случае не хотела, чтобы подруга уходила сама не зная куда, поэтому она оставила ей ключи от дома и пятьсот немецких марок.

- Если нам повезет, то мы, даст бог, снова увидимся, - сказала Хельга на прощание. В голосе ее звучали грусть и одиночество.

Вера улыбнулась в ответ.

- Все будет хорошо, Хельга, - сказала она, глядя по голове детей, прижимавшихся к ней в последний раз - Береги себя. Сейчас все будет зависеть от тебя. Только от тебя... - добавила она, прямо посмотрев ей в глаза.

И они расстались.

Хельга оказалась замечательной подругой: в подвале дома она оставила несколько ящиков отличных немецких консервов, мешок картошки, макароны, и несколько коробок печенья. Всего этого, если экономить, должно было бы хватить на несколько месяцев. Пятьсот марок тоже грели душу: Вера решила тратить их только в самом крайнем случае.

В мае советские солдаты вошли в Берлин: великая битва закончилась.

А в маленький Стендаль, где жила Вера, спокойно и практически без боя вошли союзные солдаты: на левом рукаве каждого из них был аккуратно пришит американский флаг. Они, эти солдаты, как ни странно, были совсем не страшные, а скорее даже веселые.

В то утро четвертого июля Вера проснулась в каком-то странном волнении. Потом, когда она рассказывала об этом нам, она любила повторять, что искренне верит, что наше сердце подчас знает и чувствует все куда тоньше, чем мы думаем.

Вероятно, именно поэтому, повинувшись какому-то неведомому зову изнутри, она оделась и вышла на улицу.

Она шла, силясь объяснить все эти странные чувства, понять, почему сегодня солнце светит иначе, хотя начинающийся день был всего лишь обычным днем в череде одиноких дней, проведенных ею в покинутом своими хозяевами доме.

Неожиданно перед нею выросла фигура американского солдата: форма песочного цвета сидела на нем ладно, скроенная по фигуре. Особенно отличались сапоги -

добротные, кожаные, на толстой подошве, сверху покрытые гетрами - тоже песочного цвета.

В одной руке этот солдат держал пачку каких-то бумаг, похожих на объявления, а в другой - ведро с клеем. В ведре одиноко плавала кисть.

Солдат восхищенно посмотрел на Веру и вдруг почему-то покраснел. Пытаясь как-то скрыть невольное смущение, он улыбнулся и шагнул к ней.

- I am sorry, - сказал он по-английски. - I do not want to scare you. I just wanted to say that you are very beautiful. (Извините меня. Я не хочу, чтобы вы меня боялись. Я просто хотел сказать, что вы очень красивы.)

В ответ Вера улыбнулась. Она не говорила по-английски но, хорошо зная немецкий, поняла общий смысл его слов, и ей стало необыкновенно приятно.

- Danke. Ich habe mich sehr über dein Kompliment gefreut. Und ich mochte dich auch... (Спасибо. Мне очень понравился ваш комплимент. И вы мне тоже понравились...) - ответила она по-немецки.

Лицо солдата просияло. Он протянул Вере пачку объявлений, которую держал в руке, и сказал.

- Would you be kind to help me? (Вы мне не поможете с этим?)

Вера кивнула.

Солдат поставил ведро с клеем на землю, окунул в него кисточку и быстро обмазал клеем кусочек стены. Потом взял у Веры из рук одно объявление и аккуратно приладил его к намазанному месту.

Вера наконец посмотрела на само объявление.

"Alle Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die in Deutschland zwangsweise festgehalten wurden, sollten sich morgen um 10 Uhr auf dem Fußballplatz in der Satchleben Straße versammeln." (Всем лицам не немецкой национальности, которых удерживали в Германии силой, предлагается собраться завтра в 10 утра на футбольном поле на Сачleben штрассе.)

Лицо солдата просияло, когда он увидел, что Вера внимательно прочла объявление и о чем-то задумалась.

- You should come there tomorrow (Вам следует прийти туда завтра), - доверительно сказал он ей. - If you are not German citizen, you might have a chance to be selected and

sent to the United States. To freedom! (Если вы не гражданин Германии, то у вас может быть будет шанс уехать в Америку. К свободе!) - вдруг радостно почти выкрикнул он Вере в лицо.

Она рассмеялась и кивнула.

- Ich werde auf jeden Fall kommen (Я обязательно приду), - сказала она то ли солдату, то ли самой себе, а то ли кому-то там, высоко - тому, кто может быть мог ее услышать.

На следующее утро на футбольном поле собралось порядка ста человек, большинство из которых были молодые женщины. На лицах читалось любопытство и некоторая тревога: что ждать от союзных войск?

Перед полем была построена деревянная платформа рядом с которой развевался американский флаг. Позади платформы стоял небольшой грузовик.

Ровно в десять часов на платформу поднялся невысокий человек, гладко выбритый и с аккуратно подстриженными волосами. Он походил скорее на актера, чем на военного, и может быть поэтому он всем сразу понравился. Люди, пришедшие на футбольное поле, вдруг заулыбались - многие, возможно, впервые за долгое время. Человек, похожий на актера, начал говорить, а тот, что стоял рядом, сразу переводил на немецкий. Перевод был неважный, но суть короткой речи была в основном ясна: американские солдаты находятся здесь с целью освободить всех, кто находится в Германии против воли, и будут содействовать их скорейшему возвращению на родину.

Потом грузовик подъехал к полю и американцы стали раздали всем по два довольно больших пакета: один с едой, а другой с тремя сменами нижнего белья - белого, как лебеди в брачный сезон. В пакете с едой была колбаса, буханка свежего хлеба, банка концентрированного супа, банка говяжьих консервов, сигареты Old Gold, и пакет ванильной карамели. Такого богатства те, кто пришел на футбольное поле, не держали в руках уже много лет.

Американцы, видимо, ожидали реакции на все эти подарки, поэтому не торопились заканчивать собрание. Они дали людям насладиться созерцанием еды (никто все равно не смог бы открыть все эти консервные банки на поле), потом человек, похожий на актера, взял громкоговоритель и попросил всех построиться в две

шеринги. Люди сделали это быстро и с явным удовольствием, как будто надеясь, что чудеса еще не закончились.

Человек, похожий на актера, торжественно осмотрел всех, стоявших на футбольном поле, потом откашлялся, подождал пока наступит полная тишина и все глаза будут устремлены на него, и тожественно сказал.

- Сегодня в Америке очень важный день: в этот день много лет назад Америка стала новой и свободной страной, а американцы стали самой свободной нацией на земле. Сегодня и вы снова станете свободными людьми. Союзные войска освободили вас, и вас больше никто не удерживает в Германии. Тем, кто желает вернуться на родину, мы окажем необходимое содействие, - он остановился, давая людям возможность осознать и прочувствовать важность того, что он только что сказал.

Потом добавил.

- Если среди вас есть те, кто желает ехать в Соединенные Штаты, пусть сделают три шага вперед!

На поле воцарилось полное молчание. Прошла минута, началась другая. Ряды размыкались то здесь, то там, и вперед выходили люди. Их вышло совсем немного - всего пять человек.

Вера закрыла глаза, и перед нею, как в кружении вихря, пронеслись лица всех ее родных, таких дорогих и таких далеких. "Простите меня!" тихо, почти неслышно, прошептала она, и медленно сделала *три шага вперед...*"

\*\*\*

Повесть закончилась. Ирина сидела под зеленоватым светом настольной лампы - единственным свидетелем ее тихих слез, непроизвольно текущих из глаз. Обычная жизнь начинала обретать свои очертания, и сознание постепенно возвращало ее из прошлого, в которое она погрузилась на эти несколько часов.

Часы на тумбочке показывали пять утра.

"Через пару часов надо вставать," подумала Ирина. "Может быть, лучше и не ложиться вовсе?"

И она заснула.

1943 – 1947

Бахов

И вот наконец снова пришла долгожданная пятница, и в дверь снова позвонил Стивен, и снова принес в рюкзаке очередную кассету с голосом Бахова. Ирина кинулась ему на шею, расцеловала в обе щеки и застыла, не в силах оторваться.

- Милый ты мой, - наконец прошептала она. - Как же я по тебе скучала!

- И я тоже, - отозвался Стивен. - Моя Иоланта...

Они, как всегда, прошли на кухню, где уже закипал чайник и вкусно пахли только что приготовленные сырники.

Стивен помыл руки и сел за стол. Потом наклонился к тарелке с сырниками, вдохнул аромат и блаженно закрыл глаза.

- Как же мне повезло встретить тебя в этой жизни! - сказал он выдохнув, как будто обессилив от необыкновенного прилива чувств. - Я не смогу больше жить без тебя...

- Без меня, или без моих сырников? - расхохоталась Ирина.

- Без вас обоих, - в тон ей ответил Стивен.

Когда они наконец закончили пить чай и прошли в комнату, Стивен принялся готовить магнитофон.

- Я прочитала твою повесть, - сказала Ирина, кладя тетрадь на стол. - Мне кажется, что эта поразительная история еще не закончена. Я права?

- Ты права, - ответил Стивен. - Она и не может быть закончена: ведь моя мама еще жива...

Он помолчал, потом добавил.

- Может быть придет время, и я напишу другую историю, но та, советская история - она закончена. Она закончилась, когда мама все-таки решилась сделать те трудные три шага вперед. Ведь именно благодаря тем шагам я сегодня здесь, с тобой... Иначе - ничего бы этого сейчас не было. Просто не могло бы быть...

И он улыбнулся.

- Я знаю, что все это звучит немного фаталистично, но я в это верю.



- И я, - просто ответила Ирина.  
И нежно поцеловала его в губы.

\*\*\*

“Война продолжала бушевать. Мимо нашей забытой богом деревеньки то и дело проходили эшелоны, везущие на фронт солдат, которых было тысячи, может быть, сотни тысяч... Я не знаю, сколько из них вернулось домой, и нам с Оленькой было по настоящему страшно от масштабов этой трагедии. Никто не знал, когда и чем эта война закончится... Немцы рвались к Москве; Ленинград был в блокаде; Киев давно пал, как пали и Севастополь, и Харьков, и Ростов...

Я не знаю, как нам удалось пережить ту страшную зиму 1941-го... Вероятно, русский человек имеет в себе какой-то особенный ген, который просыпается и приводит в движение организм, дает ему, организму, силы выдержать непереносимое, чтобы в конце концов победить. Но ген этот хитрый, и делает он это только тогда, когда отступить русскому человеку больше уже некуда и когда на карту поставлена вся жизнь...

Хозяйка наша, Нина Александровна, и мы с Оленькой в скором времени превратились в некое единое человеческое целое: мы были готовы и умереть, если понадобится, но только вместе, а не по одиночке. Именно поэтому мы и выжили в эти страшные голодные времена.

Я никогда не забуду, как мы варили в старом алюминиевом ковшике одну прошлогоднюю картофелину, как потом резали ее аккуратно на три части, и как затем медленно ели, макая каждый кусочек в соль и тщательно пережевывая, чтобы хоть как-то отогнать навязчивое чувство голода.

Мы многого не знали тогда о войне, да и не могли знать. То, что на самом деле происходило на фронтах, мы узнали от Михаила, брата Нины Александровны, который весной 1942 после серьезного ранения вернулся домой.

Однажды поздно вечером, когда мы по традиции пили на кухне чай, кто-то тихонько постучал в окно. Нина Александровна приоткрыла шторы и тихо вскрикнула.

- Господи! Мишенька...

И бросилась открывать дверь.

На пороге в шинели и с мешком на плече стоял ее брат, Михаил.

- Сестричка, - сказал он нежно, и обнял ее.

Нина Александровна, всхлипывая и сама не веря тому, что видит, отворила дверь настеж.

- Что же ты стоишь, родной, на морозе-то! - воскликнула она и, схватив его за рукав, потащила за собой в комнату.

Как мы узнали в тот вечер, Михаил приехал к сестре, потому что в комнате его, где он жил до войны, теперь жили какие-то другие люди.

Пока они ему что-то сбивчиво объясняли, не пуская его, однако, в квартиру, Михаил топтался на пороге пытаясь понять, как же такое возможно: вот возвращается домой человек с войны, живой, а дома-то, оказывается, нет... Как будто никто и не ожидал, что он вернется...

Сестра его, Нина Александровна, уже давно жила одна. Несколько лет назад ее муж отправился работать на север где, как говорили, хорошо платили, и там пропал. Только года через три от него наконец пришло письмо, где он объяснил, что перестал писать, потому что на Севере встретил хорошую женщину. С ней он недавно завел общего ребенка и поэтому хочет на ней жениться. Просить о разводе он не решился.

Нина Александровна прочитала письмо и, к своему удивлению, совсем не огорчилась. Во первых, она уже привыкла жить одна, а во-вторых, она была рада, что все ее тревоги и волнения, что муж сгинул неизвестно где, оказались напрасны. Она не желала ему зла. Она его даже в чем-то понимала: всегда хорошо, когда рядом есть надежный человек. У Нины Александровны есть брат, Михаил. Вот теперь и у ее мужа будет такой человек, и это хорошо.

На следующий день Нина Александровна пошла в ЗАГС и написала заявление на развод. Где-то месяца через два, оформив все документы как положено, положила их в конверт и отнесла на почту.

У брата ее Михаила семейная жизнь тоже не сложилась, но совсем по иной причине. В начале 30-х, когда большевики начали разорять так называемых

кулаков, отбирать у них дома, а их самих вместе с семьями переселять куда-то на Север, девушка его оказалась как раз из такой семьи.

Ее звали Наташа. Когда в холодное ноябрьское утро всю ее семью посадили на телегу, на которой им предстояло добраться до Ангары, Михаил пришел ее проводить.

Он стоял у телеги, держа Наташу за руку, не в силах сказать ни слова, а только смотрел в дорогое ему лицо, пытаясь запомнить навек каждую его линию. Телега тронулась, а он все шел и шел за ней, не отпуская Наташиной руки, пока не закончилась деревня и пока телега не выкатилась на проезжий трак.

Там на лошади подъехал конвойный и что-то грубо ему прокричал, но Михаил не понял что. Тогда конвойный ударил его кнутом по руке. Телега покатила дальше, в холодную зиму, увозя с собой его разбитое сердце, пока не скрылась где-то за далеким поворотом.

Наташа, всегда слабая здоровьем, с детства любившая читать романтические книги и рисовать, Ангару так никогда и не увидела: ее могила потерялась где-то в бескрайней степи, где воет холодный ветер и плачут волки, проклиная лютый мороз.

Михаил после этого решил никогда не жениться. Нина, сестра, осталась его единственным близким человеком: родители умерли в 1925 от тифа, оставив им в наследство маленький дом в Савелово.

Но работы для Михаила в деревне не было и он, скрипя сердце, переехал в Дмитров работать на заводе, где ему, как хорошему слесарю, скоро выделили комнату в коммунальной квартире.

Почти каждую субботу Михаил уходил с завода и скорым шагом шел к прямо электричке, которая, громыхая колесами, мчала его в Савелово, к сестре. Нина ждала его с супом, черным ржаным хлебом, намазанным маслом, и с чем-нибудь сладким к чаю.

А в июне, когда шла рыба, Михаил все выходные пропадал на рыбалке. Чтобы не пропустить утренний клев, он ложился спать прямо на берегу, завернувшись в старый военный плащ, который он однажды выменял на десять жирных окуней у какого-то офицера. Утром, еще задолго до восхода солнца, он уже сидел с удочкой,

наблюдая, как поднимается пар над озером и как то тут, то там всплескивает пробудившаяся ото сна рыба.

Весь свой улов Михаил торжественно отвозил сестре. Нина, прекрасная хозяйка, готовила из рыбы вкуснейшую уху - такую, что порой ложка с трудом поворачивалась в тарелке. Так проходил выходной, потом приходил другой, потом третий... А потом началась война.

Михаила призвали на фронт на следующий же день. Завод остановили и по радио велели всем оставаться на рабочих местах. Потом целый день записывали добровольцев.

Михаилу было всего тридцать пять, так что запись добровольцем для него означала только то, что на фронт он поедет на день или два раньше. Другой вариант был ждать, пока вызовут повесткой в военкомат. Он выбрал не ждать.

Во время коротких сборов Нина всеми силами старалась сдерживать слезы. А на следующее утро он ушел на вокзал - тот самый, где Нина так часто встречала его из Димитрова. Только сегодня оттуда его увезли прямо на фронт. И больше она от него ничего не слышала.

- Мишенька! Дорогой ты мой! - наконец выдохнула она и крепко обняла брата. И только тогда заметила, как от боли дернулось его лицо и пятно крови проступило на груди - как раз там, где сердце.

- Прости, дорогой, - прошептала Нина Александровна, поняв, что невольно причинила ему боль. - Я не знала, что...

- Ничего страшного, Нина, - ответил Михаил. - На фронте и не такое было...

Так нас стало четверо. Много долгих вечеров провели мы вместе, разговаривая о войне, и то, что рассказал нам Михаил, привело наши души в состояние настоящего отчаяния. Мы всегда подозревали, что то, что нам было позволено знать, было лишь малой частью того, что нам знать было не позволено. Я здесь просто повторю то, что мне почему-то запомнилось больше всего из рассказов Михаила.

На вокзале каждому, кто ехал на фронт, выдали прежде ношеную военную форму, старые сапоги со стертymi подошвами, шинель, которая должна была теперь служить и одеждой и одеялом одновременно. Наконец дошло дело и до винтовки.

Тут обнаружилось, что в большинстве своем винтовки были тоже старые, со ржавыми затворами, которые еле-еле двигались, а иногда и вовсе выпадали. Потом всем раздали патроны - по шесть штук на человека.

В поезде выяснилось, что больше половины этих мальчишек никогда в жизни не стреляли из винтовки, и даже не знали, как ее заряжать. Почти все они погибли в первые несколько дней войны...

В 1941-м людей на фронте выкашивало, как траву в поле, но никто не задавался вопросом: почему это так? Наши командиры менялись один за другим: немецкие пули убивали их так же, как и простых солдат, но зато в живых оставались политруки.

Эти не ходили в бой. Они всегда были позади батальонов, но перед боем деловито советовали командирам, когда им лучше поднимать людей в атаку, где строить укрепления, и прочее... Как и в мирной жизни: больше всех кричит тот, кто меньше всех знает. Только в мирной жизни цена ошибок не так высока, как на войне.

В свою первую неделю на фронте Михаил встретил юношу, музыканта из Ленинградской консерватории. Он тоже записался на фронт. Михаил не мог вспоминать о нем без слез.

- Лучше бы он никогда этого не делал! - говорил он, рукавом вытирая глаза. - Лучше бы пиликал на своей скрипке где-нибудь в оркестре - все бы больше пользы для страны было. А так... ему пол-черепа снесло разорвавшимся поблизости снарядом... В кармане у него осталось неотправленное письмо: Юрию Рафаиловичу Шацу, отцу. А сына звали Леня...

Тот бой зимой 1942-го Михаил запомнил навсегда. Был дан очередной приказ взять какую-то высоту и держать любой ценой. Действительно надо было ее держать, или лучше было отвести батальон в лес неподалеку и спасти сотни людей - кто знает. Наш комбат так и хотел, и отдал приказ отходить. Но приказы по телефону прилетали, как москиты на кровь, и жужжали одну и ту же бессмысленную жуть: стоять насмерть.

Когда от батальона осталось 30 человек, связь оборвалась. Теперь, предоставленный самому себе, комбат наконец отдал приказ к отступлению в лес,

и тут осколок снаряда ударил его сзади по голове. Он упал лицом вниз; кровь потекла из открытой раны...

Все любили и уважали нашего командира: неразговорчивый и усатый, но всегда аккуратно выбритый, он воевал когда-то под командованием самого Тухачевского, которого считал гением военного дела.

- Настоящий полководец сперва думает о своих солдатах, а уж потом о себе, - любил повторять он. - И это верно: победе без солдат не бывать.

Он так и вел себя, как говорил: последним подходил с тарелкой, когда раздавали кашу и суп, последним шел спать, после того, как проверил все посты. И вот его не стало...

Вся власть в отряде вмиг сместилась в неправильном направлении - к политруку, которого, что тут скрывать, все дружно ненавидели, даже презирали. Зачем судьбе было надо посмеяться над нами?

В глазах этого человека, неожиданно возглавившего остатки батальона, был отчетливо виден страх. Ему совсем не хотелось умирать, но как сделать так, чтобы не умереть - он пока не знал. Всю жизнь он прятался за партийный билет, за красивые, боевые, но бессмысленные слова, за чей-нибудь приказ, но сейчас надо было принять собственное и, желательно, правильное решение.

- Нам нужна связь с центром, - наконец сказал он. - Да, центр скажет нам, что делать.

Старшина, последний из оставшихся в живых опытных бойцов, посмотрел политруку прямо в глаза, и глухо сказал.

- Центр там, в кабинете, а мы тут, в лесу. Что он нам скажет? Только прикажет погибать, и все.

И сплюнул сквозь зубы на землю.

- Нам связь нужна, и точка. Без приказа из центра никому отступать не позволю. Вам ясно, старшина?

Но старшина уже повернулся к нему спиной и пошел, прихрамывая, в сторону.

- Ясно, - бросил он через плечо.

На Михаила была возложена миссия - восстановить связь.

Под минометным огнем, который не прекращался ни на минуту, Михаил отправился выполнять бессмысленный приказ. Он знал, что в живых его оставит только невероятно счастливый случай, но на него он не очень-то надеялся.

Он помолился богу и поцеловал крест, который носил на груди всю жизнь, и даже тогда, когда по приказу большевиков по всей стране ломали церкви и жгли иконы.

- Господи, отец Небесный, - истово помолился Михаил. - Прошу тебя, помоги пройти мне и через это испытание!

И пополз.

Он немного мог рассказать о том, что случилось с ним потом, кроме того, что от страшного грохота снарядов лопались ушные перепонки, и было страшно, очень страшно. А потом его оглушило взрывом, подхватило взрывной волной и понесло куда-то. Там, в полете, он и потерял сознание.

Очнулся Михаил в госпитале, где ему рассказали, как его случайно нашла медсестра, "наша Наташа", как ее называли все раненые, и дотащила до своих. Для него война уже закончилась: множественные осколочные ранения в грудь, сломанные ступни и сильная контузия, сделали невозможным его возвращение на фронт.

Вот так Михаил и оказался снова дома, в Савелово...

С возвращением Михаила жизнь наша обрела новые краски.

- Я теперь вижу, что два мужчины в доме, хоть и калеки, это уже сила! - шутила Оленька, но мы на нее совсем не обижались.

Нина Александровна светилась от счастья, что теперь вся ее маленькая семья наконец-то в сборе, и на радостях опять начала готовить свою знаменитую уху. За рыбой, как и старые добрые времена, снова рано поутру ходил Михаил.

Я должен вам сразу честно сказать, что мы с Оленькой вряд ли выжили, вряд ли бы одолели эту войну, если бы нам не повезло встретить этих двух замечательных людей - Нину Александровну и Михаила, которые, после всего того, что было пережито и пройдено, решили никогда больше не расставаться.

Я помню как в 1946, уже после войны, Михаил вдруг получил письмо от своего старого друга. Друг писал, что теперь живет в Ленинграде и работает на

вагоностроительном заводе, и что на заводе, где делают вагоны метро, просто катастрофически не хватает рабочих рук.

Друг интересовался, не хочет ли Михаил приехать и попробовать новую жизнь в новом и большом городе. Кроме всего прочего, он обещал помочь с жильем.

Предложение было очень заманчивое, но была одна проблема: что делать с домом в Савелово?

Именно об этом и пришли в тот вечер брат с сестрой, чтобы поговорить и посоветоваться с нами.

У них, по существу, был только один вопрос: могут ли они оставить этот дом на нас? Согласны ли мы любить его и заботиться о нем и дальше? Если да, то они оформят дом на нас за чисто символическую плату, и после этого уедут. Мы согласились.

Вот так и случилось, что мы с Оленькой остались одни в целом доме - там где мы прожили очень трудные годы, и где мы встретили настоящих друзей.

Осенью 1947 Нина Александровна и Михаил уехали в Ленинград, а на стене нашего дома остались висеть все те же ходики, которые продолжали остчитывать нашу жизнь, минута за минутой.

Сейчас, когда у меня есть время оглянуться назад и окинуть взглядом всю мою жизнь, то я, наверное, соглашусь с тем, что все, что с нами происходит, имеет свой, высший смысл, часто нам не ведомый, и уж тем более не подвластный.

А между тем в стране, только что вступившей в 1948 год, назревала новая волна репрессий. Большевики, гордые своей победой над нацистами, которую они, разумеется, приписывали целиком только себе, опять начали везде искать врагов и таким образом избавляться от неугодных.

До нас дошли слухи о том, что в прошлом месяце в Москву привезли тело Соломона Михоэлса - гениального актера, которого мы с Оленькой очень хорошо знали и почти боготворили. Хоронили Михоэлса торжественно. Пришло очень много народа, и поэтому в толпе повсюду шныряли люди в черных костюмах с серьезными лицами и обыскивали всех своими цепкими бесцветными глазами. Какие-то партийные деятели говорили торжественные речи про Михоэлса, про его большой талант и неоценимый вклад в еврейскую культуру, но все почему-то



знали, что Михоэлс всего несколько дней назад был зверски убит в Минске агентами НКВД по личному, как потом выяснилось, приказу Сталина. Именно убит, а не случайно сбит какой-то проезжавшей мимо машиной.

В тот январский день Михоэлс, который всегда стеснялся своего маленького роста, лежал в гробу, а на его изуродованном лице застыла грустная улыбка. Она как будто говорила: "За что же *вы* все-таки меня убили? Что же я *вам* такого сделал?..." После смерти Михоэлса в стране опять начался беспредел: всех тех евреев, которые в годы войны ездили по всему миру и собирали деньги для Советского правительства, нуждавшегося в помощи, вдруг объявили "американскими шпионами" и одного за другим расстреляли. Всех до единого... Я уже не помню точно, сколько их было... человек пятнадцать, наверное. Все они были видные деятели нашей культуры и науки: переводчики, артисты, академики с мировым именем... Но ничто их не спасло. Эта адская машина просто не могла, и не желала, останавливаться...

А нам в Савелово надо было как-то жить дальше. Оленька устроилась преподавать в сельскую школу и скоро помогла мне получить там работу. Правда, пока только завхозом...

Я, однако, не обижался, а сидел себе в своем крошечном, чуть больше платяного шкафа, кабинете, и работал над своей книгой. И, между делом, приводил в порядок расстроенное хозяйство школы. Дела там были совсем плохо: со стен на голову ученикам сыпалась штукатурка, в классах парты были старше динозавров, а стулья иногда так качались, что можно было подумать, что вы на корабле. В довершении всего - в школе хронически не хватало мела.

Пришлось мне вспомнить свои молодые годы, проведенные в ссылке в казахских степях, и начать устанавливать полезные контакты. Не буду хвастаться, но к концу первого учебного года мне удалось заменить в школе все парты, половину стульев, и повесить в большинстве классов новые доски. А также мне удалось убедить администрацию нанять наконец рабочих и починить стены и потолки, чтобы на детские головы перестали наконец падать куски штукатурки. Самое приятное для меня было то, что и школьники, и учителя были мне за все это очень благодарны.

Прежний завхоз тоже пытался сделать для школы что-то хорошее, но не успел: его посадили. Посадили, как ни странно, за то, что он воровал мыло. Зачем ему было мыло, я не знаю, но знаю, что у него была очень больная жена и трое маленьких детей... Поэтому мне всегда было больно думать, что с ними стало, когда его посадили на целых десять лет, и всего-то за 20 кусков мыла... Наверное, он продал это мыло на рынке чтобы накормить своих детей...

Я помню, что в том году работа моя над книгой продвигалась особенно хорошо, и я решил подать заявление на соискание ученой степени доктора наук, как мне советовал когда-то мой ленинградский друг Иван Канаев. Мой выбор пал на педагогический институт в Саранске, где я когда-то преподавал и где меня хорошо помнили. Я написал письмо декану. Можете себе представить, какова была моя радость, когда почтальон принес мне ответ.

Дрожащими от нетерпения пальцами я вскрыл конверт. Декан уведомлял меня, что защита моей диссертации возможна, при условии, что ученый совет института сочтет мою работу достойной. Но, писал он далее, моя диссертация, может быть только кандидатской диссертацией, но никак не докторской.

Я помню, как обида захлестнула меня, ударила в голову, застучала в висках.

- Ну как же это так? - говорил я Оленьке, показывая на толстую пачку бумаги, которая должна была стать моей диссертацией. - Здесь почти четыреста страниц, а они, даже не видя и не зная работы, уже решили, что это ну никак не может быть докторской диссертацией!

Справиться с обидой мне, как и всегда, помогла моя Оленька. Она прочитала письмо декана, подумала мгновение и сказала, что дела мои, что бы я там ни говорил, идут куда лучше, чем у нашего старого друга, Исаака Бабея.

Потом достала из камода письмо Антонины, его жены.

- Я не хотела показывать тебе это письмо, потому что не хотела расстраивать, - сказала она. - Теперь покажу. Сейчас тебе нужно знать, что у тебя не только все хорошо, но даже просто замечательно!

Антонина писала Оленьке, что наконец-то она с ужасом узнала всю страшную правду о своем дорогом муже. Исаака Бабея, как и многих других неудобных писателей, арестовали в 1939, а потом многие годы рассказывали его жене

небылицы о том, что он, мол, находится в лагерях, что с ним все в порядке, он работает и, что самое главное, исправляется.

Антонина, как Пенелопа, преданно ждала мужа почти десять лет, каждый день, каждую минуту ожидая его возвращения. По утрам она просыпалась с мыслью что, может быть, именно сегодня ее "Ичичка", как она его любовно называла, вернется и позвонит в дверь, а потом просто скажет: "Как же долго я тебя не целовал, моя милая, моя добрая Гонечка!"

Но вместо мужа однажды пришло письмо: короткое такое письмо, которое и сообщило Антонине, что муж ее, Исаак Бабель, был расстрелян в 1940 году как английский шпион.

Ни слова больше. Ни намека на то, где похоронен, где искать его могилу... Ни-че-го...

После таких новостей моя жизнь и вправду заиграла другими красками. Я сел за стол и написал декану, что я, разумеется, на все условия согласен и готов к защите диссертации. В конце письма, уже чисто по-дружески, я намекнул, что было бы прекрасно, если защита моя будет назначена как можно скорее.

Наконец тот день пришел. Все действие проходило в большом зале, где за длинным дубовым столом важно, как римские сенаторы, восседали бородатые профессора и смотрели на меня как на какого-то незадачливого студента, который, непонятно зачем, отнимает у них драгоценное время.

По центру главной стены, из белого мрамора, красовался бюст Сталина, который строго, как орел из гнезда, следил за всем происходящим в комнате.

Я помню, что когда я вошел в зал, хромя и опираясь на крепкую дубовую палку, которую подарил мне студент-умелец, когда я еще преподавал здесь, в Саранске, среди членов ученого совета произошло какое-то движение. Они почему-то заволновались, стали переглядываться, и я явственно разобрал слово

"притворяется", произнесенное шепотом, но так, чтобы я его все-таки расслышал.

Защита диссертации началась. Вместо простой кандидатской диссертации, которая обычно бывает сто, максимум сто двадцать страниц, и просто перепевает на все лады чужие мысли, находки и теории, я представил комитету целую книгу, которую писал почти двадцать лет.

В своей вступительной речи я сказал, что счастлив представить ученому совету свою книгу которая, по стечению обстоятельств, сегодня представлена как моя диссертация. Я сказал, что эта книга подарила мне много счастья и, наверное, несколько раз спасла меня от отчаяния.

После этого я начал защиту моих тезисов. Через несколько минут несколько профессоров подняли головы от каких-то своих бумаг и в первый раз внимательно посмотрели на меня, одновременно и с удивлением, и с интересом. Чем дальше я рассказывал о том, как обнаружил в средневековой французской литературе зачатки настоящего реализма, тем больше удивленных голов поднималось, и все больше и больше глаз смотрело на меня.

Когда я наконец закончил, в наступившей тишине было слышно, как жужжала муха, залетевшая в комнату до начала защиты диссертации. Она, вероятно, думала, что здесь будет что-нибудь более интересное, но ошиблась.

А я стоял и думал, что сейчас последует буря протестующих заявлений, вопросов, на которые нет ответов, но нет: зал молчал. Потом декан, почему-то с опаской оглянувшись на бюст Сталина, который продолжал сверлить глазами каждого, кто был в зале, встал и сказал, что моя работа интересна, достаточно глубока и, что самое главное, идет в одной струе с классиками марксизма.

Тут я невольно и незаметно усмехнулся, так как никого из марксистов никогда не считал сколько-нибудь серьезными учеными, а скорее хитрыми политиками, которые могли притворяться быть кем угодно, но точно не специалистами в средневековой французской литературе.

И тут произошло чудо: декан, громко и четко сказав то, что следует, вдруг повернулся лицом к столу, за которым сидели сенаторы-профессора, и довольно уверенно произнес.

- Я считаю, что данная работа, благодаря своей теоретической глубине и актуальности поднятой темы, вполне может быть признана докторской, а не кандидатской, диссертацией.

У меня потемнело в глазах: неужели? Неужели мой труд еще кому-то нужен? Декан попросил голосовать. Три руки поднялись почти одновременно. Четыре других "римлянина" сидели опустив головы, как будто что-то вычисляя. Потом

трое из них стали переговариваться меж собой, сердито, как мне казалось, тряся бородами, но в этот момент поднялась четвертая рука. Четверо против трех!

Моя диссертация была признана докторской!

Вечером мы с Оленькой отметили это радостное событие вареной колбасой, которую резали толстыми ломтями и клали на белый пшеничный хлеб - лакомство, которое мы не позволяли себе уже много-много лет...

Несмотря на то, что я неожиданно стал единственным в нашей деревне доктором наук, моя работа в школе не изменилась. Я остался, как и был, заведующим хозяйством, но мне вдруг прибавили зарплату, а директор школы, грозная Римма Константиновна, которую боялись все, начиная от первоклассника и заканчивая поваром на кухне, вдруг начала говорить мне "вы" и здороваться по утрам.

Римма, как все ее звали за спиной, пришла руководить нашей маленькой сельской школой после того, как почти пятнадцать лет командовала детской колонией для малолетних преступников где, как говорили, навела образцовый порядок. За эти большие заслуги на педагогическом фронте ее и перевели в школу где, как вероятно считало местное начальство, необходимо было навести такой же порядок, как и в колонии.

Как бы там ни было, но уважение выказываемое мне Риммой Константиновной и ее короткое но совершенно конкретное "вы" в сочетании с подобием улыбки на тонких и всегда плотно сжатых губах, неожиданно принесли мне долгожданную свободу. Во всей школе никто больше не смел мне говорить, что делать, когда делать, а сама Римма не очень утомляла меня своими инструкциями, очевидно считая, что доктор наук наверняка справится с обязанностями завхоза.

Давно, и не только мной, было замечено, что если уж начнут хорошие или плохие новости заходить в гости, то всегда идут одна за другой. Так было и в этот раз.

Слава богу, очередь была за хорошими новостями.

Как-то нам из Ленинграда пришло письмо от Нины Александровны. Она писала, что очень рада жить в таком красивом городе, что жизнь здесь необыкновенно интересная, театров и музеев несчетное количество, а люди очень вежливые и внимательные.

Нина писала, что устроились они отлично: Михаилу от завода дали хорошую комнату в квартире, где когда-то жил друг и коллега самого Игоря Сикорского. Квартира эта очень большая и совершенно удивительная: один из соседей - врач. Сейчас он почему-то работает простым доктором в травмпункте, хотя во время войны был полевым хирургом, имеет массу наград и благодарностей от правительства.

Другие соседи тоже замечательные: мать с дочерью, которую зовут Аля. Мать Али - женщина совершенно необыкновенной красоты и похожа на сошедшую с небес греческую богиню. Неудивительно, что она иногда подрабатывает моделью в Академии художеств.

Правда, писала далее Нина Александровна, мать с дочерью живут очень трудно, так как муж ее куда-то пропал во время войны и не вернулся.

Но самое радостное событие, о котором Нина Александровна хотела нам сообщить, это то, что они с Михаилом недавно усыновили замечательного мальчика по имени Колька. Кто его родители, не знает никто. Скорее всего, они оба погибли во время блокады, а мальчика подобрала умирающим от голода где-то под завалом после очередной бомбежки какая-то совсем молоденькая медсестра по имени Анна, и отнесла мальчика в детский дом.

Вот в это детском доме они его и нашли, и решили усыновить. Теперь, писала Нина Александровна, наконец и у них с Мишей есть маленькая, но настоящая семья.

Нечего и говорить, что новости эти нас с Оленькой чрезвычайно порадовали, и нам наконец показалось, что жизнь и впрямь начинает выправляться, и что впереди нас ждут другие, и только хорошие времена.”

Март 1983

Стивен и Ирина

Кассета закончилась.

Ирина сидела в задумчивости несколько минут, откинувшись на спинку кресла и осмысляя услышанное.

- Получается, что Михаил и его сестра, лучшие друзья Бахова, были соседями моей бабушки и жили в той же квартире? Невероятно...

- Получается так, - кивнул Стивен. – Воистину, неисповедимы пути господни, как у вас говорят... Уж что мы совсем не ожидали узнать, так это то, что твоя судьба какими-то неведомыми путями оказалась связанной с судьбой Бахова...

- А он - с судьбой Цехновера! - взволнованно добавила Ирина. - Ведь это именно он записал воспоминания Бахова на магнитофон... И именно эта кассета привела в СССР тебя, в самый разгар холодной войны...

- ...где я встретил тебя! - подхватил Стивен, тоже чувствую возбуждение от неожиданности этих открытий. - Ведь именно тебя, а не кого-то другого, порекомендовал мне Цехновер.

- Такое впечатление, что все эти встречи были неслучайны: Бахова с Цехновером, Цехновера с Лосиным, Лосина с тобой и, наконец, моя с...

- Сначала с Цехновером, - прервал Ирину Стивен. - Вспомни, пожалуйста: как ты с ним встретила? При каких обстоятельствах?

- Просто мама погибла тогда... Очень нужна была работа. Я и пошла в библиотеку, где меня определили к нему в подвал... Кажется, так.

- Бедная ты моя, - тихо сказал Стивен, нежно обнял Ирину за плечи и притянул к себе.

- Я думаю, что на сегодня мы закончим, хорошо? Как ты думаешь, мы заслужили сегодня по чашке крепкого горячего чая с вареньем?

\*\*\*

Потом прошла и другая неделя, полная разных, маленьких и больших дел, заполняющих каждый день с утра и до самого вечера. Дела эти не оставляли Ирине много времени чтобы волноваться, сомневаться, или переживать.

Автобус, работа, метро, университет, и снова автобус, потом метро и, наконец, прогулка через парк по старой липовой аллее, ведущей прямо к дому, где жила Ирина. Таков был каждый ее день, начинавшийся в семь утра и заканчивавшийся в одиннадцать вечера, чтобы завтра начаться снова.

Она привыкла к этому ритму жизни, который кого-то сводит с ума, а кому-то доставляет удовольствие, заставляя чувствовать себя значительным, занятым человеком, идущим по жизни с высоко поднятой головой. Ирину этот ритм не сводил с ума, но и не радовал. По вечерам, после очередного длинного дня, идя по парковой аллее домой, она задумывалась о будущем, каким оно может быть, и не могла найти в нем места ни для семьи, ни для детей, которых она, как любая женщина, всегда мечтала иметь.

В середине недели вдруг неожиданно позвонил Стивен. Он звучал по телефону немного расстроенным, и попросил увидеться с ним где-нибудь в городе. Договорились встретиться на станции метро, прямо на Невском. День был пасмурный, холодный - настоящий мартовский день.

- Прогуляемся? - спросил Стивен.

Ирина кивнула.

- Конечно, с удовольствием. А куда?

- Все равно, - ответил он.

Они пошли по Невскому. Прохожих было немного, а те, что изредка попадались, шли по тротуару со счастливыми лицами. Их глаза скользили по мокрым зданиям и поднимались к серому небу, в этот момент обретая какое-то неожиданное выражение странного удовольствия.

- Вот она, ленинградская погода, - сказала Ирина, с наслаждением вдыхая холодный и сырой воздух.

На ее лице, тоже непонятно отчего, читалось удовольствие.

- У меня есть зонтик, - вдруг сказала она. - Если ты боишься нашего мелкого противного дождя...

- Я не боюсь, - с улыбкой ответил Стивен. - Я ничего не боюсь, когда ты со мной.

Они свернули с Невского, прошли вдоль канала, пересекли Летний сад и оказались на Неве, прямо напротив Петропавловского собора.

- Я теперь понимаю, что свои романы Достоевский мог написать только здесь, в этом городе, - сказал Стивен, держа Ирину за руку и любуясь на Неву и собор, возносящий к темному небу свою золотую стрелу.

- Почему ты так думаешь? - спросила Ирина.



- Это загадочный город, который полон еще более загадочных людей, - задумчиво произнес Стивен, не отрывая глаз от собора.

Ирина поцеловала его в щеку: как все-таки здорово, что он ее понимает...

- Я должен буду скоро уехать, - вдруг сказал Стивен, сжимая ее руку.

Ирина сжала его пальцы в ответ - почти до боли.

- Уже так скоро? - чуть слышно произнесла она.

- Дело в том, что виза моя истекает где-то через две недели, и чтобы у меня не было проблем вернуться снова, мне надо уехать из страны вовремя...

Ирина молчала, подавляя подступающие слезы.

Стивен коснулся рукой ее щеки, погладил нежно, и вдруг игриво надавил указательным пальцем на самый кончик носа.

- Обожаю твой нос, - шепнул он. - Нос настоящей греческой богини.

Ирина улыбнулась через силу.

- Какой же ты милый, - так же тихо шепнула ему она. - Я хочу чтоб ты знал: чтобы не случилось с нами потом, ты всегда будешь для меня самым лучшим, самым дорогим человеком на свете...

По ее щекам текли слезы, мешая ей закончить фразу.

- И я тебя никогда не забуду! - закончила она, и наконец по-настоящему расплакалась.

Его голос, как всегда тихий и немного глуховатый, вернул ее к реальности.

- Так ты согласна?

- Что? - Ирина смутилась.

Она и не заметила, как утонула в захлестнувших ее слезах и эмоциях и на несколько мгновений перестала слышать окружающий мир.

- Я спросил, согласна ли ты выйти за меня замуж, а ты все молчишь и молчишь...

- А ты, оказывается, сумасшедший! - прошептала Ирина. - Впрочем, такой же, как и я... Конечно, я согласна!

И она спрятала лицо у него на груди.

\*\*\*

Они со Стивеном сразу решили, что свадьбы как таковой здесь и сейчас быть не может, но зато будет тихий вечер дома в кругу самых близких друзей. Женитьба на иностранце в Советском Союзе всегда была делом непростым, а женитьба на американце - это было уже что-то из ряда вон выходящее.

Стивен уезжал через десять дней, так что времени у них оставалось в обрез: ведь самое главное было назначить день регистрации, и расписаться обязательно до его отъезда.

Первая попытка подать документы на регистрацию провалилась. Женщина с усталым и скучным лицом, выслушала их без видимых эмоций, но явно недоброжелательно.

- Закон знаете? - почти грубо осведомилась она.

- Какой закон? - немного растерянно спросила Ирина.

- Закон, что с момента подачи заявления до регистрации должно пройти не менее месяца. Вот какой закон, - удовлетворенно закончила она, и открыла какой-то толстый и засаленный журнал.

- Что же нам делать? - растерянно спросила Ирина. - Он ведь уезжает через десять дней...

Увидев отчаяние на ее лице, в глазах женщины промелькнуло плохо скрываемое злорадство.

- Раньше надо было думать, - сухо и жестко отказала она. - Ничего не могу сделать. Самое раннее - могу назначить регистрацию на тридцатое апреля.

Они вышли на улицу, раздавленные безразличием и бесчувственностью системы.

- Что будем делать? - спросил Стивен. - Думаешь, у нас есть какой-то выход?

подавив подступившие слезы, Ирина энергично кивнула головой.

- Выход есть всегда, - ответила она, и губы ее упрямо сжались. - Мне кажется, я знаю, кто нам может помочь...

Она притянула к себе лицо Стивена, посмотрела ему в глаза, и тихо сказала.

- Капитан Лунев...

Стивен не поверил своим ушам.

- Ты хочешь просить помощи у офицера КГБ? Это невозможно!

- Ну и что? - спокойно возразила Ирина. - Ведь твоей маме помог выжить когда-то какой-то немецкий офицер? Значит, мне сегодня поможет русский офицер КГБ. Хорошие люди есть всегда, зависит только, повезет ли нам их вовремя встретить... Стивен молчал, что-то обдумывая.

- Прямо сюжет для шпионского романа, - наконец сказал он, усмехаясь. - Советская девушка пытается уехать из СССР при помощи офицера КГБ. Звучит увлекательно.

Несмотря на шутку, и тон, и лицо его были серьезны.

- У тебя есть другие предложения? - Ирина погладила Стивена по руке.

- К сожалению, нет, - вздохнул он.

\*\*\*

Лунев выслушал Ирину на удивление спокойно. Можно было даже подумать, что он ожидал чего-то подобного.

Ирина потом вспоминала что, может быть, она была слишком взволнованной и говорила слишком эмоционально но, как бы там ни было, Лунев, выслушав ее просьбу, ничего не сказал, ничего не пообещал, а только заметил, что ему надо подумать.

Вечером раздался звонок.

- Завтра можете пойти в ЗАГС и подать заявление. У вас будет три дня на приготовления. Успеете?

По телефону голос Лунева звучал совершенно иначе: в нем слышались какие-то ноты понимания и, может быть, даже сопереживания.

"Все-таки везде бывают хорошие люди," с удовлетворением подумала Ирина.

На следующий день в ЗАГСе все прошло как нельзя лучше: заявление взяли без лишних вопросов, а с лиц исчезли всякие неприятные ухмылки и выражение удивления. Все было просто и по-деловому, как будто какая-то невидимая волшебная палочка дирижировала всеми этими людьми.

Через три дня, пятнадцатого марта, Ирина со Стивеном опять приехали в ЗАГС, уже на регистрацию. С ними были только двое - Лидия и Сусанна.

Единственным гостем со стороны стала только лучшая подруга Ирины, Лена, которая работала в центральной прокуратуре и училась на юридическом. Ирина спросила ее, не опасается ли она проблем на работе.

- Проблемы, конечно, будут, если узнают, - ответила Лена. - Но я же не собираюсь кричать об этом на каждом перекрестке...А проблему они устроят из всего, если захотят. Так что "тьфу на них!"

Подруги расхохотались и обнялись.

Сусанна на такой же вопрос ответила, что ей за сорок лет уже просто надоело бояться.

- Как себя помню, нас только и учили чего-нибудь бояться: то войны, то ареста. В результате я прошла и через то, и через другое и, как видишь, до сих пор жива. Поэтому сейчас я просто не желаю больше об этом думать!

Сусанна стала вторым, после Лидии, свидетелем на свадьбе своей лучшей ученицы.

На свадьбу Ирина надела красное платье. Это было последнее платье, которое Аля, ее мать, сшила для себя в ателье на день рождения. Но до этого дня рождения Аля уже не дожила.

Ирина берегла это платье, одевала его только в исключительных случаях и каждый раз, смотря на себя в зеркало, видела в нем свою мать - безумно красивую, с золотистыми вьющимися волосами, каскадом опускающимися на плечи.

Первые несколько месяцев после неожиданной смерти Али, ее платье все еще хранило аромат ее духов. Потом он пропал, уступив место какому-то другому, незнакомому Ирине, но также приятному аромату.

Именно поэтому, каждый раз перед тем как одеть это платье, Ирина сначала подносила его к лицу, проверяя и втайне надеясь, еще раз отыскать тот сладкий запах Алиных духов, который она не сможет забыть никогда.

- Ты такая красивая, - с каким-то даже изумлением сказал Стивен, едва она сняла пальто. - Почему я никогда не видел тебя в этом платье?

- Может быть, я берегла его именно для этого случая, - задумчиво, как будто сама себе, ответила Ирина.

- Мы обязательно когда-нибудь напишем обо всем этом, - сказал Стивен серьезно.

Ирина в ответ только улыбнулась.

Так как день был очень ветреный и холодный, Стивен попросил таксиста ждать у ЗАГСа, заплатив ему вперед. Когда они, счастливые и немного торжественные, вышли и сели в такси, Стивен сказал.

- Прости. Нам надо сделать еще одно дело, прежде чем мы поедem к тебе домой на ужин. Ты не возражаешь?

Ирина радостно кивнула. Разве может быть что-нибудь теперь в этой жизни, на что она не согласна?

Таксист, поняв, что едет к американскому консульству, явно заинтересовался своими пассажирами: он то и дело поглядывал на них в зеркало и пытался прислушаться к разговору. Потом не выдержал и, нарушив все законы приличия, спросил.

- Простите, никак не могу понять: вы наши, советские, или все-таки американцы? Стивен с Ириной не обиделись на него, а громко расхохотались.

- И то и другое, товарищ, - весело ответил Стивен. - Я - из Америки, а она - пока ваша, пока советская...

При этих словах лицо таксиста выразило уже не только изумление, но и удовлетворение.

- Я, честно говоря, так и подумал, но меня озадачило почему, если американец, так хорошо говорит по-русски?

- У меня мама русская, - просто ответил Стивен.

В этот момент они подъехали к консульству.

- Желаю вам всего хорошего в Америке, - сказал таксист, остановив машину, и повернулся на сиденье, чтобы получше рассмотреть Ирину, которая сегодня действительно была особенно красива.

- И правильно делаете, что уезжаете отсюда, - вдруг добавил он с какой-то даже злостью в голосе. - У меня недавно сосед тоже уехал, правда в Израиль. И что? Живет, работает уже где-то в университете. А тут сидел - штаны за сто рублей протирали, и впереди - ничего: ни денег, ни славы. Короче, молодцы, что уезжаете. Всего вам хорошего!

И с сердцем пожал Стивену руку.

\*\*\*

В американском консульстве их уже ждали.

Консул принял их в своем кабинете, сердечно пожал обоим руки и попросил сесть. Было видно, что он искренне рад за молодых.

- Виза в Америку не займет много времени, - сказал он по-русски, глядя на Ирину, которая явно произвела на него особенное впечатление.

Ирина даже немного покраснела под его пытливым взглядом.

- Но, к сожалению, здесь не все зависит только от нас, - добавил он, и лицо его стало серьезным. - Насколько мне известно, выездные документы из СССР не делаются быстро, а в вашей ситуации, - тут лицо консула стало еще более серьезным, - я ожидаю всякие, и весьма возможно, непредвиденные трудности... Они вас так просто не выпустят, - закончил он, на этот раз обращаясь лично к Ирине.

- Мы вас понимаем, мистер Браун, - кивнул Стивен. - Дело в том, что сам я должен буду уехать через две недели, чтобы не нарушать визовый режим и сохранить, по крайней мере, возможность сюда вернуться, если понадобится, за своей женой. Ирина пока останется здесь одна, и я вам буду невероятно благодарен, если вы окажете ей поддержку, если потребуется.

- Вам повезло жениться на такой необыкновенной девушке, мой друг, - сказал он обращаясь к Стивену. - Я довольно долго живу в этой стране и, мне кажется, я неплохо знаю русских. Поэтому я скажу вам от всей души, что ваша жена - совершенно удивительная девушка. Настоящее золото, как здесь говорят. Поздравляю!

\*\*\*

Оставшиеся дни Ирина и Стивен решили провести по-возможности вместе. Правда, надо было ходить и на работу, и вечером и в университет, но все остальное время они решили не отдавать никому. Только оставшимся двум последним кассетам воспоминаний Бахова.

Вот пришла и последняя пятница перед отъездом Стивена в Америку. Оставался один целый вечер, а потом еще целая суббота.

В воскресенье, ровно в шесть утра, Стивен должен был улететь.

Стивен принес с собой последние две кассеты Баховских воспоминаний, букет цветов, который он заботливо поставил на тумбочку прямо у кровати Ирины, коробку пирожных, которые она обожала, и рядом положил пачку денег.

- Это тебе, - сказал он, немного смущаясь. - Ты ведь теперь моя жена? Так что возьми, тебе еще понадобятся деньги на расходы.

Ирина понимающе кивнула.

- Ну что, за работу? - весело сказала она, садясь за стол и пододвигая к себе пачку бумаги.

Стивен нажал кнопку магнитофона.

1953 – 1967

Бахов

“Мы с Оленькой оказались правы: времена действительно изменились. Когда в 1953 умер Сталин, мы с удивлением обнаружили, что за эти годы нас научили думать, что он никогда не умрет. Некоторых эта мысль радовала, а вот нас она точно угнетала и порой приводила в отчаяние.

Мы с Оленькой, к примеру, еще отлично помнили, как наши родители водили нас на прогулки в парк. Это неважно, что я тогда жил в Орле, а она в Витебске: и в моем, и в ее парке в двух разных концах страны каждую субботу играли духовые оркестры. После революции оркестры тоже еще некоторое время играли, но все было совсем не так: не было больше красиво одетых женщин с приспущенной на лицо вуалью, не стало и тех подтянутых офицеров в мундирах с расшитыми золотом эполетами.

С этими людьми исчезла из жизни красота и раскованность, которые так сильно отличали *ту* жизнь от *этой* жизни. Место красоты занял страх, а на место вальяжности заступили мелкие заботы, и жизнь вдруг в одночасье оказалась лишенной прежнего изящества и душевного комфорта.

Но не успел закрыть свои рысьи глаза этот маленький и некрасивый человек, как на сцене оказался другой, еще более некрасивый и, возможно, еще более страшный: Лаврентий Берия. Сквозь круглые, как у профессора, очки, были видны его бесцветные рыбы глазки в которых не было абсолютно ничего. Только жестокость...

Три месяца страну трясла настоящая лихорадка от страха, что именно этот человек будет теперь управлять нашими жизнями, и тут пришла новость: Берия арестован, а во главе страны встал странный, никому не известный лысый человек с походкой и замашками клоуна на пенсии по имени Никита Хрущев.

Не успели мы опомниться от одного удивления, как нас стали поражать новости, одна неправдоподобнее другой, и мы уже не знали, чему верить, а над чем смеяться. Сперва страна узнала, что, оказывается, во главе НКВД многие годы стоял немецкий шпион - Берия. Его, конечно, незамедлительно расстреляли. Потом оказалось, что Сталин никогда не был "отцом народов", а наоборот: создал культ собственной личности, "перегибал палку", сажал и расстреливал тысячи невинных людей, раскулачивал, переселял целые народы, и даже изымал картины из коллекции Эрмитажа и менял их на доллары, за которые потом закупали деликатесы для партийных работников.

После того, как расправились с Берией, жизнь в Советском Союзе стала наконец приобретать хоть какое-то человеческое лицо: в университетах, магазинах, и просто на улицах люди читали запоем газеты, всплескивали руками, обсуждая речь Никиты Хрущева, признававшего перед всем миром, что Сталин действительно подмял под себя и партию и страну, и что мы все эти годы строили не коммунизм, а создавали обыкновенный "культ личности."

Нам было горько узнать об этом теперь, когда столько лет жизни было потрачено впустую, но мы все равно были рады сознавать, что весь этот кошмар закончился, и что все это теперь в прошлом.

Начался долгий и тяжелый процесс возвращения всех тех невинно осужденных и отсидевших многие годы в лагерях. Сначала тоненьким ручейком, потом широкой рекой, эти люди сперва тысячами, а потом сотнями тысяч стали возвращаться домой, где многих из них уже перестали ждать.



Не получая писем по десять и более лет, родные давно решили, что их уже нет в живых. Живые продолжали жить дальше: выходили замуж, рожали детей, меняли квартиры, переезжали. А те, кого считали умершими, все еще жили и выживали где-то там, далеко на Севере, в тайге, на берегах Ангары, в шахтах Магадана, да и мало ли где еще...

Разумеется, многим из тех вернувшихся были несказанно рады, как, например, моему давнишнему другу, замечательному когда-то поэту Сергею Забродскому. Он вернулся в 1956, проведя без малого 22 года где-то под Магаданом, работая в золотоносных рудниках в страшнейшие морозы, когда на улице было -55 градусов по Цельсию.

Конечно, он полностью подорвал свое некогда богатырское здоровье и вернулся домой совсем седым и почти беззубым стариком. Все эти годы его жена Катенька верно ждала его и хранила все его книги, все тетради с начатыми и неоконченными стихами. Она хранила и надеялась, что обязательно придет тот день, когда ее муж наконец вернется и с головой вновь окунется в свой, когда-то утраченный мир, и этот мир вернет его к новой жизни.

Как-то нам с Оленькой удалось посетить в Москве этого моего друга после его возвращения. Мне было горько, очень горько видеть его в таком плачевном состоянии, но то, что он рассказал, пока мы пили чай с восхитительными яблочными пирогами, которые испекла Катенька, опустошило мое сердце.

Конечно же, мы не могли знать, чем занимались там, в Магадане, тысячи и тысячи заключенных, и никогда наверное не узнали бы, не расскажи нам об этом мой друг. А добывали они там золото, много золота...

Сергей говорил, что туда по Охотскому морю подходили какие-то специальные корабли, на которые тайно, по ночам, грузили все это золото и тут же увозили на Запад, в Америку.

Вот так большевики оплачивали все свои скромные нужды и удовольствия - оплачивали жизнями тысяч людей, добывающих для них это проклятое золото.

А удовольствия у них были действительно простые.

Каждый день после сытного завтрака Эдуард Берзин, поставленный командовать всеми трудовыми лагерями на Дальнем Востоке, потрепав по голове своих детей и

наказав им хорошо учиться в школе, садился в Ролс-Ройс, когда-то принадлежавший самому Ленину, и уезжал на осмотр своих "владений".

Обед ему подвозили в два часа дня прямо в машину, а к шести он возвращался домой, раскрасневшийся от мороза и в отличном настроении: дела шли хорошо, золота добывали много и, несмотря на мороз в -50, больных и умерших на работе было немного, в среднем 5-7 человек в день.

Берзин с нетерпением ждал отпуска, который в этом году он со всей семьей собирался провести в Италии, где давно хотел побывать, увидеть Флоренцию, покататься на знаменитых гондолах по каналам Венеции, и обязательно помолиться богу в одном из святых мест Ватикана.

Поэтому в эту зиму, чтобы ничто не испортило ему отпуск в солнечной Италии, он распорядился выдавать каждому заключенному на 50 грамм водки больше до тех пор, пока не спадают эти проклятые морозы.

В отпуск ему все-таки съездить удалось, и Берзин вернулся в Магадан прямо из Италии, загоревший и помолодевший. Через пару дней его срочно вызвали в Москву. Берзин собирался в Москву с радостным чувством на сердце: наверное, ему дадут какую-нибудь внеочередную медаль за отличные показатели в работе.

В Москве его встретили прямо у самолета сумеречного вида люди в черных костюмах, сразу одели наручники, наспех допросили, а после этого сказали, что имеются все доказательства, что он хотел продать Японии весь Магадан вместе с золотом.

Берзин, бледный и трясущийся от страха и бессонных ночей, пискнул что-то о том, что это неправда, что это оговор, но его уже не слушали и через три дня расстреляли.

А бедный мой друг Сергей за долгие годы в лагерях пристрастился к алкоголю, который давали тем, кто часами работал на морозе. Когда он вернулся домой, к жене, он уже не смог победить эту страшную и разрушающую его привычку.

Катенька плакала по ночам, но изменить ничего не могла.

Меньше чем через год Сергей тихо умер во сне. А новых стихов по возвращении он так и не написал. Ни одного...

Раз уж я так много всего вам рассказываю, воспользуюсь случаем и расскажу пару других историй.

Мы с Оленькой знали одного человека, чью мать арестовали, когда он был еще ребенком. Его не отдали в детский дом только потому, что отец его, давно уже живший с другой женщиной, согласился взять сына к себе в дом. Прямо оттуда мальчик и ушел в 1941-м прямо на фронт.

После войны он вернулся в Ленинград, устроился работать на завод, потом выучился на инженера. В это самое время стали возвращаться заключенные из лагерей. Он рассказывал нам потом, как однажды кто-то позвонил в дверь. Он открыл, а там стояла, опершись на палочку, его мать, вернувшаяся домой после двадцати лет лагерей.

Она была совсем старенькой, и его поразила пронзившая голову мысль, что он никогда не узнал бы ее, если бы просто встретил бредущей по улице. От его мамы, той, которую он запомнил навсегда, остались только те же небесно-голубые глаза, смотревшие сейчас на сына все с той же любовью, как и двадцать лет назад...

О дальнейшем я знаю только то, что с тех пор они никогда не расставались, ни на один день, до самой ее смерти.

Так пронеслись несколько лет, наполненных всевозможными событиями, хорошими и плохими. В 1964, после того как чуть было не устроил ядерную войну с Америкой, Никита Хрущев был отстранен от власти и отправлен на пенсию где, как рассказывали, все время брюзжал и жаловался, что его не поняли и не оценили по достоинству.

Теперь у власти оказался Леонид Брежнев, типичный политрук из армии, сладкий болтун, которого никто не слушал, потому что, как правило, ничего интересного он никогда не говорил. Одно было хорошо: его не боялись. Брежнев очень хотел произвести хорошее впечатление на Запад, хотел, чтобы его там уважали и поэтому был довольно умерен в речах и в делах. Без неприятных казусов, однако, не обходилось.

Так, например, одна наша близкая подруга, необыкновенно талантливая пианистка, потеряла работу в консерватории, когда перед своим концертом в Ленинграде прочитала несколько любимых стихов Бориса Пастернака. Что тут началось! Зал,

кстати сказать, безмолствовал, замороженный магией первоклассной поэзии, а потом разразился настоящей оравой.

Озаботились этим инцидентом только люди в черных костюмах, которые регулярно посещали все публичные мероприятия, хотя любовью ни к музыке, ни к живописи, никогда не отличались.

Пастернак несколько лет назад был объявлен почти предателем за то, что опубликовал свою книгу "Доктор Живаго" в Италии, а не в СССР, где ее печатать отказались наотрез. За эту книгу он, кстати, получил Нобелевскую премию, которую - это мое личное мнение - ему дали просто чтобы позлить большевиков, а совсем не за то, что книга была по-настоящему хорошая.

Короче, читать стихи Пастернака вслух перед своим сольным концертом, да еще будучи профессором консерватории, было недопустимо. Подругу нашу уволили. Но самое страшное было то, что ей запретили играть. Мечь большевиков всегда отличалась грубой изощренностью: они всегда лишали человека самого для него дорогого. Писателю не разрешали печатать книги, музыканту не разрешали играть, художнику не разрешали рисовать... У этого - отбирали семью, а у другого - саму жизнь. Надо было иметь большую силу воли, чтобы жить в этой стране...

У меня такой воли никогда не было, поэтому я всегда так восхищался Марией. В то время, когда Хрущев поносил всех священников, сообщая, что скоро советские люди будут видеть попов только в кино, Мария обратилась в православие и стала дружить с теми немногими богословами, которые еще каким-то чудом уцелели в СССР.

Когда ей запретили концерттировать, она стала читать благотворительные лекции о немецком романтизме, а концерты давала дома - для друзей и всех тех, кто приходил ее послушать.

Рассказывали, хотя сама она об этом никогда не упоминала, что во время войны ей как-то выдали денежную премию за то, что она сыграла по радио Моцарта, и Сталину так сильно понравилось ее исполнение, что он даже назвав его "божественным". Мария отнесла всю свою премию в маленькую сельскую церковь, совсем разоренную, с текущей крышей и разбитыми окнами. Она попросила священника, очень уже пожилого человека с чистыми, как у ребенка глазами,

починить церковь насколько возможно, а на оставшиеся деньги помолиться за “трех товарища Сталина”.

И мы с Оленькой, и друзья, которых у Марии всегда было великое множество, помогали ей чем могли: после домашнего концерта оставляли деньги под вазой на обеденном столе, приносили продукты. Продуктами с ней можно было только "поделиться", а иначе Мария не взяла бы ничего и ходила бы голодной две, а то и три недели, пока не получила бы свою нищенскую пенсию в 55 рублей. Это было все, во что наше государство оценило ее неоценимый вклад в нашу культуру.

Другая хорошая новость, которая посетила наш дом, было неожиданное предложение преподавать в школе русскую литературу. На этот раз приглашали именно меня.

Однажды Римма вызвала меня в кабинет и, глядя на меня сквозь очки, спросила, не хочу ли я, ученый с докторской степенью, преподавать в ее школе литературу. Она сильно надавила на слово "ее", как-будто эта школа была ее собственностью. Я, разумеется, согласился.

Скоро к нам незаметно подкрался 1967 год...”

\*\*\*

- Я думаю, на сегодня достаточно, - сказал Стивен, выключая магнитофон. - Я ведь сюда приехал не только для того, чтобы слушать Бахова, хотя это, конечно, очень интересно...

Он обнял Ирину за плечи.

- Любимая моя! Иоланта, - сказал он с нежностью. - У нас остается один, последний день, и одна последняя кассета... И только одна, но не последняя ночь! Ирина прижималась к нему всем телом, пытаясь ощутить его тепло, впитать его и сохранить в себе.

- Сегодня мы можем не думать о будущем, а просто взять и утонуть в настоящем, - тихо сказала она. - Я хочу, чтобы ты знал - так, на всякий случай: эти три месяца, проведенные с тобой, перевернули всю мою жизнь!

- И не только твою, но и мою тоже, - ответил Стивен. - Я тут думал прошлой ночью: как все-таки хорошо, что мы успели пожениться! Хотя я и должен сейчас

уехать, по крайней мере я знаю, что скоро, совсем скоро снова увижу тебя. И никто больше тебя у меня не отнимет...

- Как хорошо, что я встретила тебя на этом пути, Стив, - прошептала Ирина ему на ухо. - Я обещаю: я не разочарую тебя...

И она улыбнулась, вспомнив, что сейчас ответила на риторический вопрос того неизвестного ей немецкого офицера, отправлявшего в Германию девушку, с сыном которой сведет ее жизнь много лет спустя...

19 марта 1983, суббота

Стивен и Ирина

Последнюю субботу Стивен с Ириной решили провести дома. Они хотели закрыться от всего окружающего мира, не поднимать трубку телефона, приготовить много вкусной еды и, конечно же, не покидать квартиру...

В уголке, на тумбочке, сгорбился магнитофон, на котором стояла последняя кассета Бахова, на столе лежала последняя пачка бумаги, на которую они в последний раз собирались записать все, что говорил этот удивительный человек.

И Ирина и Стивен целый день то и дело поглядывали на магнитофон, чувствуя, что они должны быть тоже благодарны и ему, сблизившему их и позволившему настолько глубоко заглянуть друг в друга, да и в самих себя.

Поэтому им обоим было немного грустно думать, что сегодня вечером они расстанутся с ним навсегда. Магнитофон, конечно, останется в доме, но на нем уже никогда не зазвучит этот чуть глуховатый голос Бахова - голос человека, ставшего им почти родным.

Утром в дверь позвонили. Ирина открыла глаза, посмотрела на часы: было девять. В принципе, можно и вставать, но сегодня суббота, последняя суббота с мужем перед его отъездом почти на другую планету - в Америку.

- Может, не будем открывать? - спросила Ирина. - Нас нет дома...

Стивен лежал на подушке, размышляя.

- Кто бы мог беспокоить тебя в такую рань? Как ты думаешь? - спросил он.

- Понятия не имею, - ответила Ирина, и вдруг рассмеялась. - Надеюсь, это не КГБ? Лицо у Стивена посерьезнело.

- Я думаю, лучше открыть, - наконец сказал он. - Кто бы это ни был, дело у него точно не шуточное...

Звонок в дверь повторился, уже более настойчиво.

В коридоре послышался голос Лидии, ровный, спокойный. Она уже с кем-то говорила, видимо, знакомым. Ирина накинула халат, остановилась перед зеркалом чтобы удостовериться, что следы почти бессонной ночи покинули лицо, и осталась вполне довольна собой.

Она вышла в коридор и с удивлением увидела Лину Павловну. Любимая учительница как будто постарела лет на десять за эти два с небольшим месяца. Увидев Ирину, ее лицо болезненно дернулось в попытке улыбнуться.

- Ирочка, милая, прости! - сказала она голосом, в котором застыла какая-то странная дрожь. - Я знаю, сегодня суббота, и рано, но мне сказали, что завтра твой муж уезжает... Я бы хотела...

Голос ее сломался, и она заплакала.

Ирина провела Лину Павловну на кухню, усадила за стол.

- Что-то случилось? - с тревогой спросила Ирина.

- Еще пока нет... - Лина Павловна пыталась собраться с силами, прервать этот несвоевременный плач, но никак не могла овладеть собой.

- Прости, - она вытерла глаза и наконец почти справилась с эмоциями. - Вчера Дима пытался покончить с собой...

Она набрала воздуха и наконец смогла продолжить говорить.

Ирина не прервала ее, а лишь внимательно слушала.

- Мне повезло, что какая-то сила вернула меня домой... Я ушла в магазин, а потом вспомнила, что могла оставить включенной духовку, где только что пекла пирог, и вернулась чтобы проверить. Открыла дверь и вижу, что Дима всеми силами старается забраться на подоконник...А окно открыто. Я все тут поняла... Закричала так, как, наверное, никогда не кричала в жизни... А он испугался! Развернул ко мне свою коляску, поехал прочь от окна, а по лицу слезы катятся...

Лина Павловна остановилась, чтобы снова перевести дыхание. Потом продолжила.

- Он за меня испугался, за ту боль, которую чуть было мне не причинил, а о себе он даже и не думал... О том, что чуть было с собою не сотворил. Просил прощения, что напугал меня...такой добрый... Совсем такой же, каким был в свои десять лет, когда обнимал меня и говорил, что любит меня больше всего на свете...

Слезы опять задушили ее.

- Вот так мы с ним и проплакали вместе весь вечер...Сидели, обнявшись, на диване, разглядывали старые фотографии... Он обещал, что никогда больше даже думать об этом не станет... И тут я поняла, что должна для него что-то особенное сейчас сделать, чтобы он действительно забыл об этом думать, выбросил это из головы. Навсегда!

Лина Павловна помолчала. Ирине на минуту показалось, что она разговаривает сама с собой, но это было не так. Лина Павловна посмотрела на нее своими светлыми глазами.

-И тут я поняла: это могла бы быть его повесть! Если бы у него появилась надежда, даже хоть самая маленькая, самая ничтожная надежда, что повесть эта все-таки будет жить, что ее где-нибудь напечатают, то я уверена, что Дима никогда больше даже не помыслил бы об этом. Как ты думаешь, Ирочка?

- Я с вами согласна, - сказала Ирина. - Людям необходимо знать, ради чего они живут. Он сейчас живет ради вас... Но если мы с вами дадим ему еще что-то, ради чего стоит жить - он будет и жить, и бороться.

- Он написал повесть, - дрожащими руками Лина Павловна достала из сумки пачку листов бумаги, аккуратно перетянутых тонкой бечевкой, и протянула Ирине. - Вот она...

Повесть была невелика - сто с чем-то страниц, исписанных мелким почерком человека, привыкшего все делать хорошо, даже если писать приходится на нелинованой бумаге.

Ирина в раздумье пролистала повесть и, прежде чем Лина Павловна снова спросила ее о чем-то, она уже решила, что сделает: попросит Стивена забрать повесть с собой в Америку. То, что повесть интересная, Ирина почему-то не сомневалась. Жаль только, что прочитать ее у нее сейчас совершенно нет времени...



- Если мы заберем повесть в Америку, вы согласитесь? - спросила она.

Лина Павловна обняла Ирину, прижалась с ее плечу мокрой щекой.

- Конечно, родная, - прошептала она. - Я хотела, но не решалась попросить тебя именно об этом.

Ирина улыбнулась.

она вспомнила, как много лет назад, в четвертом классе, она стояла рядом с Линой Павловной и прижималась к ней мокрым от слез лицом. Какой-то мальчишка из старшего класса обозвал ее "толстой дурой", выбил из рук портфель и злобно ударил по нему ногой, как по футбольному мячу...

Ирина улыбнулась этому воспоминанию и еще крепче обняла свою учительницу.

\*\*\*

Стивен допивал на кухне чай, задумчиво жуя бутерброд с расплавленным сыром и помидорами, приготовленный Ириной на завтрак. Прочитанная повесть лежала рядом на столе.

- Ну, что ты думаешь об этом? - спросила Ирина, когда Стивен перевернул последнюю страницу.

Он молча поцеловал Ирине руку.

- Все это безумно вкусно, - проговорил он. - Я теперь всегда буду скучать по нашим завтракам...

Он улыбнулся.

- А повесть? Она тебе понравилась?

- Я не издатель, но мне кажется, она будет иметь на Западе большой успех. Не удивительно, что ее у вас не напечатали... Хорошо еще, что твоего друга не вызвали в КГБ...

- Наверное, еще не успели, - ответила Ирина. Может, еще и вызовут, кто знает... Хотя, вряд ли их интересует безногий герой Афганской войны...

- Он и правда герой? - спросил Стивен серьезно.

- Я не знаю, - ответила Ирина задумчиво. - В нашей стране никто ничего не знает... В чем я уверена, так это в том, что когда он пришел в себя после операции, его прямо в госпитале заставили подписать бумагу, что он никогда никому ничего не

расскажет. Стандартная практика: даже матери не положено знать, где он был, что делал, как ноги оторвало... Смешно, не правда ли?

- Это страшно, - ответил Стивен. - И очень, очень грустно. Так не должно быть.

- Но именно так мы и живем последние пятьдесят лет и, боюсь, всегда будем так жить, - сказала Ирина и отвернулась к окну, чтобы скрыть набежавшие слезы.

Стивен продолжал сидеть за столом, держа рукопись в руке и о чем-то размышляя.

- Мне кажется, я знаю, что можно сделать, - наконец произнес он.

Ирина повернулась и посмотрела на него с надеждой.

- Я сейчас поеду в консульство. Сегодня, конечно, суббота, и они не работают, но я постараюсь увидеть консула. Он хороший человек, все понимает. Я передам ему рукопись и попрошу переслать ее в Америку с дипломатической почтой. Я уверен он мне не откажет.

- Хочешь, я поеду с тобой? - воскликнула Ирина. - Я подожду тебя на улице.

И добавила, чуть-чуть покраснев.

- Я просто не хочу с тобой сегодня разлучаться даже на минуту...

Стивен нежно поцеловал ее.

- Конечно, моя Иоланта. Я и сам не знаю, как проживу без тебя эти несколько месяцев...

\*\*\*

Наконец дверь консульства открылась и Стивен вышел на улицу. Лицо его сияло.

- Все прошло лучше, чем я даже ожидал! - радостно доложил он Ирине. - Консул выслушал меня и без лишних вопросов принял от меня обе рукописи...

- Обе? - с удивлением перебила его Ирина.

- Да, и рукопись Бахова тоже, - ответил Стивен. - В самую последнюю минуту я вдруг подумал, что везти с собой полную рукопись Бахова не безопасно: они ведь отнимут ее, если найдут, и погубят всю нашу огромную работу... Прости, я забыл сказать тебе об этом...

- Я рада, что тебе пришло это в голову, - сказала Ирина. - Ты просто молодец!

- Теперь обе рукописи покинут СССР с первой дипломатической почтой. Потом, уже из Вашингтона их перешлют прямо на мой адрес, в Западную Вирджинию.

- Все так просто... - вздохнула Ирина. - Просто, и по-человечески...
- Ты знаешь, это прекрасно, что мы можем чем-то помочь твоему несчастному другу, - сказал Стивен. - Мы постараемся, чтобы его книга увидела свет. Я даже почти уверен, что ее напечатают.
- Хотелось бы, - кивнула Ирина. - Он был бы тогда по-настоящему счастлив...

\*\*\*

Вечер опустился за шторами, последний вечер вместе. На столике около кровати стояли цветы, которые Стивен купил у старушки, стоявшей рядом с метро и всего с одним маленьким букетом.

Когда они уже почти прошли мимо нее, старушка вдруг подняла глаза, взглянула на Ирину, и протянула ей букет.

- Я вижу, что твой молодой человек куда-то надолго уезжает, - сказала она. - Купите этот букет... Эти цветы не завянут до тех пор, пока вы снова не увидите. Поставьте их рядом с кроватью, где прошла ваша первая ночь любви...

И она загадочно улыбнулась.

На стене мелодично тикали часы, и во всем доме было тихо, так же тихо, как и у них на душе.

- Ну что, за работу? - улыбнулся Стивен. - У нас осталась последняя пленка... Я только боюсь, что тебе надоело слушать эти грустные воспоминания...

Ирина рассмеялась и обняла его за шею.

- Ты, конечно, шутишь? Как может надоест слушать умного человека и любоваться, как ты работаешь? Я могла бы это делать вечно...

1967 - 1973

Бахов

“Однажды большая красивая черная машина остановилась перед нашим маленьким домиком в Савелово. Из нее вышел человек в костюме, посмотрел вокруг, скорее по привычке, чем из опасения быть увиденным, и подошел к нашей двери.

Мы увидели и машину, и его через окно, у которого я, как обычно, сидел и работал. Прошло уже несколько лет, как я довольно успешно работал в школе и, надо сказать, с каждым годом мне все больше и больше нравилось учить детей.

Я помню, что сначала дети отнеслись ко мне с некоторым презрением: я уже много лет, как опирался на кленовую палочку, которую, войдя в класс, всегда аккуратно ставил в уголок. Может быть, поэтому они и дали мне кличку - Одноногий.

Дети - они всегда и добрые и злые одновременно, пока кто-нибудь из взрослых не придет и не объяснит им, что добрым быть лучше, намного лучше. Поэтому на кличку я не обиделся, так как знал, что они обязательно станут добрее, но со временем...

Увидев машину и человека в костюме у нашего тихого деревенского дома, мы с Оленькой не испугались, но немного взволновались. Хотя последние несколько лет в стране были довольно тихие, без арестов по ночам, но вряд ли кто-либо в нашей стране когда-либо чувствовал себя в полной безопасности. За эти пятьдесят лет большевики приучили нас быть всегда настороже и ничему не верить.

Человек в костюме, войдя в дом, скользнул глазами по стенам, на которых не было ничего, кроме старых ходиков и пары простеньких икон с Девой Марией и Николаем Чудотворцем. Нам показалось, что он слегка улыбнулся.

Человек этот провел у нас где-то около часа, и за этот час мы с Оленькой узнали что мою книгу о Достоевском, оказывается, давно перевели на Западе, что ее читают и даже изучают во многих знаменитых университетах.

А причиной его приезда к нам в Савелово было личное распоряжение Юрия Андропова, все сильного руководителя КГБ. Как оказалось, какой-то очень авторитетный человек присутствовал на защите моей диссертации в Саранске и забрал с собой копию моей книги о французском Возрождении. Вернувшись в Москву, он показал мою книгу еще кому-то, потом еще, потом дал прочитать своей ученице, которая оказалась дочерью самого Андропова.

Пока человек в костюме рассказывал нам всю эту историю, я и впрямь припомнил, что в зале, где-то в уголке, вдалеке от всех сидел какой-то человек в очках. Он не произнес ни одного слова во время моей защиты, но я помню, что он несколько раз поднимал голову и смотрел на меня через очки с некоторым приятным удивлением.

Дочь Андропова, к счастью, пошла в отца, который, в перерывах между государственными делами, сам грешил сочинительством и любил послушать хорошую классическую музыку. Мне кажется, он был умный человек, все видел, все понимал... Говорили, что он любил стихи, особенно лирические...

Как мне потом рассказали, оказалось что дочь пришла к отцу и показала мою книгу. Потом рассказала что-то из моей биографии. Андропов сделал две вещи: оставил у себя копию моей работы чтобы ознакомиться, и велел узнать, что известно обо мне на Западе. Оказалось, что Запад меня давно знает...

Через три дня Андропов вызвал к себе в кабинет помощника и дал ему какие-то распоряжения. Именно поэтому к нам и приехала эта красивая черная машина, но на этот раз - чтобы перевезти в Москву, в квартиру, которая, распоряжением Андропова, была для нас уже приготовлена.

Моя бедная Оленька совершенно растерялась: она была и рада, и напугана одновременно. За эти тридцать лет мы так привыкли жить на окраинах когда-то великой империи и вести тихую жизнь в забытых и Богом и людьми местах, что испытали чувство настоящего ужаса при мысли о том, что теперь нам надо будет переехать в Москву.

Человек в костюме понял и наши чувства, и наши страхи. Он сказал, что не собирается торопить нас с переездом и что ему было дано распоряжение сделать все для нас максимально удобным, и что нам даже не придется самим перевозить мебель: все это сделают за нас специальные люди, которые приедут сюда и обо всем позаботятся. Нам нужно будет просто сесть в машину и ехать.

При этих словах я невольно улыбнулся: какая она все-таки разнообразная, эта жизнь, и как много в нее вмещается! В ней есть место и для мальчишки, таскающему сливы у бабушки со стола, и для студента только-только открывающему для себя этот мир, и для горечи потерь и разочарований, и для неожиданных перемен, ведущих к вершинам славы, даже если тебя она уже и не интересуется. В этой жизни не должно быть места только для смерти - по крайней, мера пока сам ты еще жив...

Когда человек в костюме вышел на улицу, чтобы покурить и дать нам время побыть наедине и подумать, мы с Оленькой как-то сразу поняли, что не можем и не

хотим жить в Москве. Если уж куда-либо возвращаться, то только в Ленинград, где умерли наши родные, и где сейчас живут наши друзья, Нина Александровна и Михаил - люди, с которыми мы скоротали бесчисленное множество долгих зимних вечеров, и с которыми делили последний кусок хлеба.

Я взял свою палочку и пошел, хромая, в кабинет. Вернулся я оттуда с листом бумаги, на котором написал короткое письмо Юрию Андропову. Я поблагодарил его за все, что он для нас хотел сделать, и сказал, что мы будем готовы покинуть наш дом в Савелово только если мы сможем вернуться в Ленинград, где похоронены наши родные. Если это невозможно, добавил я в конце, мы пойдем и спокойно останемся жить там, где жили.

Человек с костюме прочитал мою записку с нескрываемым удивлением, потом аккуратно свернул ее и положил в карман пиджака, пообещав передать лично Андропову. На этом мы и расстались.

Прошло около двух месяцев и мы с Оленько постепенно забыли визит того вежливого человека в костюме. Забыли и его предложение переехать в Москву, а потому скоро и вовсе перестали ожидать гостей.

Мне не было жаль, что я отказался: слишком много лет своей жизни, в силу обстоятельств, которые были сильнее меня, я прожил не так, как хотел. Так зачем же мне было теперь, когда можно самостоятельно распорядиться своим будущим, жить это будущее не так, как того хочет сердце?

Как я уже говорил, я всем сердцем полюбил свою школу, а ученики полюбили меня. Я не учил их так, как это делали обычные школьные учителя, заставляя сначала читать учебник, а потом пересказывать прочитанное. Я читал им лекции, читал так, как я читал бы их своим студентам в университете, и ученикам очень нравилось, что я относился к ним ни как к детям, а как ко взрослым.

Очень скоро мои лекции по литературе обрели такой успех, что сама Римма Константиновна решила навестить мой класс. Она села на заднем ряду и просидела весь урок не двигаясь. В тот день я читал лекцию о Достоевском... Рассказывал, как Достоевский всю ночь читал свою первую повесть "Бедные люди" Белинскому, как тот вскочил, обнял Достоевского, поцеловал в лоб и благословил плыть в океан, именуемый литературой. Потом я читал им отрывки из самой повести, и дети

слушали меня, сдерживая невольные слезы... Я верю, что именно так нужно учить литературу.

Может быть я был немного эмоционален, когда говорил о Достоевском, о его трудной писательской и человеческой судьбе, и в какой-то момент подумал, что Римме это может не понравиться. Но я ошибся. Сразу после урока она подошла ко мне и сказала, глядя прямо в глаза, как делала всегда, разговаривая с подчиненными, что моя лекция открыла ей новый мир, и что она никогда не думала, что Достоевский может быть так интересен.

На следующий день в кабинете она спросила меня, не хочу ли я также преподавать и уроки мировой истории. Я согласился.

Прошел еще месяц прежде чем мы опять увидели ту же красивую черную машину. На этот раз она подъехала прямо к школе. Из машины вышел тот же самый человек в черном костюме и прошел прямо в кабинет директора. Оттуда они вышли вместе. Римма шла рядом с ним, тожественная, как на параде, гордо подлядывая по сторонам.

Они проследовали в мой класс, где я с увлечением читал лекцию о Елизавете Первой, королеве английской. Когда они вошли, я узнал этого человека и понял, зачем он здесь. Я только не понял, зачем он пришел в школу.

Лекцию я решил не прерывать: дети увлеченно писали в своих тетрадях, а я, постукивая палочкой, похаживал вдоль окна, глядевшего в старый яблоневоый сад, и продолжал рассказывать им о кознях Марии Стюарт против своей весьма благородной соперницы, Елизаветы.

Когда урок был окончен, Римма велела детям не расходиться. На середину класса вышел человек в костюме, высморкался в платок и громко объявил, что он приехал из далекой Москвы чтобы забрать у них их учителя - знаменитого ученого, которого сегодня знает весь мир.

При этих словах мне стало очень неловко, а дети, оправившись от неожиданности, заплакали. Почти все. А Римма, вероятно первый раз в жизни, не знала, как ей реагировать на такое изъятие чувств.

И вдруг произошло неожиданное: несколько детей сорвались с места и, плача, кинулись обнимать меня. Через секунду уже все дети столпились вокруг меня,

совершенно не замечая ни Римму, ни человека в костюме. Я сам плакал вместе с ними, плакал первый раз за много последних лет.

В своем кабинете Римма долго трясла мою руку, говорила, что она знала, чувствовала, что я не простой учитель, не простой человек, живущий в глуши, а настоящая знаменитость. Потом она выразила искреннее сожаление, что теперь я покину *ее* школу (она опять надавила на слова *ее*) и, наверное, даже не смогу закончить семестр.

Ученики ждали меня прямо у дверей ее кабинета, человек двадцать. Я был так тронут их искренней привязанностью ко мне, что еле сдержал опять подступившие слезы.

- Может быть вы все просто придете ко мне домой сегодня вечером? - спросил я. Дети радостно закивали: никто из преподавателей никогда не приглашал их к себе домой, и мое предложение было для них большой неожиданностью.

- Ну вот и прекрасно, - сказал я. - Моя жена испечет какое-нибудь вкусное печенье, у нас еще сохранилось немного сливового варенья, так что будет настоящий пир!

На том мы и расстались.

А человек в костюме удивил меня сегодня и еще один раз: мало того, что он приехал на машине прямо в школу, где сразу сделал меня местной знаменитостью, он еще и сказал, что вопрос с Ленинградом тоже решен, и решен положительно. Оказалось, что Юрий Андропов, прочитав мое письмо, сразу позвонил кому-то в Ленинград и попросил помочь мне с квартирой.

Квартиру для меня нашли прямо в центре, на Ковенском переулке, на четвертом этаже, с двумя просторными спальнями и окнами, смотревшими на католический собор.

Впервые в моей жизни у меня появился настоящий кабинет, с окном, смотревшим на тот же собор, и даже с балконом. Человек в костюме просил нас с Оленькой не задерживаться со сборами и сказал, что пришлет за нами машину через два дня.

Так вот и подошли к концу наши тридцать лет жизни в маленьком домике в деревушке Савелово. Мы попрощались с домом, как с родным человеком. Я несколько раз обошел его вокруг, трогая ветви деревьев, которые помнил еще



совсем маленькими и которые радостно, по-детски приветствовали нас, когда мы сюда только приехали. Несколько деревьев я посадил сам, и когда я стоял возле них, мне казалось, что они тихо плакали, как и моя душа...

А еще через несколько дней мы вернулись в Ленинград - город моей молодости, город, который мы не переставали любить все эти бурные и смутные годы, и любили всю нашу жизнь.

Я думаю, что в конце концов почти все наши мечты когда-нибудь сбываются.

Иногда они сбываются позже, чем хотелось бы, но они сбываются. Может быть они специально заставляют нас так долго ждать, так долго надеяться, чтобы вести нас по жизни, не давать успокаиваться, будоражить дух и совесть, и снова и снова поднимать нас на борьбу? Может быть, так и должно быть - для нашего же блага? Не знаю...

Мне в этой жизни было отпущено достаточно много счастья: счастье прожить много лет с человеком, которого я любил, с моей Оленькой; счастье заниматься любимым делом, и заниматься им несмотря ни на какие бури, проносящиеся над нашими головами; счастье прожить долгие тридцать лет в маленьком домике в деревне и любоваться по утрам солнечным лучом, пробивающимся сквозь листву липового дерева, растущего перед нашим окном...

Квартира, куда мы приехали жить, была простой и чистой, со старым, местами сильно поскрипывающим паркетом, положенным здесь, вероятно, лет сто назад. Я медленно, опираясь на палочку, ходил по комнатам; потом прошел в ту, которая станет моим рабочим кабинетом, кстати, тем самым, где вы сейчас сидите...

Скоро мне стали приходить туда письма, много писем... Я сначала очень удивился, так как этого не случалось прежде никогда. То есть, конечно, я получал, как вы помните, посылки от моего друга, профессора Канева, который посылал мне книги из библиотеки.

В ссылку мне, конечно же, писала мама, писали сестры. Но потом началась война и письма перестали приходить. Уже потом я узнал, что все мои родные умерли здесь, в Ленинграде, во время блокады. Умирали медленно, мучительно, от страшного голода, умирали одна за другой...

Писал мне также, хоть и очень редко, мой старый друг, Меджинов, но где-то в 38-м его арестовали, и я его больше никогда не видел. А после войны нам с Оленькой писала Нина Александровна, может быть раз в два или три месяца. Да вот, пожалуй, и все...

Человек в костюме и в Ленинграде не оставил нас своим вниманием. Через несколько дней он пришел к нам с рабочими, и через два часа у нас в квартире уже стоял телефон...

Теперь мне стали иногда звонить. В основном звонили из разных издательств, которые вдруг, как по команде, начали публиковать все мои рукописи. Ко мне стали приходить люди из различных редакций, я подписывал какие-то бумаги... Потом начали приходить посылки и - деньги... Много денег. А в посылках были мои книги... Была там и та книжка о Достоевском, которая, как считала Оленька, спасла мне жизнь.

Как ни странно, но я не ощутил той радости, которую, вероятно, должен был ощутить при виде всех этих книг. Я просто ставил их на полку, одну за другой, и забывал об их существовании. Такое, наверное, бывает с теми, кто слишком и неоправданно долго ждет чего-то, волнуется, переживает, расстраивается. На это и уходит вся та душевная энергия, которая отпущена каждому из нас строго в определенном количестве. Поэтому когда ожидаемое наконец свершается, то вдруг становится ясно, что энергии-то в душе почти совсем не осталось, чтобы радоваться тому, что должно было случиться еще очень-очень давно...

Нет, конечно мне было приятно увидеть наконец свои работы напечатанными, но почему-то я никак не мог заставить себя радоваться. Наверное потому, что понимал, что это вдруг просто стало кому-то нужно, кому-то там, наверху, где вершились наши судьбы.

Наверное, именно это и было для меня самым неприятным: оказывается, все это время моя жизнь вершилась кем-то мне неведомым, мне незнакомым... Именно поэтому меня отправили в ссылку, а потом заставили спрятаться от этого мира на тридцать лет в маленький домик в деревне. А потом я вдруг кому-то понадобился - и вот я опять здесь, в Ленинграде, в просторной квартире, совсем рядом с католическим храмом...

От этих мыслей у меня почему-то наступало устойчивое ощущение какой-то пустоты, какой-то бессмысленности, потому что я ясно понимал, что всегда хотел делать и жить свою жизнь сам, без посторонней помощи и без посторонних помех, но это оказалось, увы, невозможно.

Зато огромную радость принесло мне письмо от моих учеников из Савелово. Дети писали, что очень скучают по мне и по моим лекциям. Они писали, что бережно хранят те тетради, в которых записали все, что я говорил. Я им ответил на следующий же день и обещал обязательно приехать, и я рад, что смог сдержать это обещание.

Мы с Оленькой приехали на поезде в Димитров, а потом нас до Савелово подбросили на попутной машине. Из Ленинграда я смог дозвониться в школу и заранее договориться о нашем приезде, поэтому когда мы вылезли из грузовика, почти вся школа уже ждала нас у дверей.

Я не мог сдержать слез, и вот тогда я подумал, что мне все-таки стоило написать все эти мои книги - хотя бы просто для того, чтобы сейчас стоять здесь, перед этой маленькой школой, где меня по-настоящему любят и ждут.

В школе мы устроили настоящий пир: из Ленинграда мы привезли с собой две огромные сумки продуктов, которых в Савелово никто никогда не видел. Конечно, в основном это были всевозможные сладости для моих дорогих учеников. Римма сидела во главе стола, рядом с нами, и я впервые заметил, что глаза ее были влажные от слез...

А через два года Оленька неожиданно умерла. Хотя трудно согласиться с тем, что люди в семьдесят с лишним лет когда-либо умирают совсем неожиданно, но для своих близких они всегда уходят тогда, когда этого никто не ждет.

Оленька ушла от меня весной 1970-го года... Ушла тихо, так же, как и жила: рано утром, когда небо было удивительно голубым... Не с силах справиться с одиночеством, я завел кошку, которую назвал тоже Оленька... Она и сейчас живет здесь, со мной.

Мы с ней каждое утро выходим на балкон, чтобы встречать рассвет нового дня. Я люблю эти минуты: город еще не проснулся, улицы еще чисты, а на небе поднимается совсем еще желтое, совсем еще молодое солнце.

И в эти минуты я чувствую себя совсем еще молодым...”

20 марта 1983, воскресенье

Сивен и Ирина

В это последнее утро - утро отъезда Стивена в Америку - они оба почти все время молчали. Молчали потому, что боялись спугнуть чувства и переживания, которые наполняли каждого из них. Они и без слов знали, что переживали они об одном и том же: когда же они смогут увидеться вновь?

Такси подвезло их прямо к дверям аэропорта, и тут Ирина вдруг поняла, что никогда еще, за все свои двадцать лет, она не видела, как взлетают самолеты. Аэропорт выглядел мрачным и сумеречным, как человек, который плохо спал всю ночь и совсем не рад видеть пришедших к нему в гости людей.

Стивен толкнул толстые и непрозрачные двери. Петли заскрипели и отказались поворачиваться. Пришлось надавить сильнее, и только тогда двери нехотя открылись.

К удивлению Ирины, за этими дверями не оказалось светлого и большого зала ожидания - такого, какие бывают на вокзалах поездов. Вместо зала там были другие двери, на этот раз железные, выкрашенные какой-то тусклой серебряной краской.

- Дальше тебя не пустят, - сказал Стивен. - Придется прощаться здесь...

Он открыл одну из дверей, и первое, что увидела Ирина, была машина для сканирования багажа. Машина скалилась своим беззубым ртом, в то время как черная резиновая дорожка медленно убегала ей в самое горло.

- Кладите багаж! - как удар кнута, прозвучал чей-то резкий голос.

- Ну вот и все, - выдохнула Ирина. - Все... Какое это однако страшное слово!

Стивен погладил ее по руке.

- Ты теперь моя жена, - тихо сказал он. - Пожалуйста, помни это. Теперь никто, слышишь, никто не сможет тебя у меня отнять.

- Я буду помнить, - ответила она.

Он обнял ее и крепко поцеловал в губы.

Она не хотела, чтобы он ее отпускал, и Стивен чувствовал это и потому не отпускал.

- Вы будете класть свой багаж, или нет? - другой голос, дребезжащий от непонятого гнева, опять одернул их - Вам тут не комната свиданий!

Стивен не двинулся и продолжал прижиматься губами к ее губам. Потом медленно отпустил.

- До свидания, моя Иоланта! - тихо, но очень внятно сказал он. - Я буду ждать тебя там.

Потом повернулся, шагнул вперед через дверной проход, положил чемодан на дрожащий от нетерпения черный язык беззубой железной машины, и протянул свой паспорт.

\*\*\*

Из аэропорта Ирина поехала домой, чтобы провести весь вечер в уединении и тишине. Она не плакала: на душе, несмотря на тяжесть расставания, было светло и хорошо.

"Моя Иоланта... Моя Иоланта..." повторила она несколько раз, и звук этих слов взволновал ее. "Слепота прошла... Теперь время открывать этот мир..."

- Ты будешь обедать? - Лидия вошла в комнату, как всегда, неслышно. - Я приготовила борщ. Жаль, что Стивен уехал так рано, а то бы на прощание поел моего борща.

Ирина улыбку, встала с дивана, и обняла Лидию.

- Бабуль, я еще когда-нибудь увижу его? - тихо спросила она.

Лидия погладила ее по голове.

- Конечно, Ирочка. Придется еще немного побороться за свое счастье, но это нормально. Это - жизнь. Как там сказал Александр Блок? "И вечный бой; покой нам только снится..."

Повернулась и пошла на кухню, но почему-то вдруг ставшей совсем старческой, шаркающей походкой...

21 марта 1983, Понедельник

Ирина

Всю последнюю неделю Ирина не ходила в университет, а в пятницу даже не пошла на работу: по закону, на свадьбу ей полагалось целых три выходных...

Юрий Орестович от души поздравил ее в четверг. Он принес с собой подарок от Леночки и Зигриды: самодельную куклу, со светлыми, как и Ирины волосами. Но самое необычное в кукле был ниспадающий до пояса шарф, на котором красными нитками была, со всеми подробностями, вышита американская Статуя Свободы.

- Я знаю, они, может быть, немного перестарались, - смущаясь проговорил Юрий.

- Не учитывают настоящего политического момента, так сказать...

При этих словах он саркастически и немного горько усмехнулся.

- Но они так хотели сделать тебе что-то очень приятное!

Ирина обняла Юрия за шею и крепко поцеловала.

- Передайте им обоим огромное спасибо! - сказала она. - То, что они сделали, очень даже учитывает настоящий политический момент...

И Ирина хитро подмигнула Юрию.

- Мы почти завершили перевод Бахова, - шепнула она. - В понедельник я верну вам последнюю кассету, а рукопись уже находится в дипломатической почте американского консула. Через неделю она уже будет в Вашингтоне...

Лицо Юрия просветлело.

- Как это прекрасно, - выдохнул он, как-то даже с облегчением. - Я, признаться, немного волновался, как все, что вы сделали, сможет покинуть просторы нашей широкой родины... Теперь я наконец спокоен!

\*\*\*

Ирина шла по коридору университета, не замечая встречные лица, которые иногда говорили ей "привет", а потом удивленно провожали ее глазами, так как не получили никакого ответа. Она не хотела никого оскорбить: она их просто не видела своими слегка воспаленными от трех бессонных ночей глазами, перед которыми стояло только одно лицо - его.

Ирина вошла в класс где, как и тогда, в самую первую встречу, сидела Сусанна, погруженная в чтение какой-то загадочной книги. Сусанна подняла голову и сразу все поняла.

- Уже попрощались? - спросила она.

- Вчера... - вздохнула Ирина. - Вчера целый день была как сама не своя, не могла ни читать, ни думать...

Сусанна понимающе улыбнулась.

- Это так прекрасно - любить и быть любимой, - мечтательно сказала она. - Когда-то и у меня это было... целых двадцать два года и одиннадцать дней. Так много, и одновременно так мало...

Она замолчала.

- Я не могу... совсем не могу без него! - воскликнула Ирина и вдруг заплакала. - Я даже не могла представить, что может так болеть, так давить сердце...

Сусанна погладила ее по голове.

- Заходи сегодня ко мне вечерком, поболтаем о нашем, о женском, - вдруг сказала она.

В голосе ее звучала почти мольба.

Ирина кивнула.

- Конечно, обязательно...

- У меня тоже есть что тебе рассказать, хоть я и боюсь, что тебе это не очень понравится...

И она вздохнула.

\*\*\*

Перед тем как поехать к Сусанне, Ирина позвонила домой сказать Лидии, что задержится, так как хочет напоследок повидать Сусанну.

Когда Ирина пришла, Сусанна уже заканчивала жарить свои традиционные блинчики, сделанные на кислом кефире и оливковом масле. На столе стояла замоченная в воде брынза, мед, сливовое варенье.

- Садись, Ирочка, - сказала Сусанна. - Прости, ничего особенного я приготовить сегодня не успела, но я знаю как любишь мои блинчики и думаю, что брынза с медом тебе тоже понравится.

Они сели за стол.

Сусанна не торопилась начинать рассказ о том, что произошло в университете в пятницу, сразу после свадьбы: ей было явно тяжело и неприятно. Ирина даже заметила, что руки ее немного дрожали каждый раз, когда она вставала, что снять готовые блинчики со сковородки.

Снятые со сковородки блинчики дымились, источая невероятно тонкий аромат.

Ирине сразу захотелось есть - впервые за последние два дня.

- Начинай, начинай, - улыбнулась Сусанна. - Блинчики тогда только хороши, когда горячие. А я пока, между делом, расскажу тебе, что случилось на партсобрании... В двух словах, меня уволили с работы.

- Как такое возможно? - Ирина чуть не поперхнулась блином. - За что?

- За то, что я позволила себе вольность - была свидетелем на свадьбе своей студентки, которая вышла замуж за американца и, скорее всего, собирается скоро покинуть нашу страну.

- Ну, во-первых, я об этом еще никому не докладывала, - возмутилась Ирина. - Как они могут строить такие предположения? А вдруг это он, кто собирается переехать жить к нам сюда, из загнивающей Америки, оплота империализма?

Сусанна расхохоталась.

- А во-вторых, - продолжала Ирина, - как они узнали, вечером в пятницу, что утром вы были свидетелем на какой-то там свадьбе?

- Вот в этом-то и есть главный ужас нашей с тобой жизни, моя девочка, - серьезно ответила Сусанна. - Мы живем как в стеклянном бокале, который стоит на столе в гостиной и в него заглядывают все, кому не лень. Иногда нас не замечают, и тогда все кончается хорошо, но в основном, они видят даже то, как мы дышим... И это ужасно.

Ирина поперхнулась.



- Мне интересно, чем же это я их так обидела тем, что вышла замуж? - сказала Ирина. Она чувствовала, как где-то внутри ее закипает злоба. - И не вижу никакого предательства в том, что он иностранец. Он такой же человек, как и мы все.

- Совсем необязательно кого-то предавать, чтобы тебя посчитали предателем, - ответила Сусанна, снимая со сковородки последний блинчик. - Все просто зависит от точки зрения. Вот например: в пятницу на собрании больше всех кричала Татьяна, наш парторг. Она прямо-таки захлебывалась от ярости, когда клеймила позором мои постыдные действия.

- Я ее не знаю, - тихо сказала Ирина. - Я ведь не в партии...

- И слава богу, дорогая, что ты ее не знаешь, и слава богу. Я сама часто жалела, что вступила в партию много лет назад. Продалась за поездки, - Сусанна вздохнула. - Продалась им за возможность ездить хоть иногда за рубеж, чтобы заработать немного и поучить язык. А так бы не выпустили даже на Кубу...

- Вы же испанка, Сусанна Павловна, - вырвалось у Ирины. - Скажите, а вам никогда не хотелось там остаться, чтобы вернуться на родину?

Лицо Сусанны дернулось, как-будто от боли.

- Конечно, хотелось, - задумчиво ответила она. - Но я встретила Володечку, и если бы я сбежала, мы с ним никогда бы больше не встретились... Они знали, как меня привязать: они никогда не выпускали нас вдвоем... Вот так.

- А как же Куба? Ведь она всегда была нашим лучшим другом, - сказала Ирина. - Туда-то чего не пускать? Там же все свои, коммунистические...

- Оттуда можно добраться до Америки, - расхохоталась Сусанна. - До нее где-то около пятисот километров. В такой близости от оплота империализма советскому человека может стать и не по себе...

Теперь уже расхохоталась Ирина.

- Ты кушай, Ирочка, кушай, - попросила Сусанна. - А еще хотела тебе сказать: ты, пока не уехала, заходи ко мне почаще. У меня теперь будет много свободного времени... Мы с тобой и чайку попьем с блинчиками, и солянки грибной поедим. Мне тут родственники целый мешок грибов из деревни прислали. Отборные такие грибы, почти все белые да подосиновики.

И она заплакала.

- Ну что вы, не надо, пожалуйста! - Ирина не знала, что сказать, как успокоить свою любимую учительницу.

- Ничего, не волнуйся, - Сусанна наконец овладела собой. - Извини, иногда наши эмоции сильнее нас. Я не люблю эти моменты. Она улыбнулась.

- Я все равно не понимаю, почему вас уволили? За что?

- Они сделали хитрее: они перевели меня на другую работу. Теперь я буду младшим научным сотрудником в библиотеке. Со студентами мне больше работать нельзя, так как я "своими действиями поддерживаю враждебную нам капиталистическую идеологию": например, выступаю свидетелем на свадьбе студентки-диссидентки которая вышла замуж за иностранца и уезжает в Америку. Воцарилось молчание в течение которого каждый думал о своем, но практически об одном и том же: что делать дальше?

- А в библиотеку я работать, наверное, не пойду, - задумчиво сказала Сусанна. - Лучше просто уйду досрочно на пенсию. Не могу больше видеть все эти противные лица, сидеть на их партсобраниях и слушать бесконечное вранье о том, что весь мир против нас и что он сходит с ума от зависти к тому, как хорошо мы живем... Все это, по меньшей мере, смешно.

Ирина молчала. Она не знала, что сказать в ответ, но чувствовала, что понимает Сусанну как никогда. Не слушай бы она Бахова, не повстречай бы Стивена, она никогда бы не узнала и не поняла того, что понимала теперь.

Теперь она точно знала, что этот узкий мирок, который ей до сих пор позволялось видеть, был всего лишь частью, и не лучшей частью, того огромного мира, который находился за пределами ее страны. И она сгорала от нетерпения познать этот мир целиком.

- Они унижали меня на собрании, срамили, как девчонку. Говорили, что не ожидали ничего подобного от профессора, члена партии, который, по их мнению, унился до того, что пошел свидетелем на свадьбу к какой-то студентке, которая сама не ведает, что творит - выходит замуж за иностранца. То есть, за врага...

Сусанна помолчала, и продолжила.

- Я им возражала, говоря, что ничего нет ужасного в том, чтобы выходить замуж по любви, а то, что он иностранец, еще не делает его плохим человеком. Кстати, сказала я, он тоже профессор, как и мы с вами, и очень умный человек.

Сусанна опять сделала паузу.

- Потом я им сказала, что у тебя с этим иностранцем - любовь! Настоящая, чистая любовь, такая, как должна быть между мужчиной и женщиной, и которая мало кому выпадает. Видела бы ты, что с ними сделалось! Они кричали, перебивая друг друга, кричали, что за такие речи я вообще недостойна быть в партии, и что им жаль, что сейчас не сажают за подобные разговоры... Потом приняли коллективное решение: отстранить меня от преподавательской работы, чтобы не могла пагубно влиять на молодое поколение, и сослать работать в библиотеку, в архив, подальше от всех...

Сусанна опять замолкла, как будто собираясь с силами, чтобы наконец сказать самое неприятное.

- Что самое ужасное, Ирочка, так это то, что против меня проголосовали все до единого. Даже те, кого я все эти годы считала своими друзьями...

Голос Сусаны опять задрожал, но она подавила нахлынувшее волнение.

- Ты знаешь, что я решила? - сказала она. - Я решила просто послать их всех к черту и уйти из университета.

Она взяла блинчик, скатала его в маленькую трубочку, обмакнула в сливовое варенье и с удовольствием откусила кусочек.

\*\*\*

Когда Ирина вернулась домой, Лидия еще не спала. Она вообще мало спала последнее время: говорила, что жизнь пролетела так быстро, что сейчас хочется растянуть ее насколько возможно, а спать будем потом.

Она сидела перед телевизором, где кто-то пел какую-то тягучую, как каучук, песню, и было видно, что мысли ее были в другом месте.

- Извини, бабуль, - сказала Ирина, входя и с удовольствием стягивая с ног отсыревшие от мартовской грязи сапоги. - Нашу Сусанну уволили с работы за то, что она была свидетелем у меня на свадьбе. Представляешь?

- Я приготовила тебе кое-что поесть, если ты голодна, - сказала Лидия.

И помолчав, добавила.

- Бедная Сусанна. Я опасалась, что подобное может с ней произойти... Наша страна не меняется, - грустно добавила она, - и все здесь с завидным постоянством возвращается на круги своя. У меня иногда складывается впечатление, что история здесь никого ничему не учит...

- Почему в этом мире так мало справедливости? - с сердцем почти выкрикнула Ирина. - Почему человек на самом деле так скован и так несвободен в нашей стране, "где так вольно дышит человек"?

- Все это красивые слова, Ирочка. Слова, которые никогда не были правдой, к сожалению. Мы просто твердили их, как заговоренные, а на деле... Да ты и сама теперь знаешь...

Лидия налила чай и поставила на стол тарелку студня.

- Я очень рада, что ты вышла замуж за Стивена, и что ты будешь жить с ним не в *этой* стране...

Она произнесла слово *этой* особенным образом, с ударением.

- Я очень скучаю по Стивену, - вдруг, меняя тему, сказала Ирина. - Только вот не знаю, как я буду там без тебя...

Она подошла и обняла Лидию за шею.

- Я очень люблю тебя, внученька, и на крыльях бы полетела за тобой, если бы могла. Ты пока начни там новую жизнь, а потом, бог даст, я к тебе приеду...

Лидия смотрела на нее своим невидящим глазом, который, казалось, смотрел в самую глубину души.

- Кто-то должен остаться жить в нашей квартире, а иначе, ты же знаешь, они все отберут, как уже отобрали квартиру моего отца и твоего деда Федора... Я им больше такого удовольствия не доставлю!

- Ты помнишь, что я завтра иду на собеседование в КГБ? - спросила Ирина.

- Конечно, помню. Ничего лишнего там не говори. Знай тверди про любовь, и плачь побольше. Запомни, они не могут тебя не пустить к законному мужу, но могут затянуть процесс, замучить, как в лагере, выгнать с работы, из университета... Тебе надо уезжать, и как можно скорее!

\*\*\*

На следующий день к часу дня Ирина уже была на Литейном 4, в штаб-квартире КГБ.

Она никогда не бывала здесь, в этом здании: все знали, что сюда людей вызывали только по особым случаям, но ее случай - брак с иностранцем - был как раз тем случаем.

Ирине пришлось идти к этому загадочному зданию пешком издалека, так как ни напротив здания, ни сбоку, ни даже на другой стороне улицы не было ни одной остановки общественного транспорта. Наверное поэтому даже простой своей молчаливостью это четырехэтажное здание, облицованное коричневым шлифованным камнем, внушало чувство беспокойства и все, проходившие мимо него, всегда невольно ускоряли шаг.

Ирина подошла к центральной двери, потянула за ручку и вошла в тесный короткий коридор. Справа от нее было небольшое окошко, как в сберкассе, и за ним с очень серьезным и деловым видом сидел человек в костюме.

Ирина протянула ему свой паспорт.

"Мне назначено на час пятнадцать, - сказала она.

Человек в костюме взял паспорт и стал внимательно изучать его.

"Какое странное учреждение," между тем думала Ирина. "Даже при входе все выглядит так, как будто ты попал на другую планету..."

Человек в костюме снял трубку и куда-то позвонил.

- Проходите, - сказал он без улыбки и без единой эмоции в голосе, как будто это говорил не человек, а полу-робот, одетый в костюм.

На этот раз открылась другая, стеклянная дверь, за которой виднелся длинный коридор.

На успела Ирина шагнуть через дверь чтобы двинуться в далекое путешествие по этому скучному коридору, как откуда-то, точно из стены, появился другой человек, одетый в точно такой же костюм, какой был у сидящего при входе скучного полу-робота.

- Идите за мной, - сказал человек металлическим голосом, повернулся к Ирине спиной и пошел по коридору, не оглядываясь.

Они шли достаточно долго, прежде чем этот длинный коридор кончился.

Наконец Ирина увидела открытую дверь: ее ждали.

Ирина вошла в комнату, которая чем-то напоминала рабочий кабинет, но легко могла бы оказаться и камерой для одиночного заключения.

"Неужели тут работают люди?" подумала Ирина. "Жуть какая-то. Можно повеситься от одних этих одинаковых костюмов и длинных коридоров без окон... Интересно, какой идиот построил такое отвратительное здание?"

Человек, сидевший в этом полу-кабинете, полу-камере, был одет в тот же стандартный костюм, но на этот раз с галстуком.

"Интересно, спит он тоже в галстук?" подумала Ирина, и улыбнулась, довольная своей шуткой.

- Садитесь, - услышала она голос. - Ваше имя?

Дальше последовала череда глупых вопросов, как будто им тут было неизвестно ни ее имя, ни фамилия, ни место работы, учебы, и прочее.

"Конечно, они все знают," думала Ирина, механически отвечая на эти вопросы.

"Тогда зачем спрашивают?"

- Где ваша мать? - услышала она следующий вопрос, от которого вдруг в горле образовался плотный комок.

- Она умерла, - ответила Ирина, пытаясь отделаться от этого комка, который явно мешал говорить. - Ровно год назад.

- От чего?

- Ни от чего... - Ирина вдруг передернула плечами, как будто ей вдруг стало холодно.

- Это неправда! - злобно и на повышенном тоне отреагировал человек в галстук.

Голос его, до этого момента был скучный и безразличный, зазвенел от необъяснимого гнева.

- Мы отлично знаем, что она покончила с собой!

- Это и называется "ни от чего", - насколько возможно спокойнее ответила Ирина.

- Люди обычно не кончают самоубийством "ни от чего", - голос человека в галстук стал глухим и недобрый. - Всему всегда есть причины и, как правило, серьезные причины...

- Откуда я могу знать эти причины? - спросила Ирина. - Может быть, причина в любви?

И она заплакала. Заплакала искренно, так как отлично знала, что Аля, ее мать, умерла именно потому, что не могла жить без Кольки, своего мужа и ее, Иринога отца.

- Прекратите здесь истерику, - злобно прошипел голос, теперь вдруг ставший удивительно похожим на змеиный язык.

Похоже, бабушкины советы работали: человек начал нервно тереть свой галстук. Ирина продолжала всхлипывать, и с каждой минутой человек в галстук становился все более и более раздраженным, а оттого - все более растерянным.

- Вы, естественно, комсомолка? - резким голосом задал он наконец другой, еще один ненужный вопрос.

- Конечно...

- И вас не удивляет, что комсомолка, советская девушка, и вдруг хочет покинуть свою страну, свою родину, и отправиться жить, и куда?... - его голос прервался, как будто от накопившегося возмущения, не давшего ему даже закончить фразу. - На загнивающий Запад...

- Удивляет, - ответила Ирина, и вдруг перестала плакать.

Человек в галстук посмотрел на нее с удивлением и даже приоткрыл рот, как будто намереваясь что-то сказать.

- Меня удивляет, - продолжила Ирина, не давая ему опомниться, - что я наконец встретила свою любовь, а он, по чистой случайности, оказался иностранцем...

Она достала носовой платок и стала вытирать им еще мокрые от слез глаза.

- По случайности?... - голос человека в галстук вновь стал похож на шипение змеи. - А может быть вы специально искали встречу с ним, а? Может быть, вы давно хотели продать ему нашу с вами родину?

- Как я могу продать ему родину, если мне всего двадцать лет, я студентка, живу с бабушкой, работаю в библиотеке, чтобы хоть как-то свести концы с концами...

Сами подумайте!

- Мы подумаем, подумаем, не беспокойтесь, - человек в галстукe листал какие-то страницы, как будто пытаюсь найти там что-то такое, что сразу бы прекратило весь этот затянувшийся разговор.

И вдруг нашел.

- Ваш отец ваш был врачом на подводной лодке, а вы, следовательно - настоящая находка для американского шпиона.

Он сделал паузу, чтобы оценить эффект сказанных слов.

Ирина поняла, что разговор перешел в свою завершающую и, следовательно, самую опасную фазу, когда от ее ответов зависит все.

"Спокойно, спокойно," говорила она себе.

Кровь стучала в висках, и от этого поднимался жар, как при температуре.

"Что бы сказала бабушка в этом случае?... Думай, Ирка, думай быстрее!"

- Я почти не знала моего отца, - сказала Ирина. - Его никогда не было дома, все время пропадал где-то на работе. А где он работал - мне никто никогда не говорил. Знаю только, что он был врач...

- Опять лжете, - прошипел голос. - Вы хотите сказать мне, что он вам, своей единственной дочери, никогда не говорил, что служит на подводной лодке?

- А зачем ему это? - Ирина пожала плечами. - А я вот сейчас, в вашем, заметьте, кабинете, впервые поняла, что и не знала своего отца. Я знала, что он врач, военный врач, но то, что он служил на какой-то там подводной лодке - слышу впервые...

В кабинете воцарилось тягостное молчание. Человек в галстукe опять стал нервно перелистывать те же бумаги, лежавшие перед ним. Эффект, на который он так рассчитывал, не сработал.

- А ваша мать? - процедил сквозь зубы человек в галстукe. - Или вы хотите сказать, что она вам ничего не рассказывала о вашем отце?

- Почему не рассказывала? Много рассказывала: что он замечательный доктор, что она очень любит его, и потому что он самый умный и добрый. Она все время жаловалась, что он очень много работает и ему совсем не остается времени проводить дома с семьей....

Ирина говорила все это, просчитывая каждое слово.



"Ничего лишнего... Ничего лишнего...И побольше слез..."

И она вновь зарыдала.

- Мама очень любила, его, потому и не захотела больше жить! - почти прокричала она, и по настоящему залилась слезами.

Человек в галстукe вскочил и быстро прошелся по кабинету от стены к стене.

Потом снова сел.

- Значит, хотите ехать в Америку? - неожиданно сменил он тему.

Ирина отрицательно покачала головой.

- Не хочу я ни в какую Америку, - проговорила она, пытаясь вытереть слезы, залившие все ее лицо. - Я просто хочу к мужу!

Помолчала секунду и добавила.

- Даже если бы он в Африке жил, на горе Килиманджаро, я бы все равно туда к нему поехала...

Человек в галстукe тряхнул головой, как будто пытаясь отделаться от каких-то дурных и беспокоящих его мыслей.

- Лучше бы он жил в Африке... - нехотя сказал он.

Он помолчал несколько секунд и добавил.

- Хорошо. На сегодня - свободны. Мы решим, что с вами делать...

И вышел из кабинета.

\*\*\*

Выйдя на улицу, Ирина с особенным удовольствием вдохнула в себя сырой мартовский воздух, уже начинавший пропитываться солнцем, и посмотрела вверх. Ленивые облака медленно переваливались с боку на бок, поглядывая на солнце и прикидывая, стоит ли его ненадолго прикрыть белым покрывалом, или нет.

От всего этого хотелось жить, необыкновенно хотелось жить!

Ирина неторопливо шла по тротуару прямо к Неве и ноги, затекшие от сидения в душном полу-кабинете, радостно несли ее подальше от этого скучного серого здания, набитого, как оказалось, такими же скучными людьми.

Ветер на Неве упруго ударился в лицо, весело раскидал во все стороны ее волосы и окончательно унес с собой все то неприятное ощущение, оставшееся от разговора с человеком в галстук.

На душе стало совсем легко.

24 марта, 1983

Ирина

На столе в библиотеке коротко звякнул телефон. Ирина сняла трубку: на том конце был капитан Лунев.

- Зайдите ко мне, пожалуйста, - сказал он. В его голосе, обычно ровном, сегодня звучала какая-то незнакомая нотка, как будто он приготовил какой-то сюрприз, о котором не стоило говорить по телефону.

Ирина почти бежала по длинным коридорам библиотеки, мимо бесчисленных шкафов с книгами, которые, неизвестно почему, грустно кивали ей головами. По крайней мере, ей так казалось...

Она вошла в кабинет без стука и аккуратно прикрыла за собой дверь.

Лунев с усталым, как обычно, лицом сидел за своим столом, заваленным какими-то папками и бумагами. Он внимательно посмотрел на Ирину и слегка улыбнулся.

- Они прислали ваш заграничный паспорт сюда...

Прочитав на лице Ирины изумление, он торопливо добавил.

- Я не ожидал этого, поэтому и пригласил вас к себе.

- И... что теперь? - Ирина еле выдавила из себя эти слова. Сердце сбилось, как бешеное, в висках стучало.

- Я пролистал его, - ровным голосом сказал Лунев. - Вам не о чем волноваться: ваш выезд за границу к мужу разрешен...

И он показал ей на небольшой, криво поставленный штамп.

Сердце подскочило и чуть не выпрыгнуло наружу.

Ирина взяла паспорт. Руки дрожали, и буквы на штампе прыгали перед глазами.

- Вам необыкновенно повезло, - прервал ее созерцание паспорта Лунев. - Они могли бы испортить вам много крови, прежде чем выпустили бы вас отсюда... Он улыбнулся.

- Похоже, что мы с вами больше не увидимся, - тихо, и даже как-то загадочно сказал он. - Но я рад за вас... Искренне рад!

Ирина открыла рот собираясь что-то сказать ему в ответ, поблагодарить, но Лунев неожиданно поднес палец к губам.

- Идите. Вы - свободны, - тихо, но отчетливо произнес он.

27 марта 1983

Ирина

Прощались Ирина с Лидией на Московском вокзале, стоя на ветренном и мокром от дождя перроне. Поезд отходил на Москву в ночь, а утром следующего Ирина уже вылетала прямым рейсом на Вашингтон.

Лидия не плакала, а только гладила любимую и единственную свою внучку по руке. Все свои слезы она пролила в прошлом году, на похоронах любимой дочери. Лидия притянула Ирину к себе, поцеловала в лоб и сказала.

- Береги себя, родная моя. Помни, что я тебя всегда учила: сама себя не убережешь, никто не убережет.

И они расстались. Входя в вагон, уже на ступеньках, Ирина снова оглянулась - в последний раз. Лидия стояла на том же самом месте, маленькая, согнутая годами и горестями старая женщина, и смотрела вперед своим невидящим глазом, махая поезду и Ирине левой рукой.

\*\*\*

В купе, кроме Ирины, было еще двое: крупный мужчина с головой, похожей на дыню и смешным тонким голосом, и усталая женщина, все время читавшая книгу и делавшая какие-то пометки в маленькой тетради.

Беседа с самого начала не завязалась, и поэтому все почти одновременно отправились спать. Ирина осталась наедине со своими мыслями и гулким стуком колес, напоминавших ей, что путешествие уже началось.

Она так никогда и не смогла точно сказать, спала ли она в ту ночь, когда поезд мчал ее все дальше и дальше от дома, куда-то в неведомую даль, такую далекую и незнакомую, что становилось не по себе.

Странная мысль то и дело подкрадывалась и начинала беспокоить: может быть все это был только сон, от которого надо просто проснуться и обрести утраченный покой?

Иногда ей начинало даже казаться что, возможно, и не было никакого Бахова, который почти три месяца рассказывал ей историю своей жизни, которая так неожиданно соединилась с ее, только еще начинающейся жизнью...?

А поезд между тем стучал и стучал своими железными колесами, унося ее и от этих мыслей, и от воспоминаний, и от ненужных, но вполне понятных и объяснимых тревог.

28 марта 1983

Ирина

До прибытия поезда в Москву оставалось чуть более часа. Проводница негромко постучала в дверь купе, предложила чай с лимоном и сахаром. Чай был на удивление хорош, сразу поднял настроение и прибавил сил.

Аэропорт Шереметьево был единственным связующим звеном между Советским Союзом и остальным миром: все без исключения международные рейсы летели только из Москвы. На Вашингтон самолет отправлялся только один раз в неделю и, как говорили, летал полу-пустым.

На контроле Ирина показала паспорт и визу. Человек в зеленой военной форме долго смотрел на эту визу, как-будто недоумевая, почему такой молодой девушке вообще дали визу в Америку. Потом долго изучал штамп, разрешавший выезд за границу. Потом все-таки не выдержал и куда-то позвонил.

Через минуту подошел строгого вида человек в костюме, в точно таком же, как Ирина уже видела на Литейном, в штаб-квартире КГБ. Он недобро посмотрел на нее и сухо и очень раздельно произнес.

- Дайте сюда ваш советский паспорт!

- Зачем? - спросила Ирина.

- С этого момента вы больше не являетесь гражданином нашей страны.

Ирина побледнела.

- Вы хотите сказать, что я теперь не смогу вернуться домой когда захочу? - голос ее прервался от волнения.

- Именно так, - сухо сказал человек в костюме. - Но это был *ваш* выбор. Нашей стране вы больше не нужны.

С этими словами он взял ее паспорт, открыл его ровно посередине и с видимым удовольствием поставил в него какой-то штамп. После этого вернул паспорт.

Ирина почувствовала, как где-то далеко в глубине груди заныло сердце, как навалилась грузом какая-то неприятная слабость, от которой захотелось присесть. Но присесть было некуда.

Человек повернулся к ней спиной и неторопливо, с достоинством удалился.

Ирина открыла паспорт на той самой странице, где только что появился штамп, и прочитала: "Гражданство СССР аннулировано."

Последняя ниточка, еще только минуту назад связывавшая ее с родиной, порвалась.

\*\*\*

Восемь часов полета до Вашингтона пролетели как-то незаметно. Ирина с любопытством посматривала по сторонам: в самолете, не считая ее, было всего десять человек. Две еврейские семьи, по четыре человека каждая, сидели в самом центре недалеко друг от друга, изредка переговариваясь между собой. Поодаль, ближе к кабине пилотов, разместились два иностранца, по расслабленному виду и уверенному поведению которых можно было предположить, что они американцы. "Как интересно!" подумала Ирина. "Я и не думала, что у нас кто-то куда-либо эмигрирует..."

Две еврейские семьи явно покидали СССР навсегда. На лицах у взрослых было написано глубокое удовлетворение и какое-то даже злорадство, которое они даже не пытались скрывать, в то время как дети явно не разделяли эти чувства взрослых. Для них все это было лишь длинное и утомительное путешествие в конце которого таилась неизвестность, а самолет уносил их все дальше и дальше от школьных друзей, от милых и дорогих сердцу игрушек, и от той маленькой, но очень важной и интересной жизни, которую они вели у себя дома.

Аэропорт в Вашингтоне был большой, светлый и тихий, и совсем не такой, как Ирина себе его представляла. Люди здесь двигались медленно и спокойно, негромко разговаривая и явно занятые своими делами.

На паспортном контроле молодой, высокий и мускулистый офицер аккуратно взял ее паспорт, пролистал, потом улыбнулся и сказал совершенно просто, без наигранного доброжелательства.

- Добро пожаловать в Америку!

Он ничего не спросил, вероятно, предположив, что девушка, только что приехавшая из СССР по английски еще не говорит, а просто поставил какой-то штамп и отдал паспорт.

Ирина шагнула вперед и вдруг поняла, что она - в Америке, и теперь уже по-настоящему. И потихоньку пошла вперед.

Она не очень понимала, куда ей надо сейчас идти, но старалась не волноваться.

Надо было только найти, откуда летит самолет в Западную Вирджинию, но место это никак не находилось. Во все концы разбегались бесконечные коридоры по которым шли и шли люди. В какие-то моменты эти коридоры вливались в широкую круглую площадь по всем сторонам которой располагались рестораны с незнакомыми названиями. Среди них Ирина узнала только одно: Макдональдс, о котором как-то упоминал Стивен.

Она взглянула на большую желтую букву "М" и нарисованный рядом с ней сочный бургер, и ей вдруг страшно захотелось есть.

Ирина медленно прошла мимо Макдональдса, заставляя себя не вдыхать запах жареного мяса, исходивший оттуда. Не стоило останавливаться, так как денег у нее в кошельке все равно не было, ни единого доллара.

Вероятно, лицо ее в этот момент выражало такое отчаяние и тоску, что какой-то служащий с веселым лицом остановился и обратился к ней.

- Мэм, могу я вам помочь?

- Простите?... - Ирина повернулась туда, откуда послышался голос.

- Мне кажется, что вы заблудились, мэм, - сказал веселый негр, скорее всего работник аэропорта. - Это так?

До Ирины наконец дошел смысл того, что говорил ей этот весельчак.

- Да... Мне нужно...

И она показала ему лист бумаги, на которой было написано: "Republic Airlines, to Huntington, West Virginia"

- О, это очень просто, - улыбнулся веселый негр. - Я вас провожу.

Они пошли по одному из коридоров. По дороге ее провожатый все время кому-то улыбался, махал рукой, что-то говорил, похожее на приветствия и шел дальше.

Походка у него была какой-то слегка приплясывающей, как у человека, который как-будто находится в отпуске, а совсем не на работе.

- Вы к нам надолго? - спросил он, повернув к Ирине голову и широко улыбаясь.

- Я... еду... в Западную Вирджинию, - медленно и стараясь разделять слова, по-английски сказала Ирина, и наконец тоже улыбнулась. - Я... вышла замуж...

Она перевела дух и вдруг почувствовала, как струйка пота беззастенчиво бежит у нее по спине.

- О, я вас поздравляю! - почти восторженно воскликнул веселый негр, и было видно, что он действительно рад, что незнакомая ему женщина, идущая рядом, вышла за кого-то замуж.

- Значит, вы приехали к нам в Америку навсегда? - спросил он почти с радостью.

Ирина кивнула.

- Я уверен, что вам здесь понравится, - заключил провожатый Ирины. - Здесь, насколько я заметил, всем нравится...

И он весело пошагал вперед своей подпрыгивающей веселой походкой.

- Это то, что вам надо, - наконец сказал он, двигаясь к широкой стойке, над которой было написано: "Republic Airlines". - Не волнуйтесь, я вам сейчас помогу! -

поспешил он добавить, заметив, что Ирина как будто испугалась, что он ее сейчас оставит здесь одну.

Он подошел к стойке своей пританцовывающей походкой и стал что-то быстро говорить. Потом повернулся к Ирине.

- Ваш паспорт, пожалуйста...

Меньше чем через три минуты Ирина уже держала в руках свой билет.

Веселый негр проводил ее прямо до того места, откуда через два часа должен был вылетать самолет на Западную Вирджинию, пожелал всего хорошего, и ушел по длинному коридору своей веселой, слегка подпрыгивающей походкой.

\*\*\*

Маленький самолет с двумя пропеллерами по бокам наконец приземлился в аэропорту Хантингтона.

Двери открылись, и Ирина с наслаждением вдохнула теплый воздух, который, казалось, обнял ее за плечи. Воздух почему-то отдавал ванилью, или чем-то другим, но очень на нее похожим.

Было почти девять вечера. Ирина осторожно спустилась с узкого трапа и, осторожно двигаясь по нарисованной белой краской дорожке, направилась к небольшому зданию, светившемуся в уже наступившей темноте.

Она шла к зданию и чувствовала невольную нервную дрожь. А что если?.. А что если там никого нет?

Чувствуя себя совсем одинокой, совсем маленькой девочкой посреди огромного континента, Ирина продолжала идти вперед, всеми силами пытаясь сдержать эту дрожь.

Две стеклянные двери гостеприимно распахнулись перед нею, открыв взору небольшой и хорошо освещенный зал, где нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, стояли всего несколько человек. Они, вероятно, встречали кого-то из тех, кто только что прилетел.

Чуть в стороне, у самой стены стоял Стивен...

Увидев его, Ирина остановилась и замерла. На душе, уже почти совсем замороженной страхом и неизвестностью, опять становилось тепло и хорошо.



Она стояла и ждала, когда же он наконец увидит ее, когда снова, пусть еще издалека, увидит ее глаза, затуманенные от набежавших от счастья слез, и наконец снова улыбнется ей.

Он наконец увидел ее, и радостно взмахнул руками, как-будто крыльями, и бросился к ней навстречу.

Ирина постояла еще несколько секунд, наслаждаясь необыкновенным ощущением счастья, охватившем ее, и сделала *три шага вперед*.